

А.Н.ТОЛСТОЙ
**ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА**





А.Н.ТОЛСТОЙ

**ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА**

РОМАН



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1983

Текст печатается по изданию:

А. Н. Толстой. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 4.
М., «Художественная литература», 1983

Художник

А. РЕМЕННИК

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

«Гиперболюнд инженера Гарнна» написан Алексеем Николаевичем Толстым в середине двадцатых годов, когда молодая Советская страна только начинала выходить из разрухи, когда на Крестовском острове еще догнивали «в березовом леску» заброшенные в 1918 году полуразвалившиеся дачи богачей, а рядом, в гребной школе, уже тренировались на гоночных гонках молодые ленинградские рабочие, мечтавшие победить в предстоящих соревнованиях своих соперников. Атмосферу времени читатель этой книги ощутит в множестве примет тогдашнего быта, в зорко подмеченных психологических черточках, в неповторимости внешнего облика людей. Большой и уминый писатель, создавший это остроужетное произведение, сумел уловить глубинные течения времени, увидеть и воплотить в запоминающихся образах то основное и главное, чем жила в то время страна, Европа, весь мир.

Увлекательно, с неожиданными поворотами, с внезапными переключениями повествовательных плагов развивается интрига.

По одну сторону баррикады, разделяющей мир на два лагеря, находятся в романе люди, стремящиеся прибрать к рукам всю землю, — жестокий и циничный Гарни, сперва изобретатель, потом фашиствующий диктатор; химический король американец Роллинг, сверхмиллионер и мракобес; авантюристка Зоя Монроз; десятки их привхотней разных разрядов и рангов, и в первую очередь русские белоэмигранты, исполненные звериной ненависти к новой России и мечтающие о «поголовном истреблении жителей Харькова, Москвы и Петрограда».

«Мы возьмем мир за глотку». «Мы построим концентрационные лагеря. Всех недовольных* нашим режимом — за проволоку». Таково кредо роллингов и гаринных, такова мораль той страны, которую Марк Твен заклеил как Соединенные Личующие Штаты и о которой Алексей Толстой на первых же страницах своего романа сказал: жирненькие молодчики «ползли из Америки... из проклятой страны... где собираются по дешевке скупить весь добрый старый мир».

По другую сторону баррикады — люди высоких нравственных принципов и высокой коммунистической убежденности, чистые и цельные натуры, чьи помыслы — не о своем личном благополучии и дольстве, а о счастье трудовых масс. Это настоящие положительные герои современности — устремляющийся в самые опасные схватки с врагами и личным примером увлекающий за собой людей коммунист Василий Шельга, рабочий Тарашкин, ученый Хлынов, вчерашний безпризорник Иван Гусев, невольники гаринского Золотого острова, идущие на штурм последних твердынь капитала.

Ставкой в борьбе двух миров оказывается в романе Алексея Толстого величайшее изобретение. Для нас, людей восьмидесятых годов, оно ассоциируется с оптическим квантовым генератором — лазером, который уже вошел в нашу жизнь, помогая хирургам в борьбе с недугами, ученым в постижении тайн материи, инженерам и рабочим — в создании новой технологии. И который заокеанские генералы мечтают применить как «аппарат разрушения» — ведь только в этой раз-

бойничьей функции видел свое детище инженер Гарни... А благородному советскому ученому Хлынову в романе Алексея Толстого мечтается о другом: «Будущее счастье человечества, — говорит он, — зависит от того, сможем ли мы овладеть ядром атома...» «Просветленный, дисциплинированный разум—величайшая святость, чудо из чудес». Это кредо Шельги и Хлынова, кредо мира социализма.

Удивительно современно звучат в романе и те страницы, где писатель с язвительностью памфлетиста клеймит позором каннибальские вождения монополий и полигических заправил США, и те, где он рассказывает, как Гарни засоряет мировой океан атомными отходами, и те, где трудящиеся поднимаются на борьбу против сил угнетения и войны. Роман Алексея Толстого — пророческое и мудрое предупреждение всем, кто, обезумев, бряцает страшным оружием. Но в то же время этот роман пронизан оптимизмом людей, борющихся за освобождение народов от гнета зловещих человеконенавистнических сил, оптимизмом людей активного гуманистического действия, сильных своей сплоченностью, своей высокой и бескомпромиссной идейностью.

1

В этом сезоне деловой мир Парижа собрался к завтраку в гостиницу «Мажестик». Там можно было встретить образцы всех наций, кроме французской. Там между блюдами велись деловые разговоры и заключались сделки под звуки оркестра, хлопанье пробок и женское щебетанье.

В великолепном холле гостиницы, устланном драгоценными коврами, близ стеклянных крутящихся дверей, важно прохаживался высокий человек, с седой головой и энергичным бритым лицом, напоминающим героическое прошлое Франции. Он был одет в черный широкий фрак, шелковые чулки и лакированные туфли с пряжками. На груди его лежала серебряная цепь. Это был верховный швейцар, духовный заместитель акционерного общества, эксплуатирующего гостиницу «Мажестик».

Заложив за спину подагрические руки, он останавливался перед стеклянной стеной, где среди цветущих в зеленых кадках деревьев и пальмовых листьев обедали посетители. Он походил в эту минуту на профессора, изучающего жизнь растений и насекомых за стекной аквариума.

Женщины были хороши, что и говорить. Молоденькие прельщали молодостью, блеском глаз: синих — англосаксонских, темных, как ночь, — южноамериканских, льняных — французских. Пожилые женщины приправляли, как острым соусом, блекнущую красоту необычайностью туалетов.

Да, что касается женщин, — все обстояло благополучно. Но верховный швейцар не мог того же сказать о мужчинах, сидевших в ресторане.

Откуда, из каких чертополохов после войны вылезли эти жирные молодые люди, коротенькие ростом, с волосатыми пальцами в перстнях, с воспаленными щеками, трудно поддающимися бритве?

Они суетливо глотали всевозможные напитки с утра до утра. Волосатые пальцы их плели из воздуха деньги, деньги, деньги... Они ползли из Америки по преимуществу, из проклятой страны, где шагают по колена в золоте, где собираются по дешевке скупить весь добрый старый мир.

2

К подъезду гостиницы бесшумно подкатил рольс-ройс — длинная машина с кузовом из красного дерева. Швейцар, бреча цепью, поспешил к крутящимся дверям.

Первым вошел желтовато-бледный человек небольшого роста, с черной, коротко подстриженной бородой, с раздутыми изодраными мясистого носа. Он был в мешковатом длинном пальто и в котелке, надвинутом на брови.

Он остановился, брюзгливо поджидая спутницу, которая говорила с молодым человеком, высокочившим навстречу автомобилю из-за колонны подъезда. Кивнув ему головой, она прошла сквозь крутящиеся двери. Это была знаменитая Зоя Моироз, одна из самых шикарных женщин Парижа. Она была в белом суконном костюме, обшитом на рукавах, от кисти до локтя, длинным мехом черной обезьяны. Ее фетровая маленькая шапочка была создана великим Колло. Ее движения были уверенны и небрежны. Она была красива, тонкая, высокая, с длинной шеей, с немного большим ртом, с немного приподнятым носом. Синевато-серые глаза ее казались холодными и страстными.

— Мы будем обедать, Роллинг? — спросила она человека в котелке.

— Нет. Я буду с ним говорить до обеда.

Зоя Моироз усмехнулась, как бы снисходительно извиняя резкий тон ответа. В это время в дверь проскочил молодой человек, говоривший с Зоей Моироз у автомобиля. Он был в распахнутом стареньком пальто, с тростью и мягкой шляпой в руке. Возбужденное лицо его было покрыто веснушками. Редкие жесткие усики точно приклеены. Он намеревался, видимо, поздороваться за руку, но Роллинг, не вынимая рук из карманов пальто, сказал еще резче:

— Вы опоздали на четверть часа, Семенов.

— Меня задержали... По нашему же делу... Ужасно извиняюсь... Все устроено... Они согласны... Завтра могут выехать в Варшаву...

— Если вы будете орать на всю гостиницу, вас выведут, — сказал Роллинг, уставившись на него мутноватыми глазами, не обещающими ничего доброго.

— Простите, — я шепотом... В Варшаве все уже подготовлено: паспорта, одежда, оружие и прочее. В первых числах апреля они перейдут границу...

— Сейчас я и мадемуазель Моироз будем обедать, — сказал Роллинг, — вы поедете к этим господам и передадите им, что я желаю их видеть сегодня в начале пятого. Предупредите, что, если они вздумают водить меня за нос, — я выдам их полиции...

Этот разговор происходил в начале мая 192... года.

В Ленинграде на рассвете, близ бонов гребной школы, на реке Крестовке остановилась двухвесельная лодка.

Из нее вышли двое, и у самой воды произошел у них короткий разговор, — говорил только один — резко и повелительно, другой глядел на поливодную, тихую, темную реку. За чащами Крестовского острова, в ночной синеве, разливалась весенняя заря.

Затем эти двое наклонились над лодкой, огонек спички осветил их лица. Они вынули со дна лодки свертки, и тот, кто молчал, взял их и скрылся в лесу, а тот, кто говорил, прыгнул в лодку, оттолкнулся от берега и торопливо заскрипел уключинами. Очертание гребущего человека прошло через заревую полосу воды и растворилось в тени противоположного берега. Небольшая волна плеснула на боны.

Спартаконец Тарашкин, «загребной» на гоночной распахной гичке, дежурил в эту ночь в клубе. По молодости лет и весеннему времени, вместо того чтобы безрасудно тратить на спяние безролетные часы жизни, Тарашкин сидел над сонной водой на бонах, обхватив колени.

В ночной тишине было о чем подумать. Два лета подряд проклятые москвичи, не понимаящие даже запаха настоящей воды, били гребную школу на одиночках, на четверках и на восьмерках. Это было обидно.

Но спортсмен знает, что поражение ведет к победе. Это одно, да еще, пожалуй, предельное весеннего рассвета, пахнущего острой травкой и мокрым деревом, поддерживали в Тарашкине присутствие духа, необходимое для тренировки перед большими июньскими гонками.

Сидя на бонах, Тарашкин видел, как привартовалась и затем ушла двухвесельная лодка. Тарашкин относился спокойно к жизненным явлениям. Но здесь показалось ему странным одно обстоятельство: двое высидевшие на берегу были похожи друг на друга, как два весла. Одиного роста, одеты в одинаковые широкие пальто, у обоих мягкие шляпы, надвинутые на лоб, и одинаковая остренькая борода.

Но, в конце концов, в республике не запрещается шататься по ночам, по суху и по воде, со своим двойником. Тарашкин, наверно, тут же бы и забыл о личностях с острыми бородами, если бы не странное событие, происшедшее в то же утро поблизости гребной школы в березовом леску в полуразвалившейся дачке с заколоченными окнами.

Когда из розовой зари над зарослями островов поднялось солнце, Тарашкин хрустнул мускулами и пошел во двор клуба собирать щепки. Время было шестой час в начале. Стукила калитка, и по влажной дорожке, ведя велосипед, подошел Василий Витальевич Шельга.

Шельга был хорошо тренированный спортсмен, мускулистый и легкий, среднего роста.

с крепкой шеей, быстрый, спокойный и осторожный. Он служил в уголовном розыске и спортом занимался для общей тренировки.

— Ну, как дела, товарищ Тарашкин? Все в порядке? — спросил он, ставя велосипед у крыльца. — Приехал повозиться немного... Смотри — мусор, ай, ай.

Он сгнул гимнастерку, закатал рукава и худых мускулистых руках и принялся за уборку клубного двора, еще завалянного материалами, оставшимися от ремонта бонов.

— Сегодня придут ребята с завода, — за одну ночь наведем порядок, — сказал Тарашкин. — Так как же, Василий Витальевич, записываетесь в команду на шестерку?

— Не знаю, как я быть, — сказал Шельга, откатывая смольяной бонок, — москвичей, с одной стороны, бить нужно, с другой — боюсь, не смогу быть аккуратным... Смешное дело одно у нас извертывается.

— Опять иасчет бандитов что-нибудь?

— Нет, поднимай выше — уголовщина в международном масштабе.

— Жаль, — сказал Тарашкин, — а то бы погребли.

Выйдя на боны и глядя, как по всей реке играют солнечные зайчики, Шельга стукивал черенком метлы и вполголоса позвал Тарашкина:

— Вы хорошо знаете, что тут живет поблизости на дачах?

— Живут кое-где зимогоры.

— А никто не переждал в одну из этих дач в середине марта?

Тарашкин покосился на солнечную реку, почесал ногтями ноги другую ногу.

— Вон в том лесике заколоченная дача, — сказал он, — недели четыре назад, это я помню, гляжу — из трубы дым. Мы так и подумали — не то там беспризорные, не то бандиты.

— Видели кого-нибудь с той дачи?

— Пойдите, Василий Витальевич. Их-то я, должно быть, и видел сегодня.

И Тарашкин рассказал о двух людях, пришедших на рассвете к болотистому берегу.

Шельга поддакивал: «так, так», острые глаза его стали как щелки.

— Пойдем, покажи дачу, — сказал он и тронул висевшую сзади на ремне кобур револьвера.

Дача в чахлом березовом леску казалась необитаемой, — крыльцо сгнило, окна заколочены досками поверх ставен. В мезонине выбиты стекла, углы дома под остатками водосточных труб поросли мохом, под подокоиниками росла лебеда.

— Вы правы — там живут, — сказал Шельга, осмотрев дачу из-за деревьев, потом осторожно обошел ее кругом. — Сегодня здесь были... Но за каким дьяволом им понадобилось лезть в окошко? Тарашкин, идите-ка сюда, здесь что-то неладно.

Они быстро подошли к крыльцу. На нем были видны следы ног. Направо от крыльца на

окне висела боком ставня — свежесорванная. Окно раскрыто внутрь. Под окном, на влажном песке — опять отпечатки ног. Следы большие, видимо, тяжелого человека, и другие — поменьше, узкие — искомаи внутрь.

— На крыльце следы другой обуви, — сказал Шельга.

Он заглянул в окно, тихо свистнул, позвал: «Эй, дядя, у вас окошко отворено, кабы чего не унесли». Никто не ответил. Из полутемной комнаты тянуло сладковатым неприятным запахом.

Шельга позвал громче, поднялся на подоконник, вынул револьвер и мягко спрыгнул в комнату. Полез за ним и Тарашкин.

Первая комната была пустая, под ногами валялись битые кирпичи, штукатурка, обрывки газет. Полукрытая дверь вела в кухню. Здесь на плите под ржавым колаком, на столах и табуретах стояли примусы, фарфоровые тигли, стеклянные, металлические реторты, банки и цинковые ящики. Одни из примусов еще шипел, догоряя.

Шельга опять позвал: «Эй, дядя!» Покачал головой и осторожно притворил дверь в полутемную комнату, прорезанную плоскими, сквозь щели ставен, лучами солнца.

— Вот он! — сказал Шельга.

В глубине комнаты на железной кровати, навзничь, лежал одетый человек. Руки его были закинuty за голову и прикручены к прутьям кровати. Ноги обмотаны веревкой. Пиджак и рубашка на груди разорваны. Голова неестественно запрокинута, остро торчала борода.

— Ага, вот они как его, — сказал Шельга, осматривая под соском убитого до рукоятки загнивший финский нож. — Пытали... Смотрите...

— Василий Витальевич, это тот самый, кто на лодке приплыл. Его не больше как часа полтора назад убили.

— Будьте здесь, караульте, ничего не трогать, никого не пускать, — слышите, Тарашкин?

Через несколько минут Шельга говорил по телефону из клуба:

— Наряд на вокзалы... Проверять всех пассажиров... Наряды по всем гостиницам. Проверить всех, кто возвратился между шестью и восьмью утра. Агента и собаку в мое распоряжение.

6

До прибытия собаки-ищейки Шельга приступил к тщательному осмотру дачи, начиная с чердака.

Повсюду валялся мусор, битое стекло, обрывки обоев, ржавые банки от консервов. Окна затянуты паутиной, в углах — плесень, грибы. Дача, видимо, была заброшена еще с 1918 года. Обитаемыми оказались только кухня, и комната с железной кроватью. Нигде ни признаков удобств, никаких остатков еды, кроме найденной в кармане убитого французской булочки и куска чайной колбасы.

Здесь не жили, сюда приезжали делать

что-то, что нужно было скрывать. Таков был первый вывод, сделанный Шельгой в результате обыска. Обследование кухни показало, что здесь работали над какими-то химическими препаратами. Исследуя кучки золы на плите под колаком, где, очевидно, производились химические пробы, перелистав несколько брошюр с загнутыми уголками страниц, он установил второе: убитый человек занимался все-го-навсего обыкновенной пиротехникой.

Такое умозаключение поставило Шельгу в тупик. Он еще раз обыскал платье убитого — нового ничего не обнаружил. Тогда он подошел к вопросу с другой стороны.

Следы ног у окна показывали, что убийца было двое, что они проникли через окно, неминуемо рискуя встретить сопротивление, так как человек на даче не мог не услышать треска срываемой ставни.

Это означало, что убийцам нужно было во что бы то ни стало либо получить что-то чрезвычайно важное, либо умертвить человека на даче.

Далее: если предположить, что они хотели просто умертвить его, то, во-первых, они могли это сделать проще, скажем, подкараулив его где-нибудь по пути на дачу, и, во-вторых, положение убитого на кровати показывало, что его пытали, зарезан он был не сразу. Убийцам нужно было узнать что-то от этого человека, чего он не хотел сказать.

Что они могли выпытывать у него? Деньги? Трудно предположить, чтобы человек, отправляясь ночью на заброшенную дачу заниматься пиротехникой, стал брать с собой большие деньги. Вернее — убийцы хотели узнать какую-то тайну, связанную с ночными занятиями убитого.

Таким образом, ход мыслей привел Шельгу к новому исследованию кухни. Он отодвинул от стены ящики и обнаружил квадратный люк в подвал, который часто устраивают на дачах прямо под полом кухни. Тарашкин зажег огарок и лег на живот, освещая сырое подполье, куда Шельга осторожно спустился по тронутой гилью, скользкой лестнице.

— Идите-ка сюда со свечкой, — крикнул из темноты Шельга, — вот где у него была настоящая-то лаборатория.

Подвал занимал площадь под всей дачей: у кирпичных стен стояло несколько дощатых столов на козлах, баллоны с газом, небольшой мотор и динамо, стеклянные вазы, в которых обычно производят электролиз, слесарные инструменты и повсюду на столах — кучки леп...

— Вот он чем тут занимался, — с некоторым недоумением сказал Шельга, рассматривая придоуненное к стене подвала толстые деревянные бруски и листы железа. И листы и бруски во многих местах были просверлены, ниние разрезаны пополам, места разрезов и отверстий казались обожженными и оплавленными.

В дубовой доске, стоящей торчком, отверстием эти были диаметром в десятую долю миллиметра, будто от укола иголкой. Посредине доски выведено большими буквами: «П. П. Гарин». Шельга перевернул доску, и

на обратной стороне оказались те же навыворот буквы: каким-то непонятным способом трехдюймовая доска была прожжена этой надписью насквозь.

— Фу-ты, черт, — сказал Шельга, — иет, П. П. Гарин здесь не протехникой занимался. — Василий Витальевич, а это что такое? — спросил Тарашкин, показывая пирамидку дюйма в полтора высоты, около дюйма в основании, спрессованную из какого-то серого вещества.

— Где вы нашли?

— Их там целый ящик.

Повертев, поинюхав пирамидку, Шельга поставил ее на край стола, воткнул сбоку в нее зажженную спичку и отошел в дальний угол подвала. Спичка догорела, пирамидка вспыхнула ослепительным бело-голубоватым светом. Горела пять минут с секундами без копоти, почти без запаха.

— Рекомендую в следующий раз таких опытов не производить, — сказал Шельга, — пирамидка могла оказаться газовой свечкой. Тогда бы мы не ушли из подвала. Очень хорошо, — что же мы узнали? Попробуем установить: во-первых, убийство было не с целью мщения или грабежа. Во-вторых, установим фамилию убитого — П. П. Гарин. Вот пока не все. Вы хотите возразить, Тарашкин, что, может быть, П. П. Гарин тот, кто уехал на лодке. Не думаю. Фамилию на доске написал сам Гарин. Это психологически ясно. Если бы я, скажем, изобрел какую-нибудь такую замечательную штуку, то уж наверно от восторга написал бы свою фамилию, но уж никак не вашу. Мы знаем, что убитый работал в лаборатории; значит, он и есть изобретатель, то есть — Гарин.

Шельга и Тарашкин вылезли из подвала и, закурнув, сели на крылечке, на солнышке, поджидая агента с собакой.

7

На главном почтамте в одно из окошек приема заграничных телеграмм просунулась жирная красноватая рука и повисла с дрожащими телеграфным бланком.

Телеграфист несколько секунд глядел на эту руку и, наконец, понял: «Ага, пятого пальца нет — мизинца», и стал читать бланк.

«Варшава, Маршалковская, Семенову. Поручение исполнено наполовину, инженер отбыл, документы получить не удалось, жду распоряжений. Стась».

Телеграфист подчеркнул красным — Варшава. Поднялся и, заслонив собой окошечко, стал глядеть через решетку на подателя телеграммы. Это был массивный, средних лет человек, с нездоровой, желтовато-серой кожей надутого лица, с всякаыми, прикрывающими рот желтыми усами. Глаза спрятаны под шелками опухших век. На бритой голове коричневый бархатный картуз.

— В чем дело? — спросил он грубо. — Принимайте телеграмму.

— Телеграмма шифрованная, — сказал телеграфист.

— То есть как? — шифрованная? Что вы мне ерунду порете! Это коммерческая телеграмма, вы обязаны принять. Я покажу удостоверение, я состою при польском консульстве, вы ответите за малейшую задержку.

Четырехпалый гражданин рассердился и тряс шеками, не говорил, а лаял, — но рука его на прилавке окошечка продолжала тревожно дрожать.

— Видите ли, гражданин, — говорил ему телеграфист, — хотя вы уверяете, будто ваша телеграмма коммерческая, а я уверяю, что — политическая, шифрованная.

Телеграфист усмехался. Желтый господин, сердясь, повышал голос, а между тем телеграмму его незаметно взяла барышня и отнесла к столу, где Василий Витальевич Шельга просматривал всю подачу телеграмм этого дня.

Взглянув на бланк: «Варшава, Маршалковская», он вышел за перегородку в зал, оставившись позад сердитого отправителя и сделал знак телеграфисту. Тот, покрутив носом, прошелся насчет панской политнки и сел писать квитанцию. Поляк тяжело сопел от злости, переминаясь, скрипел лакированными башмаками. Шельга внимательно глядел на его большие ноги. Отошел к выходным дверям, кивнул дежурному агенту на поляка:

— Проследить.

Вчерашние поиски с ищейкой привели от дачи в березовом леску к реке Крестовке, где и оборвались: здесь убийцы, очевидно, сели в лодку. Вчерашний день не принес новых данных. Преступники, по всей видимости, были хорошо скрыты в Ленинграде. Не дал ничего и просмотр телеграмм. Только эта последняя, пожалуй, — в Варшаву Семенову, — представляла некоторый интерес.

Телеграфист подал поляку квитанцию, тот полез в жилетный карман за мелочью. В это время к окошечку быстро подошел с бланком в руке красивый темноголазый человек с острой бородкой и, поджидая, когда место освободится, со спокойным недоброжелательством глядел на солидный живот сердитого поляка.

Затем Шельга увидел, как человек с острой бородкой вдруг весь подобрался: он заметил четырехпалую руку и сейчас же взглянул поляку в лицо.

Глаза их встретились. У поляка отвалилась челюсть. Опухшие веки широко раскрылись. В мутных глазах мелькнул ужас. Лицо его, как у чудовищного хамелеона, изменилось — стало свинцовым.

И только тогда Шельга понял, — узнал стоявшего перед поляком человека с бородкой: это был двойник убитого на даче в березовом леску на Крестовском...

Поляк хрипло вскрикнул и понесясь с невероятной быстротой к выходу. Дежурный агент, которому было приказано лишь следить за ним издали, беспренятственно пропустил его на улицу и проследил за ним.

Двойник убитого остался стоять у окошечка. Холодные, с темным ободком, глаза его не выражали ничего, кроме изумления. Он пожал плечом и, когда поляк скрылся, подал телеграфисту бланк:

«Париж, Бульвар Батиньоль, до востребования, номеру 555. Немедленно приступите к анализу, качество повысите на пятьдесят процентов, в середине мая жду первой посылки. П. П.»

— Телеграмма касается научных работ, ими сейчас занят мой товарищ, командированный в Париж Институтом неорганической химии, — сказал он телеграфисту. Затем не спеша потянул из кармана папиросную коробку, постукал папиросой и осторожно закурил ее. Шельга учтиво сказал ему:

— Разрешите вас на два слова.

Человек с бородкой взглянул на него, опустил ресницы и ответил с крайней любезностью:

— Пожалуйста.

— Я агент уголовного розыска, — сказал Шельга, приоткрывая карточку, — может быть, поищем более удобное место для разговора.

— Вы хотите арестовать меня?

— Ни малейшего намерения. Я хочу вас предупредить, что поляк, который отсюда убежал, намерен вас убить, так же как вчера на Крестовском он убил инженера Гарина.

Человек с бородкой на минуту задумался. Ни вежливость, ни спокойствие не покинули его.

— Пожалуйста, — сказал он, — идемте, у меня четверть часа свободного времени.

8

На улице близ почтамта к Шельге подбежал дежурный агент — весь красный, в пятнах:

— Товарищ Шельга, он ушел.

— Зачем же вы его упустили?

— Его автомобиль ждал, товарищ Шельга.

— Где ваш мотоциклет?

— Он валяется, — сказал агент, показывая на мотоцикл в ста шагах от почтамтского подъезда, — он подскочил и ножом по шине. Я засвистал. Он — в машину и — ходу.

— Заметили номер автомобиля?

— Нет.

— Я подам на вас рапорт.

— Так как же, когда у него номер нарочито весь грязью заклеен?

— Хорошо, идите в угрозыск, через двадцать минут я буду.

Шельга догнал человека с бородкой. Некоторое время они шли молча. Свернули к бульвару Профсоюзков.

— Вы поразительно похожи на убитого, — сказал Шельга.

— Мне это неоднократно приходилось слышать, моя фамилия Пьяиков-Питкевич, — с готовностью ответил человек с бородкой. — Во вчерашней вечерней я прочел об убийстве Гарина. Это ужасно. Я хорошо знал этого человека, дельный работник, прекрасный химик. Я часто бывал в его лаборатории на Крестовском. Он готовил крупное открытие по военной химии. Вы имеете понятие о так называемых дымовых свечах?

Шельга покосился на него, не ответил, спросил:

— Как вы думаете — убийство Гарина связано с интересами Польши?

— Не думаю. Причина убийства гораздо глубже. Сведения о работах Гарина попали в американскую печать. Польша могла быть только передаточной инстанцией.

На бульваре Шельга предложил присесть. Было безлюдно. Шельга вынул из портфеля вырезки из русских и иностранных газет, разложил на коленях.

— Вы говорите, что Гари работал по химии, сведения о нем проникли в зарубежную печать. Здесь кое-что совпадает с вашими словами, кое-что мне не совсем ясно. Вот прочтите:

«...В Америке заинтересованы сообщением из Ленинграда о работах одного русского изобретателя. Предполагают, что его прибор обладает наиболее могучей, из всех известных до сих пор, разрушительной силой».

Питкевич прочел и — улыбаясь:

— Странно, — не знаю... Не слышал про это. Нет, это не про Гарина.

Шельга протянул вторую вырезку:

«...В связи с предстоящими большими маневрами американского флота в тихоокеанских водах был сделан запрос в военном министерстве, — известно ли о приборах колоссальной разрушительной силы, строящихся в Советской России».

Питкевич пожал плечами: «Чепуха», — и взял у Шельги третью вырезку:

«Химический король, миллиардер Роллинг, отбыл в Европу. Его отъезд связан с организацией треста: заводов, обрабатывающих продукты угольной смолы и поваренной соли. Роллинг дал в Париже интервью, выразив уверенность, что его чудовищный химический концерн внесет успокоение в страны Старого Света, потрясаемые революционными силами. В особенности агрессивно Роллинг говорил о Советской России, где, по слухам, ведутся загадочные работы над передачей на расстояние тепловой энергии».

Питкевич внимательно прочел. Задумался. Сказал, нахмурив брови:

— Да. Весьма возможно, — убийство Гарина связано как-то с этой заметкой.

— Вы спортсмен? — неожиданно спросил Шельга, взял руку Питкевича и повернул ее ладонью вверх. — Я страстно увлекаюсь спортом.

— Вы смотрите, нет ли у меня мозолей от весел, товарищ Шельга... Видите — два пухырька, — это указывает, что я плохо гребу и что я два дня тому назад действительно греб около полутора часов подряд, отвезя Гарина в лодке на Крестовский остров... Вас удовлетворяют эти сведения?

Шельга отпустил его руку и засмеялся:

— Вы молодчина, товарищ Питкевич, с вами любопытно было бы повозиться всерьез.

— От серьезной борьбы я никогда не отказываюсь.

— Скажите, Питкевич, вы знали раньше этого поляка с четырьмя пальцами?

— Вы хотите знать, почему я изумился.

увидя у него четырехпалую руку? Вы очень наблюдательны, товарищ Шельга. Да, я изумился... больше — я испугался.

— Почему?

— Ну, вот этого я вам не скажу.

Шельга покусал кожу на губе. Смотрел вдоль пустынного бульвара.

Питкевич продолжал:

— У него не только изуродована рука, — у него на теле чудовищный шрам наискосок через грудь. Изуродовал Гарин в тысяча девятьсот девятнадцатом году. Человека этого зовут Стась Тыклинский...

— Что же, — спросил Шельга, — покойный Гарин изуродовал его тем же способом, каким он разрезал трехдюймовые доски?

Питкевич быстро повернул голову к собеседнику, и они некоторое время глядели в глаза друг другу: один спокойно и непроницаемо, другой весело и открыто.

— Арестовать меня все-таки вы намереваетесь, товарищ Шельга?

— Нет... Это мы всегда успеем.

— Вы правы. Я знаю много. Но, разумеется, никакими принудительными мерами вы не выпытаете у меня того, чего я не хочу открывать. В преступлении я не замешан, вы сами знаете. Хотите — игру в открытую? Условия борьбы: после хорошего удара мы встречаемся и открыто беседуем. Это будет похоже на шахматную партию. Запрещенные приемы — убивать друг друга до смерти. Кстати — откуда мы с вами беседуем, вы подвергались смертельной опасности, уверяю вас, — я не шучу. Если бы на вашем месте сидел Стась Тыклинский, то я бы, скажем, осмотрелся, — пустыню, — и пошел бы не спеша на Сеинатскую площадь, а его бы нашли на этой скамейке безыдежно мертвым, с отвратительными пятнами на теле. Но, повторяю, к вам этих фокусов применять не стану. Хотите партию?

— Ладно. Согласен, — сказал Шельга, блестя глазами, — нападать буду я первым, так?

— Разумеется, если бы вы не поймали меня на почтамте, я бы сам, конечно, не предложил игры. А что касается четырехпалого поляка — обещаю помогать в его розыске. Где бы его ни встретил — я вам немедленно сообщу по телефону или телеграфно.

— Ладно. А теперь, Питкевич, покажите, что у вас за штука такая, чем вы грозитесь...

Питкевич качнул головой, усмехнулся: «Будь по-вашему — игра открытая», и осторожно вынул из бокового кармана плоскую коробку. В ней лежала металлическая, в палец толщину, трубка.

— Вот и все, только надавить с одного конца, — там внутри хрустнет стеклышко.

9

Подходя к уголовному розыску, Шельга сразу остановился, — будто иалетел на телеграфный столб: «Хел — выдохнул он, — хел — и бешено топнул ногой: — Ах, ловкач, ах, артист!»

Шельга действительно был одурачен вчи-

стую. Он стоял в двух шагах от убийцы (в этом теперь не было сомнения) и не взял его. Он говорил с человеком, знающим, видимо, все нити убийства, и тот умудрился ничего ему не сказать по существу. Этот Пьянков-Питкевич владел какой-то тайной... Шельга вдруг понял — именно государственного, мирового значения была эта тайна... Он уже за хвост держал Пьянкова-Питкевича, — «вывернулся, проклятый, обомшел»

Шельга взбежал на третий этаж к себе в отдел. На столе лежал пакет из газетной бумаги. В глубокой нише окна сидел смиренный толстенький человек в смазных сапогах. Держа картуз у живота, он поклонился Шельге.

— Бабичев, управдом, — сказал он с сильно самогонным духом, — по Пушкинской улице двадцать четвертый номер дома, жилищное товарищество.

— Это вы принесли пакет?

— Я принес. Из квартиры номер тринадцатый... Это не в главном корпусе, а в пристройке. Жилец вторые сутки у нас пропал. Сегодня милицию позвали, дверь вскрыли, составили акт в порядке закона, — управдом прикрыл рот рукой, щеки его покраснели, глаза слегка вылезли, увлажнились, дух самогон наполнил комнату, — значит, этот пакет я нашел дополнительно в печке.

— Фамилия пропавшего жильца?

— Савельев, Иван Алексеевич.

Шельга развернул пакет. Там оказались — фотографическая карточка Пьянкова-Питкевича, гребень, иголки и склянка темной жидкости, краска для волос.

— Чем занимался Савельев?

— По ученой части. Когда у нас фановая труба лопнула — комитет к нему обратился... Он — «рад бы, говорит, вам помочь, но я химик».

— Он часто отлучался по ночам с квартиры?

— По ночам? Нет. Не замечалось, — управдом опять прикрыл рот, — чуть свет он — со двора, это верно. Но так, чтобы по ночам, — не замечалось, пьяным не видели.

— Ходили к нему знакомые?

— Не замечалось.

Шельга по телефону запросил отдел милиции Петроградской стороны. Оказалось, — в пристройке дома двадцать четыре по Пушкинской действительно проживал Савельев Иван Алексеевич, тридцати шести лет, инженер-химик. Поселился на Пушкинской в феврале с удостоверением личности, выданным тамбовской милицией.

Шельга послал телеграфный запрос в Тамбов и на автомобиле вместе с управдомом поехал на Фонтауку, где в отделе уголовного следствия, на леднике, лежал труп человека, убитого на Крестовском. Управдом сейчас же в нем признал жильца из тринадцатого номера.

10

В то же приблизительно время тот, кто называл себя Пьянковым-Питкевичем, подъехал на извозчике с поднятым верхом к одному из

пустырей на Петроградской стороне, распла- тился и пошел по тротуару вдоль пустыря. Он открыл калитку в дощатом заборе, миновал двор и поднялся по узкой лестнице черного хода на пятый этаж. Двумя ключами открыл дверь, повесил в пустой прихожей на единственный гвоздь пальто и шляпу, вошел в комнату, где четыре окна до половинки были замазаны мелом, сел на продранный диван и закрыл лицо руками.

Только здесь, в уединенной комнате (уставленной книжными полками и физическими приборами), он мог отдышаться, наконец, уяз- ном волнению, почти отчаянию, потрясшему его со вчерашнего дня.

Его руки, сжимавшие лицо, дрожали. Он понимал, что смертельная опасность не миновала. Он был в окружении. Только как-не- то небольшие возможности складывались в его пользу, из ста — девяносто девять было про- тив. «Как неосторожно, ах, как неосторож- но», — шептал он.

Усилием воли он, наконец, овладел своим волнением, кинул кулаком грязную подушку, лег навзничь и закрыл глаза.

Его мысли, перегруженные страшным на- пряжением, отдыхали. Несколько минут мерт- вой неподвижности освежили его. Он поднял- ся, налил в стаканы мадеры и выпил одним глотком. Когда горячая волна пошла по телу, он стал шагать по комнате, с методичной не- торопливостью, ища этих небольших возмож- ностей к спасению.

Он осторожно отогнул у плитуса старые отставшие обои, вытащил из-под них листы чертежей и свернул их трубкой. Снял с полок несколько книг и все это, вместе с чертежа- ми и частями физических приборов, уложил в чемодан. Поминутно прислушиваясь, отнес чемодан вниз и в одном из темных дровяных подвалов спрятал его под кучей мусора. Снова поднялся к себе, вынул из письменного стола револьвер, осмотрел, сунул в задний карман.

Было без четверти пять. Он опять лег и ку- рил одну папиросу за другой, бросая окурки в угол. «Разумеется, они не нашли!» — почти закричал он, сбрасывая ноги с дивана, и снова забегал по диагонали комнаты.

В сумерки он натянул грубые сапоги, на- дел парусиновое пальто и вышел из дому.

11

В полночь в шестнадцатом отделении ми- лиции был вызван к телефону дежурный. То- ропливый голос проговорил ему в ухо:

— На Крестовский, на дачу, где позавче- ра было убийство, послать немедленно наряда милиции...

Голос прервался. Дежурный словочулся в трубку. Вызвал проверочную, оказалось, что звонили из гребной школы. Позвонил в греб- ную школу. Там долго трещал телефон, нако- нец заспанный голос проговорил:

— Что нужно?

— От вас сейчас звонили?

— Звонили, — зевнув, ответил голос.

— Кто звонил?.. Вы видели?

— Нет, у нас электричество испорчено. Сказали, что по поручению товарища Шельга.

Через полчаса четверо милиционеров вы- скокнули из грузовничка у заколоченной дачи на Крестовском. За берегами тускло багровел остаток заря. В тишине слышались слабые стоны. Человек в тулупе лежал ничком близ черного крыльца. Его перевернули, — оказа- лся сторож. Около него валялась вата, пропи- танная хлороформом.

Дверь крыльца была раскрыта настежь. Замок сорван. Когда милиционеры проникли внутрь дачи, из подполья чей-то заглушенный голос закричал:

— Люк, отвалите люк в кухне, товарищи...

Столы, ящики, тяжелые мешки навалены были горой у стены на кухне. Их раскидали, подняли крышку люка.

Из подполья выскочил Шельга, — весь в паутище, в пыли, с дикими глазами.

— Скорее сюда! — крикнул он, исчезая за дверью. — Свет, скорее!

В комнате (с железной кроватью) в свете потайных фонарей увидели на полу два рас- стрелянных револьвера, коричневый бархат- ный картуз и отвратительные, с едким запа- хом, следы рвоты.

— Осторожнее! — крикнул Шельга. — Не дышите, уходите, это — смерти!

Отступая, тесня к дверям милиционеров, он с ужасом, с омерзением глядел на валяю- щуюся на полу металлическую трубку вели- чинной с человеческий палец.

12

Как все крупного масштаба деловые люди, химический король Роллинг принимал на де- лам в особу для того снятом помещении, офи- се, где его секретарь фильтровал посетителей, устанавливая степень их важности, читал их мысли и с чудовищной вежливостью отвечал на все вопросы. Стенографистка превращала в кристаллы человеческих слов иден Роллинга, которые (если взять их арифметическое сред- нее за год и умножить на денежный эквива- лент) стоили приблизительно пятьдесят тысяч долларов за каждый протекающий в одну се- кунду отрезок иден короля неорганической хи- мии. Миндалевидные ногти четырех машини- сток, не переставая, порхали по клавишам че- тырех ундервудов. Мальчик для поручений мгновенно вслед за вызовом вырастал перед глазами Роллинга, как сгустившаяся материя его воли.

Офис Роллинга на бульваре Мальзерб был мрачным и серьезным помещением. Темного штофа стены, темные бортики на полу, темная кожаная мебель. На темных столах, покры- тых стеклом, лежали сборники реклам, спра- вочные книги в коричневой юфте, проспекты химических заводов. Несколько ржавых газо- вых снарядов и бомбомет, привезенные с по- лей войны, украшали камин.

За высокими, темного ореха, дверями, в кабинете средн диаграмм, картограмм и фото-

— Ну?

— Дело сделано.

— Чертежи?

— Видите ли, мистер Роллинг, тут вышло некоторое недоразумение...

— Я спрашиваю, где чертежи? Я их не вижу, — свирепо сказал Роллинг и ладонью легко ударил по столу.

— Слушайте, Роллинг, мы условились, что я вам доставлю не только чертежи, но и самый прибор... Я сделал колоссально много... Нашел людей... Послал их в Петроград. Они проникли в лабораторию Гарина. Они видели действие прибора... Но тут, черт его знает, что-то случилось... Во-первых, Гариних оказалось двое.

— Я это предполагал в самом начале, — брезгливо сказал Роллинг.

— Одиого нам удалось убрать.

— Вы его убили?

— Если хотите — что-то в этом роде. Во всяком случае — он умер. Вас это не должно беспокоить: ликвидация произошла в Петрограде, сам он советский подданный, — пустяки... Но затем появился его двойник... Тогда мы сделали чудовищное усилие...

— Одним словом, — перебил Роллинг, — двойник или сам Гарин жив, и ни чертежей, ни приборов вы мне не доставили, несмотря на затраченные мною деньги.

— Хотите — я позову, — в автомобиле сидит Стась Тыклинский, участник всего этого дела, — он вам расскажет подробно.

— Не желаю видеть никакого Тыклинского, мне нужны чертежи и прибор... Удивляюсь вашей смелости — являться с пустыми руками...

Несмотря на холод этих слов, несмотря на то, что, окончив говорить, Роллинг убийственно посмотрел на Семенова, уверенный, что паршивый русский эмигрант испепелится и исчезнет без следа, — Семенов, не смущаясь, сунул в рот изжеванную сигару и проговорил бойко:

— Не хотите видеть Тыклинского, и не надо, — удовольствие маленькое. Но вот какая штука: мне нужны деньги, Роллинг, — тысяч двадцать франков. Чек дадите или наличными?

При всей огромной опытности и знании людей Роллинг первый раз в жизни видел такого нахала. У Роллинга выступило даже что-то вроде испарения на мясистою носу, — такое он сделал над собой усилие, чтобы не вклясть чернильной в веснушчатую кожу Семенова... (А сколько было потеряно драгоценнейших секунд во время этого дрянного разговора!) Овладев собою, он потянулся к звонку.

Семенов, следя за его рукой, сказал:

— Дело в том, дорогой мистер Роллинг, что инженер Гарин сейчас в Париже.

гой рукой вцепился в край стола. Наклонился к его лицу:

— Вы ждете.

— Ну вот еще, стану я врать... Дело было так: Стась Тыклинский встретил этого двойника в Петрограде на почте, когда тот сдавал телеграмму, и заметил адрес: Париж, бульвар Батиньоль... Вчера Тыклинский приехал из Варшавы, и мы сейчас же побежали на бульвар Батиньоль и — нос к носу испоролось в кафе на Гарина или на его двойника, черт их разберет.

Роллинг ползал глазами по веснушчатому лицу Семенова. Затем выпрямился, из легких его вырвалось пережженное дыхание:

— Вы прекрасно понимаете, что мы не в Советской России, а в Париже, — если вы совершите преступление, спастись от гильотины я вас не буду. Но если вы попытаетесь меня обмануть, я вас расточу.

Он вернулся на свое место, с отвращением раскрыл чековую книжку: «Двадцать тысяч не дам, с вас довольно и пяти...» Выписал чек, ногтем толкнул его по столу Семенову и потом — не больше, чем на секунду, — положил локти на стол и ладонями стиснул лицо.

16

Разумеется, не по воле случая красавица Зоя Моироз стала любовницей химического короля. Только дурак дан, те, кто не знает, что такое борьба и победа, видят повсюду случай. «Вот этот счастливый», — говорят они с завистью и смотрят на удачника, как на чудо. Но сорвался он — тысячи дураков с упоением растопчут его, отвергнутого божественным судьбой.

Нет, ни капли случайности, — только ум и воля привели Зою Моироз к постели Роллинга. Воля ее была закалена, как сталь, включениями девятнадцатого года. Ум ее был настолько едок, что она сознательно поддерживала среди окружающих веру в исключительное расположение к себе божественной фортуны, или Счастья...

В квартале, где она жила (левый берег Сены, улица Сены), в мелочных, колониальных, винных, угольных и гастрономических лавочках считали Зою Моироз чем-то вроде святой.

Ее дневной автомобиль — черный лимузин 24 HP, ее прогулочный автомобиль — полубожественный ролс-ройс 80 HP, ее вечерняя электрическая каретка, — внутри — стеганого шелка, — с вазочками для цветов и серебристыми ручками, — и в особенности выигрыш в казино в Довиле полутора миллионов франков, — вызывали религиозное восхищение в квартале.

Половину выигрыша, осторожно, с огромным знанием дела, Зоя Моироз «вложила» в прессу.

С октября месяца (начало парижского сезона) пресса «подняла красавицу Моироз на перья». Сначала в мелкобуржуазной газете появился пасквиль о разоренных любовниках

Роллинг вскочил, — изоздри распахнулись, между бровей вздулась жила. Он подбежал к двери и запер ее на ключ, затем близко подошел к Семенову, взялся за спинку кресла, дру-

Зои Монроз. «Красавица слишком дорого нам стоит!» — восклицала газета. Затем влиятельный радикальный орган, ни к селу ни к городу, по поводу этого пасквиля загредел о мелких буржуа, посылающих в парламент лавочников и винных торговцев с кругозором не шире их квартала. «Пусть Зоя Монроз разорила дюжину иностранцев», — восклицала газета, — их деньги вращаются в Париже, они увеличивают энергию жизни. Для нас Зоя Монроз лишь символ здоровых жизненных отношений, символ вечного движения, где один падает, другой поднимается».

Портреты и биографии Зои Монроз сообщались во всех газетах:

«Ее покойный отец служил в императорской опере в С.-Петербурге. Восми лет очаровательная малютка Зоя была отдана в балетную школу. Перед самой войной она ее окончила и дебютировала в балете с успехом, которого не запомнит Северная столица. Но вот — война, и Зоя Монроз с юным сердцем, переполненным милосердия, бросается на фронт, одетая в серое платьице с красным крестом на груди. Ее встречают в самых опасных местах, спокойно наклоняющуюся над раненым солдатом среди урагана вражеских снарядов. Она ранена (что, однако, не нанесло ущерба ее телу юной грации), ее везут в Петербург, и там она знакомится с капитаном французской армии. Революция. Россия предает союзников. Душа Зои Монроз потрясена Брестским миром. Вместе со своим другом, французским капитаном, она бежит на юг и там верхом на коне, с винтовкой в руках, как разгневанная грация, борется с большевиками. Ее друг умирает от сыпного тифа. Французские моряки увозят ее на миноносце в Марсель. И вот она в Париже. Она бросается к ногам президента, прося дать ей возможность стать французской подданной. Она танцует в пользу несчастных жителей разрушенной Шампани. Она — на всех благотворительных вечерах. Она — как ослепительная звезда, упавшая на тротуары Парижа».

В общих чертах биография была правдива. В Париже Зоя быстро осмотрелась и пошла по линии: всегда вперед, всегда с боями, всегда к самому трудному и ценному. Она действительно разорила дюжину скоробогачей, тех самых коротеньких молодчиков с волосатыми пальцами в перстнях и с воспаленными щеками. Зоя была дорогая женщина, и они погибли.

Очень скоро она поняла, что скоробогатые молодчики не дадут ей большого шанса в Париже. Тогда она взяла себе в любовники модного журналиста, изменила ему с парламентским деятелем от крупной промышленности и поняла, что самое шикарное в двадцатых годах двадцатого века — это химия.

Она завела секретаря, который ежедневно делал ей доклады об успехах химической промышленности и давал нужную информацию. Таким образом она узнала о предполагающей поездке в Европу короля химии Роллинга.

Она сейчас же выехала в Нью-Йорк. Там, на месте, купила, с душой и телом, репортера

большой газеты, — и в прессе появились заметки о приезде в Нью-Йорк самой умилой, самой красивой в Европе женщины, которая соединяет профессию балерины с увлечением самой модной наукой — химией и даже, вместо банальных бриллиантов, носит ожерелье из хрустальных шариков, наполненных светящимся газом. Эти шарики действовали на воображение американцев.

Когда Роллинг сел на пароход, отходящий во Францию, — на верхней палубе, на площадке для тенниса, между широколистной пальмой, шумящей от морского ветра, и деревом цветущего миндалея, сидела в плетеном кресле Зоя Монроз.

Роллинг знал, что это самая модная женщина в Европе, кроме того, она действительно ему понравилась. Он предложил ей быть его любовницей. Зоя Монроз поставила условием подписать контракт с неустойкой в миллион долларов.

О новой связи Роллинга и о необыкновенном контракте дано было радио из открытого океана. Эйфелева башня приняла эту сенсацию, и на следующий день Париж заговорил о Зое Монроз и о химическом короле.

17

Роллинг не ошибся в выборе любовницы. Еще на пароходе Зоя сказала ему:

— Милый друг, было бы глупо с моей стороны совать нос в ваши дела. Но вы скоро увидите, что как секретарь я еще более удобна, чем как любовница. Женская дребедень меня мало занимает. Я честолюбива. Вы большой человек: я верю в вас. Вы должны победить. Не забудьте, — я пережила революцию, у меня был сыпьяк, я дралась, как солдат, и проделала верхом на коне тысячу километров. Это незабываемо. Моя душа выжжена ненавистью.

Роллингу показалась занимательной ее ледяная страсть. Он прикоснулся пальцем к кончику ее носа и сказал:

— Крошка, для секретаря при деловом человеке у вас слишком много темперамента, вы сумасшедшая, в политике и делах вы всегда останетесь дилетантом.

В Париже он начал вести переговоры о рестрировании химических заводов. Америка вкладывала крупные капиталы в промышленность Старого Света. Агенты Роллинга острожно скупали акции. В Париже его называли «американским буйволом». Действительно, он казался великаном среди европейских промышленников. Он шел напролом. Луч зрения его был узок. Он видел перед собой одну цель: сосредоточение в одних (своих) руках мировой химической промышленности.

Зоя Монроз быстро изучила его характер, его приемы борьбы. Она поняла его силу и его слабость. Он плохо разбирался в политике и говорил иногда глупости о революции и о большевиках. Она незаметно окружила его нужными и полезными людьми. Свела его с миром журналистов и руководила беседами.

Она покупала мелких хроникеров, на которых он не обращал внимания, но они оказали ему больше услуг, чем солидные журналисты, потому что они проникали, как москиты, во все щели жизни.

Когда она «устроила» в парламенте небольшую речь правого депутата «о необходимости тесного контакта с американской промышленностью в целях химической обороны Франции», Роллинг в первый раз по-мужски, дружески, со встряхиванием пожал ей руку:

— Очень хорошо, я беру вас в секретари с жалованием двадцать семь долларов в неделю.

Роллинг поверил в полезность Зои Моироз и стал с ней откровенен по-деловому, то есть — до конца.

18

Зоя Моироз поддерживала связи с некоторыми из русских эмигрантов. Один из них, Семенов, состоял у нее на постоянном жалованье. Он был инженером-химиком выпуска военного времени, затем прапорщиком, затем белым офицером и в эмиграции занимался мелкими комиссиями, вплоть до перепродажи ношенных платков уличным девочкам.

У Зои Моироз он заведовал контрразведкой. Приносил ей советские журналы и газеты, сообщал сведения, сплетни, слухи. Он был исполнителен, боек и не брезглив.

Однажды Зоя Моироз показала Роллингу вырезку из ревельской газеты, где сообщалось о строящемся в Петрограде приборе огромной разрушительной силы. Роллинг засмеялся:

— Вадор, никто не испугается... У вас слишком горячее воображение. Большевики ничего не способны построить.

Тогда Зоя пригласила к завтраку Семенова, и он рассказал по поводу этой заметки странную историю:

«...В девятнадцатом году в Петрограде, незадолго до моего бегства, я встретил на улице приятеля, поляка, вместе с ним кончил технологический институт, — Стаса Тыклинского. Мешок за спиной, ноги обмотаны кусками ковра, на пальто цифры — мелом — следы очереди. Словом, все как полагается. Но лицо оживленное. Подмигивает. В чем дело? «Я, говорит, на такое золотое дело наскочил — ай люди! — миллионы! Какой там, — сотни миллионов (золотых, конечно)!» Я, разумеется, пристал — рассказы, он только смеется. На том и расстался. Недели через две после этого я проходил по Васильевскому острову, где жил Тыклинский. Вспомнил про его золотое дело, — думаю, дай попросу у миллионера полфунтика сахара. Зашел. Тыклинский лежит чуть ли не при смерти, — рука и грудь забиты ваты.

— Кто это тебя так отделал?

— Подожди, — отвечает, — святая дева поможет — поправлюсь — я его убью.

— Кого?

— Гарина.

И он рассказал, правда, сбивчиво и туманно, не желая открывать подробности, про то,

как давнийший его знакомый, инженер Гарин, предложил ему приготовить угольные свечи для какого-то прибора необыкновенной разрушительной силы. Чтобы заинтересовать Тыклинского, он обещал ему процент с барышей. Он предполагал по окончании опытов удрать с готовым прибором в Швецию, взять там патент и самому заняться эксплуатацией аппарата.

Тыклинский с увлечением начал работать над пирамидками. Задача была такова, чтобы при возможно малом их объеме выделялось возможно большее количество тепла. Устройство прибора Гарин держал в тайне, — говорил, что принцип его необычайно прост и потому малейший намек раскроет тайну. Тыклинский поставлял ему пирамидки, но ни разу не мог упросить показать ему аппарат.

Такое недоверие бесило Тыклинского. Они часто ссорились. Однажды Тыклинский проследил Гарина до места, где он производил опыты, — в полуразрушенном доме на одной из глухих улиц Петербургской стороны. Тыклинский пробрался туда вслед за Гариним и долго ходил по каким-то лестницам, пустынным комнатам с выбитыми окнами, и наконец в подвале услышал сильное, точно от быющей струи пара, шипение и знакомый запах горящих пирамидок.

Он осторожно спустился в подвал, но споткнулся о битые кирпичи, упал, нашумел и, шагах в тридцати от себя, за аркой, увидел освещенное коптилкой, перекошенное лицо Гарина. «Кто, кто здесь?» — дико закричал Гарин, и в это же время ослепительный луч, не толще вязальной иглы, соскочил со стены и резнул Тыклинского нанкосок через грудь и руку.

Тыклинский очнулся на рассвете, долго звал на помощь и на четвереньках выполз из подвала, обливаясь кровью. Его подобрал прохожий, доставили на ручной тележке домой. Когда он выздоровел, началась война с Польшей, — ему пришлось уносить ноги из Петрограда».

Рассказ этот произвел на Зою Моироз чрезвычайное впечатление. Роллинг недоверчиво усмехался: он верил только в силу удушьящих газов. Броненосцы, крепости, пушки, громоздкие армии — все это, по его мнению, были пережитки варварства. Аэропланы и химия — вот единственные могучие орудия войны. А какие-то там приборы из Петрограда — вадор и вадор!

Но Зоя Моироз не успокоилась. Она пошла Семенову в Финляндию, чтобы оттуда добыть точные сведения о Гарине. Белый офицер, нанятый Семеновым, перешел на лыжах русскую границу, нашел в Петрограде Гарина, говорил с ним и даже предложил ему совместно работать. Гарин держался очень осторожно. Видно, ему было известно, что за ним следят из-за границы. О своем аппарате он говорил в том смысле, что того, кто будет владеть им, ждет сказочное могущество. Опыты с моделью аппарата дали блестящие результаты. Он ждал только окончания работ над свечами-пирамидками.

В дождливый воскресный вечер начала весны огни из окон и бесчисленные огни фонарей отражались в асфальтах парижских улиц.

Будто по черным каналам, над бездной огней мчались мокрые автомобили, бежали, сталкивались, крутились промокашие зонтики. Прелой сыростью бульваров, запахом овощных лавок, беизинновой гарью и духами была напитана дождевая мгла.

Дождь струился по графитовым крышам, по решеткам балконов, по огромным полосатым тентам, раскинутым над кофейнями. Мутно в тумане зажигались, крутились, мерцали огненные рекламы всевозможных увеселений.

Люди маленькие — приказчики и приказчицы, чиновники и служащие — развлекались, что как мог, в этот день. Люди большие, деловые, солидные сидели по домам у каминов. Воскресенье было днем черин, отданным ей на растерзание.

Зоя Монроз сидела, подобрав ноги, на широкое диване среди множества подушек. Она курила и глядела на огонь камина. Роллинг, во фраке, помещался, с игогами на скамеечке, в большом кресле и тоже курил и глядел на угли.

Его освещенное камином лицо казалось раскраснело-красным, — мясистый нос, щеки, заросшие бородкой, полузакрытые веками, слегка воспаленные глаза повелителя вселенной. Он предавался хорошей скуке, необходимой раз в неделю, чтобы дать отдых мозгу и нервам.

Зоя Монроз протянула перед собой красивые обнаженные руки и сказала:

— Роллинг, прошло уже два часа после обеда.

— Да, — ответил он, — я так же, как и вы, полагаю, что пищеварение окончено.

Ее прозрачные, почти мечтательные глаза скользили по его лицу. Тихо, серьезным голосом, она назвала его по имени. Он ответил, не шевелясь в изгнетом кресле:

— Да, я слушаю вас, моя крошка.

Разрешение говорить было дано. Зоя Монроз пересела на край дивана, обхватила колени.

— Скажите, Роллинг, химические заводы представляют большую опасность для взрыва?

— О да. Четвертое производное от каменного угля — тротил — чрезвычайно могучее взрывчатое вещество. Восьмое производное от угля — пикриновая кислота, ею начиняют бронебойные снаряды морских орудий. Но есть и еще более сильная штука, это — тетрил.

— А это что такое, Роллинг?

— Все тот же каменный уголь. Бензол (C_6H_6), смешанный при восьмидесяти градусах с азотной кислотой (HNO_3), дает нитробензол. Формула нитробензола — $C_6H_5NO_2$. Если мы в ней две части кислорода O_2 заменим двумя частями водорода H_2 , то есть если мы нитробензол начнем медленно разменивать при восьмидесяти градусах с чугунными опилками, с небольшим количеством соляной кислоты, то мы получим анилин ($C_6H_5NH_2$).

Анилин, смешанный с древесным спиртом при пятидесяти атмосферах давления, даст диметил-анилин. Затем выроем огромную яму, обнесем ее земляным валом, внутри поставим сарай и там произведем реакцию диметил-анилина с азотной кислотой. За термометрами во время этой реакции мы будем наблюдать издалека, в подзорную трубу. Реакция диметил-анилина с азотной кислотой даст нам тетрил. Этот самый тетрил — настоящий дьявол: от неизвестных причин он иногда взрывается во время реакции и разбрасывает в пыль огромные заводы. К сожалению, нам приходится иметь с ним дело: обработанный фосгеном, он дает синюю краску — кристалл-виолет. На этой штуке я заработал хорошие деньги. Вы задали мне забавный вопрос... Гм... Я считал, что вы более осведомлены в химии. Гм... Чтобы приготовить из каменноугольной смолы, скажем, облаточку пирамидона, который, скажем, исцелит вашу головную боль, необходимо пройти длинный ряд ступеней... На пути от каменного угля до пирамидона, или до флакончика духов, или до обычного фотографического препарата — лежат такие дьявольские вещи, как тротил и пикриновая кислота, такие великолепные штуки, как бром-бензил-цианид, хлор-пикрин, ди-фенил-хлор-арсин и так далее и так далее, то есть боевые газы, от которых чихают, плачут, срывают с себя защитные маски, задыхаются, рвут кровью, покрываются ишарьями, гиняют заживо....

Так как Роллингу было, скучно в этот дождливый воскресный вечер, то он охотно предавался размышлению о великом будущем химии.

— Я думаю (он помахал около носа доловинны выкуренной сигарой), я думаю, что бог Саваоф создал небо и землю и все живое из каменноугольной смолы и поваренной соли. В Библии об этом прямо не сказано, но можно догадываться. Тот, кто владеет углем и солью, тот владеет миром. Немцы полезли в войну четырнадцатого года только потому, что девять десятых химических заводов всего мира принадлежали Германии. Немцы понимали тайну угля и соли: они были единственной культурной нацией в то время. Однако они не рассчитали, что мы, американцы, в девять месяцев сможем построить Эджвудский арсенал. Немцы открыли нам глаза, мы поняли, куда нужно вкладывать деньги, и теперь миром будем владеть мы, а не они, потому что деньги после войны — у нас и химия — у нас. Мы превратим Германию прежде всего, а за ней и другие страны, умеющие работать (не умеющие вымрут естественным порядком, в этом мы им поможем), превратим в одну могучую фабрику... Американский флаг опойшет землю, как бонбоньерка, по экватору и от полюса до полюса...

— Роллинг, — перебила Зоя, — вы сами накликаете беду... Ведь они тогда станут коммунистами... Придет день, когда они заявят, что вы им больше не нужны, что они желают работать для себя... О, я уже пережила этот ужас... Они откажутся вернуть вам ваши миллиарды...

Тогда, моя крошка, я затоплю Европу горячим газом.

— Роллинг, будет поздно! — Зоя стиснула руками колено, подалась вперед. — Роллинг, поверьте мне, я никогда не давала вам плохих советов... Я спросила вас: представляют ли опасность для взрыва химические заводы?.. В руках рабочих, революционеров, коммунистов, в руках наших врагов, — я это знаю, — окажется оружие чудовищной силы... Они смогут на расстоянии взрывать химические заводы, пороховые погреба, сжигать эскадрильи аэропланов, уничтожать запасы газов — все, что может взрываться и гореть.

Роллинг сиял огнем со скамеечки, красивые веки его мигнули, некоторое время он внимательно смотрел на молодую женщину.

— Насколько я понимаю, вы намекаете опать на...

— Да, Роллинг, да, на аппарат инженера Гарина... Все, что о нем сообщалось, скользнуло мимо вашего внимания!.. Но я-то знаю, насколько это серьезно... Семенов принес мне странную вещь, Он получил ее из России...

Зоя позвонила. Вошел лакей. Она приказала, и он принес небольшой сосисовый ящик, в нем лежал отрезок стальной полосы толщиной в полдюйма. Зоя вынула кусок стали и поднесла к свету камина. В толще стали были прорезаны насквозь каким-то тонким оружием полосы, завитки и наискосок, словно пером — скорописью, было написано: «Проба силы... проба... Гарни». Кусочки металла внутри некоторых букв вывалились. Роллинг долго рассматривал полосу.

— Это похоже на «пробу пера», — сказал он негромко, — как будто писали иголкой в мягком тесте.

— Это сделано во время испытания модели аппарата Гарина на расстоянии тридцати шагов, — сказала Зоя. — Семенов утверждает, что Гарин надеется построить аппарат, который легко, как масло, может разрезать дерево на расстоянии двадцати кабельтовых... Простите, Роллинг, но я настаиваю, — вы должны овладеть этим страшным аппаратом.

Роллинг недаром прошел в Америке школу жизни. До последней клеточки он был тренирован для борьбы.

Тренировка, как известно, точно распределяет усилия между мускулами и вызывает в них наибольшее возможное напряжение. Так у Роллинга, когда он вступал в борьбу, сначала начинала работать фантазия, — она бросалась в девственные дебри предприятий и там открывала что-либо, стоящее внимания. Стоп. Работа фантазии кончилась. Вступал здравый смысл, — оценивал, сравнивал, взвешивал, делал доклад: полезно. Стоп. Вступал практический ум, подсчитывал, учитывал, подводил баланс: актив. Стоп. Вступала воля, крепости молибденовой стали, страшная воля Роллинга, и он, как буйвол с налитыми глазами, ломился к цели и достигал ее, чего бы это ему и другим ни стоило.

Приблизительно такой же процесс произошел и сегодня. Роллинг окинул взглядом Зоя неизведанного, здравый смысл сказал: Зоя

права. Практический ум подвел баланс: самое выгодное — чертежи и аппарат похитить, Гарина ликвидировать. Точка. Судьба Гарина оказалась решенной, кредит открыт, в дело вступила воля. Роллинг поднялся с кресла, стал задом к огню камина и сказал, выпячивая челюсть:

— Завтра я жду Семенова на бульваре Мальзерб.

20

После этого вечера прошло семь недель. Двойник Гарина был убит на Крестовском острове. Семенов явился на бульвар Мальзерб без чертежей и аппарата. Роллинг едва не проломил ему голову чернильницей. Гарина, или его двойника, видел вчера в Париже.

На следующий день, как обычно, к часу дня Зоя заехала на бульвар Мальзерб. Роллинг сел рядом с ней в закрытый лимузин, оперся подбородком о трость и сказал сквозь зубы:

— Гарин в Париже.

Зоя откинулась на подушки. Роллинг невольно посмотрел на нее.

— Семенову давно нужно было отрубить голову на гильотине, он неряха, дешевый убийца, наглед и дурак, — сказал Роллинг. — Я доверился ему и оказался в смешном положении. Нужно предполагать, что здесь он втянет меня в скверную историю...

Роллинг передал Зое весь разговор с Семеновым. Похитить чертежи и аппарат не удалось, потому что бездельники, нанятые Семеновым, убили и Гарина, а его двойника. Появление двойника в особенности смущало Роллинга. Он понял, что противник ловок. Гарин либо знал о готовящемся покушении, либо предвидел, что покушения все равно не избежать, и запутал следы, подсунув похожего на себя человека. Все это было очень неясно. Но самое непонятное было — за каким чертом ему понадобилось оказаться в Париже?

Лимузин двинулся среди множества автомобилей по Елисейским полям. День был теплый, парной, в легкой нежно-голубой мгле вырисовывались крылатые кони и стеклянный купол Большого Салона, полукруглые крыши высоких домов, маркизы над окнами, пышные кущи каштанов.

В автомобилях сидели — кто развалился, кто задрал ногу на колено, кто сосал набалдашник — по преимуществу скоробогатые коротенькие молодчики в весенних шляпах, в весенних галстучках. Они вели завтракать в Булонский лес премиленьких девушек, которых для развлечения иностранцев радиушо предоставлял им Париж.

На площади Этуаль лимузин Зои Монроз нагнал иаемную машину, в ней сидел Семенов и человек с желтым, жирным лицом и пыльным усами. Оба они, подавшись вперед, с каким-то даже иступленным следили за маленьким зеленым автомобилем, загибавшим по площади к остановке подземной дороги.

Семенов указывал на него своему шоферу,

но пробраться было трудно — сквозь поток машин. Наконец пробрался, и полным ходом они двинули наперез зелененькому автомобилю. Но он уже остановился у метрополитена. Из него выскочил человек среднего роста, в широком коверкотовом пальто и скрылся под землей.

Все это произошло в две-три минуты на глазах у Роллинга и Зои. Она крикнула шоферу, чтобы он свернул к метро. Они остановились почти одновременно с машиной Семенова. Жестикую тростью, он подбежал к лимузину, открыл хрустальную дверцу и сказал в ужасном возбуждении:

— Это был Гарин. Ушел. Все равно. Сегодня пойду к нему на Батниколь, предложу мировую. Роллинг, нужно сговориться: сколько вы ассигнуете на приобретение аппарата? Может быть покойны — я стану действовать в рамках закона. Кстати, позвольте вам представить Стаса Тыклинского. Это вполне приличный человек.

Не дожидаясь разрешения, он кликнул Тыклинского. Тот подскочил к богатому лимузину, сорвал шляпу, кланялся и целовал ручку пани Монроз.

Роллинг, не подавая руки ни тому, ни другому, блеснул глазами из глубины лимузина, как пума из клетки. Оставаться на виду у всех на площади было неразумно. Зоя предложила ехать завтракать на левый берег в мало посещаемый в это время года ресторан «Лаперуза».

21

Тыклинский поминутно раскланивался, расправлял всяческие усы, влажно поглядывал на Зою Монроз и ел со сдержанной жадностью. Роллинг угрюмо сидел спиной к окну. Семенов развязно болтал. Зоя казалась спокойной, очаровательно улыбалась, глазами показывала метрдетелю, чтобы он почаше подливал гостям в рюмки. Когда подали шампанское, она попросила Тыклинского приступить к рассказу.

Он сорвал с шеи салфетку:

— Для пана Роллинга мы не щадили своих жизней. Мы перешли советскую границу под Сестрорецком.

— Кто это — мы? — спросил Роллинг.

— Я и, если угодно пану, мой подручный, один русский из Варшавы, офицер армии Балаховича... Человек весьма жестокий... Будь он проклят, как и все русские, пся крев, он больше мне навредил, чем помог. Моя задача была проследить, где Гарин производит опыты. Я побывал в разрушенном доме, — пани и пан знают, конечно, что в этом доме проклятый байстрок чуть было не разрезал меня пополам своим аппаратом. Там, в подвале, я нашел стальную полосу, — пани Зоя получила ее от меня и могла убедиться в моем усердии. Гарин переменял место опытов. Я не спал дни и ночи, желая оправдать доверие пани Зои и пана Роллинга. Я застудил себе легкие в болотах на Крестовском острове, и я достиг цели.

Я проследил Гарина. Двадцать седьмого апреля ночью мы с помощником проникли на его дачу, привязали Гарина к железной кровати и произвели самый тщательный обыск... Ничего... Надо сойти с ума, — никаких признаков аппарата... Но я-то знал, что он прячет его на даче... Тогда мой помощник немозжко резко обошелся с Гарниным... Пани и пан поймут наше волнение... Я не говорю, чтобы мы поступили по указанию пана Роллинга... Нет, мой помощник слишком погорячился...

Роллинг глядел в тарелку. Длинная рука Зои Монроз, лежавшая на скатерти, быстро перебирала пальцами, сверкала отполированными ногтями, бриллиантами, изумрудами, сапфирами перстней. Тыклинский вдохновился, глядя на эту бесценную руку.

— Пани и пан уже знают, как я спустя сутки встретил Гарина на почтамте. Матерь божья, кто же не испугается, столкнешься нос к носу с живым покойником. А тут еще проклятая милиция кинулась за мною в погоню. Мы стали жертвой обмана, проклятый Гарин подsunул вместо себя кого-то другого. Я решил снова обыскать дачу: там должно было быть подземелье. В ту же ночь я пошел туда один, усыпил сторожа. Влез в окно... Пусть пан Роллинг не поймет меня как-нибудь криво... Когда Тыклинский жертвует жизнью, он жертвует ею для идеи... Мне ничего не стоило выскочить обратно в окошко, когда я услышал на даче такой стук и треск, что у любого волосы стали бы дыбом... Да, пан Роллинг, в эту минуту я понял, что господь руководил вами, когда вы послали меня вырвать у русских страшное оружие, которое они могут обратить против всего цивилизованного мира. Это была историческая минута, пани Зоя, кланюсь вам шляхетской честью. Я бросился, как зверь, на кухню, откуда раздавался шум. Я увидел Гарина, — он наваливал в одну кучу у стены столы, мешки и ящики. Увидев меня, он схватил кожаный чемодан, давно мне знакомый, где он обычно держал модель аппарата, и выскочил в соседнюю комнату. Я выхватил револьвер и кинулся за ним. Он уже открывал окно, намереваясь выпрыгнуть на улицу. Я выстрелил, он с чемоданом в одной руке, с револьвером в другой отбежал в конец комнаты, загородился кроватью и стал стрелять. Это была настоящая дуэль, пани Зоя. Пуля пробила мне фуражку. Варуг он закрыл рот и нос какой-то тряпкой, протянул ко мне металлическую трубку, — раздался выстрел, не громче звука шампанской пробки, и в ту же секунду тысячи маленьких когтей влезли мне в нос, в горло, в грудь, стали раздирать меня, глаза залились слезами от нестерпимой боли, я начал чихать, кашлять, внутренности мои выворачивало, и, простите, пани Зоя, поднялась такая рвота, что я повалился на пол.

— Дн-феннл-хлор-арсен в смеси с фосгеном, по пятидесяти процентов каждого, — дешевая штука, мы вооружаем теперь полицию этими гранатками, — сказал Роллинг.

— Так... Пан говорит истину, это была газовая гранатка... К счастью, сквозняк быстро унес газ. Я пришел в сознание и, полуживой,

добрался до дому. Я был отравлен, разбит, агенты искали меня по городу, оставалось только бежать из Ленинграда, что мы и сделали с великими опасностями и трудами.

Тыклинский развел руками и поник, отдавая на милость. Зоя спросила:

— Вы уверены, что Гарни также бежал из России?

— Он должен был скрыться. После этой истории ему все равно пришлось бы давать объяснения уголовному розыску.

— Но почему он выбрал именно Париж?

— Ему нужны угольные пирамидки. Его аппарат без них все равно, что незаряженное ружье. Гарни — физик. Он ничего не смыслит в химии. По его заказу над этими пирамидками работал я, впоследствии тот, кто поплатился за это жизнью на Крестовском острове. Но у Гарни есть еще один компаньон здесь, в Париже, — ему он и послал телеграмму на бульвар Батиньоль. Гарни приехал сюда, чтобы следить за опытами над пирамидками.

— Какие сведения вы собрали о сообщнике инженера Гарни? — спросил Роллинг.

— Он живет в плохонькой гостинице, на бульваре Батиньоль, — мы были там вчера, нам кое-что рассказал привратник, — ответил Семенов. — Этот человек является домой только ночевать. Вещей у него никаких нет. Он выходит из дому в парусиновом балахоне, какой в Париже носят медики, лаборанты и студенты-химики. Видно, он работает где-то там же, неподалеку.

— Наружность? Черт вас возьми, какое мне дело до его парусинового балахона! Описал вам привратник его наружность? — крикнул Роллинг.

Семенов и Тыклинский переглянулись. Поляк прижал руку к сердцу.

— Если пану угодно, мы сегодня же доставим сведения о наружности этого господина.

Роллинг долго молчал, брови его сдвинулись.

— Какие основания у вас утверждать, что тот, кого вы видели вчера в кафе на Батиньоль, и человек, удравший под землю на площади Этюаль, одно и то же лицо, именно инженер Гарни? Вы уже ошиблись однажды в Ленинграде. Что?

Поляк и Семенов опять переглянулись. Тыклинский с высшей деликатностью улыбнулся:

— Не будет же пан Роллинг утверждать, что у Гарни в каждом городе двойники...

Роллинг упрямо мотнул головой... Зоя Монроз сидела, закутав руки горностаевым мехом, равнодушно глядела в окно.

Семенов сказал:

— Тыклинский слишком хорошо знает Гарни, ошибки быть не может. Сейчас важно выяснить другое, Роллинг. Предоставляете вы нам одним обделять это дело, — в одно прекрасное утро притащить на бульвар Мальзерб аппарат и чертежи, — или будете работать вместе с нами?

— Ни в коем случае! — неожиданно проговорила Зоя, продолжая глядеть в окно. — Мистер Роллинг весьма интересуется опыта-

ми инженера Гарни, мистру Роллингу весьма желательно приобрести право собственности на это изобретение, мистер Роллинг всегда работает в рамках строгой законности; если бы мистер Роллинг поверил хотя бы одному слову из того, что здесь рассказывал Тыклинский, то, разумеется, не замедлил бы позволить комиссару полиции, чтобы отдать в руки властей подобного негодяя и преступника. Но так как мистер Роллинг отлично понимает, что Тыклинский выдумал всю эту историю в целях выманить как можно больше денег, то он добродушно позволяет и в дальнейшем оказывать ему незначительные услуги.

Первый раз за весь завтрак Роллинг улыбнулся, вынул из жилетного кармана золотую зубочистку и вонзил ее между зубами. У Тыклинского на больших златых побагровевших лба выступил пот, щеки отвисли. Роллинг сказал:

— Ваша задача: дать мне точные и обстоятельные сведения по пунктам, которые будут вам сообщены сегодня в три часа на бульваре Мальзерб. От вас требуется работа приличных сыщиков — только. Ни одного шага, ни одного слова без моих приказаний.

22

Белый, хрустальный, сияющий поезд линии Норд-Зюйд — подземной дороги — мчался с тихим грохотом по темным подземельям под Парижем. В загibaющихся туннелях проносилась мимо паутина электрических проводов, ниши в толще цемента, где прижались озябшие летящими огнями рабочих, желтые на черном буквы: «Дюбонэ», «Дюбонэ», «Дюбонэ» — отвратительного напикта, вбиваемого рекламами в сознание парижан.

Мгновенная остановка. Вокзал, залитый подземным светом. Цветные прямоугольники реклам: «Дняное мыло», «Могучие подтяжки», «Вакса с головой льва», «Автомобильные шины», «Красный дьявол», резиновые накладки для каблучков, дешевая распродажа в универсальных домах — «Лувр», «Прекрасная цветочница», «Галерея Лафайетт».

Шумная, смеющаяся толпа хорошеньких женщин, миднеток, рассыльных мальчиков, иностранцев, молодых людей в обтянутых пиджаках, рабочих в потных рубашках, заправленных под кумачовый кушак, — теснясь, привдвигается к поезду. Мгновенно раздвигаются стеклянные двери... «О-о-о-о», — проносится вздох, и водоворот шляпок, вытарщенных глаз, разнутовых ртов, красных, веселых, рассерженных лиц устремляется вовнутрь. Кондуктора в кирпичных куртках, схватившись за поручни, вдавливают животом публику в вагоны. С треском захлопываются двери; короткий свист. Поезд огненной лентой ныряет под черный свод подземелья.

Семенов и Тыклинский сидели на боковой скамеечке вагона Норд-Зюйд, спиной к двери. Поляк горячился:

— Прошу пана заметить — лишь приличное удержало меня от скандала... Сто раз я

весьма хвотан ах ах ах хнорав хвотан на
могу всплыть... Не ел я завтраки... на миллиар-
деров! Чихал я на эти завтраки... Могу не хуже
сам заказать у «Лангреса» и не буду вы-
слушивать оскорблений уличной девки... Пред-
ложить Тыклинскому роль сыщика!.. Сучья
дочь, шлюха!

— Э, бросьте, пан Стась, вы не знаете
Зон, — она баба славная, хороший товарищ.
Ну, погорячилась...

— Видимо, пан Зон привыкла иметь дело
со сволочью, вашими эмигрантами... Но я —
поляк, прошу пана заметить, — Тыклинский
страшно выпятил усы, — я не позволю со
мной говорить в подобном роде...

— Ну, хорошо, усамн потряс, облегчил ду-
шу, — после некоторого молчания сказал ему
Семенов, — теперь слушай, Стась, внимательно:
нам дают хорошие деньги, от нас, в кон-
це концов, ни черта не требуют. Работа без-
опасная, даже приятная: шлейся по кабачкам
да по кофейням... Я, например, очень удово-
летворен сегодняшним разговором... Ты гово-
ришь — сыщик... Ерунда! А я говорю — нам
предложена благороднейшая роль контрраз-
ведчиков.

У дверей, позади скамьи, где разговарива-
ли Тыклинский и Семенов, стоял, опираясь
локтем о медную штангу, тот, кто однажды на
бульваре Профсоюзов в разговоре с Шельгой
назвал себя Пьяиковым-Питкевичем. Ворот-
ник его коверкота был поднят, скрывая ниж-
нюю часть лица, шляпа надвинута на глаза.
Стоя небрежно и лениво, касаясь рта костя-
ным набалдашником трости, он внимательно
выслушал весь разговор Семенова и Тыкли-
нского, вежливо посторонился, когда они со-
брались с места, и вышел из вагона двумя
станциями позже — на Монмартре. В ближай-
шем почтовом отделении он подал телеграм-
му:

«Ленинград. Угрозыск. Шельге. Четырехпа-
лый здесь. События угрожающие».

23

Из почтамта он поднялся на бульвар Кли-
ши и пошел по тневой стороне.

Здесь с каждой двери, из подвальных
окон, из-под полосатых маркиз, покрываю-
щих на широких тротуарах мраморные столи-
ки и соломенные стулья, тянуло кисловатым
запахом ночных кабаков. Гарсоны в коротень-
ких смокингах и белых фартуках, одулова-
тые, с набриллиантированными проборами, по-
сыпали сырыми опилками кафельные полы и
тротуары между столиками, ставили свежее
охапки цветов, крутили бронзовые ручки, при-
поднимая маркизы.

Днем бульвар Клиши казался поблекшим,
как декорация после карнавала. Высокие, не-
красивые, старые дома сплошь заняты под
рестораны, кабачки, кофейни, лавочки с дре-
беденью для уличных девчонок, под ночные
гостиницы. Каркасы и жестяные сооружения
реклам, облупленные крылья знаменитой
мельницы «Мулен-Руж», плакаты кино на тро-
туарах, два ряда чахлах деревьев посреди

бульвара, писсуары, исписанные неприличны-
ми словами, каменная мостовая, по которой
прошумели, прокатились столетия, ряды бала-
ганов и каруселей, прикрытых брезентами, —
все это ожидало ночи, когда зеваки и кутилы
потянутся снизу, из буржуазных кварталов
Парижа.

Тогда вспыхнут огни, засуетятся гарсоны,
засвистят паровыми глотками, закрутятся ка-
русели; на золотых свиньях, на быках с золо-
тыми рогами, в лодках, кастрюлях, горшках —
кругом, кругом, кругом, — отражаясь в тыся-
че зеркал, помчатся под звуки паровых оркест-
рионов девушки в юбочках до колен, удив-
ленные буржуа, воры с великолепными усами,
японские, улыбающиеся, как маски, студенты,
мальчишки, гомосексуалисты, мрачные рус-
ские эмигранты, ожидающие падения больше-
виков.

Закрутятся огненные крылья «Мулен-Руж».
Забегают по фасадам домов изломанные горя-
щие стрелы. Вспыхнут надписи всемирно изве-
стных кабаков, из их открытых окон на жар-
кий бульвар понесется дикая трескотня, бара-
банный бой и гудки джаз-бандов.

В толпе запищат картонные дудки, затре-
щать трещотки. Из-под земли начнут вывалы-
ваться новые толпы, выброшенные метрополи-
тенном в Норд-Зюдом. Это Моимартр. Это горы
Мартра, сияющие всю ночь веселыми ог-
нями над Парижем, — самое беззаботное ме-
сто на свете. Здесь есть где оставить деньги,
где провести с хохочущими девчонками бес-
печную ночьку.

Веселый Моимартр — это бульвар Кли-
ши между двумя круглыми, уже окончатель-
но веселыми площадями — Пигаль и Блайш.
Налево от площади Пигаль тянется широкий
и тихий бульвар Батиньоль. Направо за пло-
щадью Блайш начинается Сент-Антуанское
предместье. Это — места, где живут рабочие
и парижская беднота. Отсюда — с Батиньоля,
с высот Монмартра и Сент-Антуана — не раз
спускались вооруженные рабочие, чтобы овла-
деть Парижем. Четыре раза их загоняли пуш-
ками обратно на высоты. И нижний город, рас-
кинувшийся по берегам Сены банки, конторы,
пышные магазины, отели для миллионеров и
казармы для тридцати тысяч полицейских, че-
тыре раза переходил в наступление, и в серд-
це рабочего города, на высотах, утвердил пы-
лающими огнями мировых притонов сексуаль-
ную печать нижнего города — площадь Пи-
галь — бульвар Клиши — площадь Блайш.

24

Дойдя до середины бульвара, человек в ко-
веркотном пальто свернул в боковую узкую
уличку, ведущую нскоженными ступенями на
вершину Моимартра, внимательно оглянувшись
по сторонам и зашел в темный кабачок, где
обычными посетителями были проститутки,
шоферы, полуголые сочинители куплетов и
неудачники, еще носящие по старинному обы-
чаю широкие штаны и широкополую шляпу.

Он спросил газету, рюмку портвейна и при-

нялся за чтенне. За цинковым прилавком, хозяин кабачка ~~ш~~ усатый, багровый француз, сто десять кило весом, — засучив по локоть волосатые руки, мыл под краном посуду и разговаривал, — хочешь — слушай, хочешь — нет.

— Что вы там ни говорите, а Россия нам наделала много хлопот (он знал, что посетитель — русский, звался мосе Пьер). Русские эмигранты не приносят больше дохода. Выдохлись, о-ла-ла... Но мы еще достаточно богаты, мы можем себе позволить роскошь дать приют нескольким тысячам несчастных. (Он был уверен, что его посетитель промышлял на Монмартре по мелочам.) Но, разумеется, всему свой конец. Эмигрантам придется вернуться домой. Увы! Мы вас помним с вашим обширным отечеством, мы признаем ваши Советы, и Париж снова станет добрым старым Парижем. Мне надоела война, должен вам сказать. Десять лет продолжается это несварение желудка. Советы выражают желание платить мелким держателям русских ценностей. Умно, очень умно с их стороны. Да здравствуют Советы! Они неплохо ведут политику. Они большевизируют Германию. Прекрасно! Аллодирую. Германия станет советской и разоружится сама собой. У нас не будет болеть желудок при мыслях об их химической промышленности. Глупцы в нашем квартале считают меня большевиком. О-ла-ла!.. У меня правильный расчет. Большевизация нам не страшна. Подсчитайте — сколько в Париже добрых буржуа и сколько рабочих. Ого! Мы, буржуа, сможем защитить свои сбережения... Я спокойно смотрю, когда наши рабочие кричат: «Да здравствует Ленин!» — и махают красными флагами. Рабочий — это бочонок с забродившим вином, его нельзя держать закупоренным. Пусть его кричит: «Да здравствуют Советы!» — я сам кричал на прошлой неделе. У меня на восемь тысяч франков русских процентных бумаг. Нет, вам нужно мириться с вашим правительством. Довольно глупостей. Франк падает. Проклятые спекулянты, эти виш, которые облепляют каждую нацию, где начинают падать валюты, — это племя инфлянтов снова перекочевало из Германии в Париж.

В кабачок быстро вошел худощавый человек в парусиновом балахоне, с непокрытой светловолосой головой.

— Здравствуй, Гарин, — сказал он тому, кто читал газету, — можешь меня поздравить... Удача...

Гарин стремительно поднялся, стиснул ему руки:

— Виктор...

— Да, да. Я страшно доволен... Я буду настаивать, чтобы мы взяли патент.

— Ни в коем случае... Идем.

Они вышли из кабачка, поднялись по ступенчатой улочке, свернули направо и долго шли мимо грязных домов предместья, мимо огороженных колючей проволокой пустырей, где трепалось жалкое белье на веревках, мимо кустарных заводчиков и мастерских.

День кончался. Навстречу попадались куч-

ки усталых рабочих. Здесь, на горах, казалось, жило иное племя людей, иные были у них лица! — твердые, худощавые, сильные: Казалось, французская нация, спасаясь от ожирения, сифилиса и дегенерации, поднялась на высоты над Парижем и здесь спокойно и сурово ожидала часа, когда можно будет отделиться от скверны низовой город и снова повернуть корабль Лютеции¹ в солнечный океан.

— Сюда, — сказал Виктор, отворяя американским ключом дверь низенького каменного сарая.

25

Гарин и Виктор Ленуар подошли к небольшому кирпичному горну под колпаком. Рядом на столе лежали рядками пирамидки. На горне стояло на ребре толстое бронзовое кольцо с двенадцатью фарфоровыми чашечками, расположенными по его окружности. Ленуар зажег свечу и со странной усмешкой взглянул на Гарина.

— Петр Петрович, мы знакомы с вами лет пятнадцать, — так? Съели не один пуд соли. Вы могли убедиться, что я человек честный. Когда я удрал из Советской России — вы мне помогли... Из этого я заключаю, что вы относитесь ко мне неплохо. Скажите — какого черта вы скрываете от меня аппарат? Я же знаю, что без меня, без этих пирамидок — вы беспомощны... Давайте по-товарищески...

Внимательно рассматривая бронзовое кольцо с фарфоровыми чашечками, Гарин спросил:

— Вы хотите, чтобы я открыл тайну?

— Да.

— Вы хотите стать участником в деле?

— Да.

— Если понадобится, а я предполагаю, что в дальнейшем понадобится, вы должны будете пойти на все для успеха дела...

Не сводя с него глаз, Ленуар присел на край горна, углы рта его задрожали.

— Да, — твердо сказал он, — согласен.

Он потянул из кармана халата тряпочку и вытер лоб.

— Я вас вынуждаю, Петр Петрович. Я завел этот разговор потому, что вы самый близкий мне человек, как это ни странно... Я был на первом курсе, вы — на втором. Еще с тех пор, ну, как это сказать, я преклонялся, что ли, перед вами... Вы страшно талантливы... блестящи... Вы страшно смелы. Ваш ум — аналитический, дерзкий, страшный. Вы страшный человек. Вы жестки, Петр Петрович, как всякий крупный талант, вы недогадливы к людям. Вы спросили — готов ли я на все, чтобы работать с вами... Конечно, ну, конечно... Какой же может быть разговор? Терять мне нечего. Без вас — будничная работа, будни до конца жизни. С вами — праздник или гибель... Согласен ли я на все?.. Смешно... Что же — это «все»? Украсть, убить?

¹ Герб Парижа, или, по-древнему, Лютеция, — золотой корабль. (Примеч. А. Н. Толстого.)

Он остановился. Гарин глазами сказал «да». Ленуар усмехнулся.

— Я знаю французские уголовные законы... Согласен ли я подвергнуть себя опасности их применения? — согласен... Между прочим, я видел знаменитую газовую атаку германцев двадцать второго апреля пятнадцатого года. Из-под земли поднялось густое облако и поползло на нас желто-зелеными волнами, как мираж, — во сне этого не увидишь. Тысячи людей бежали по полям, в нестерпимом ужасе, бросая оружие. Облако настигало их. У тех, кто успел выскочить, были темные, багровые лица, вывалившиеся языки, выжженные глаза... Какой вздор «моральные понятия»... Ого, мы — не дети после войны.

— Одним словом, — насмешливо сказал Гарин, — вы, наконец, поняли, что буржуазная мораль — один из самых ловких арапских номеров, и дураки те, кто из-за нее глотает зеленый газ. По правде сказать, я мало задумывался над этими проблемами... Итак... Я добровольно принимаю вас товарищем в дело. Вы беспрекословно подчинитесь моим распоряжениям. Но есть одно условие...

— Хорошо, согласен на всякое условие.

— Вы знаете, Виктор, что в Париж я пошел с подложным паспортом, каждую ночь я меняю гостиницу. Иногда мне приходится брать уличную девушку, чтобы не возбуждать подозрений. Вчера я узнал, что за мною следят. Поручена эта слежка русским. Видимо, меня принимают за большевистского агента. Мне нужно навести сыщиков на ложный след.

— Что я должен делать?

— Загримироваться мной. Если вас схватят, вы предъявите ваши документы. Я хочу раздвоиться. Мы с вами одного роста. Вы покрасите волосы, приклеите фальшивую бородку, мы купим одинаковые платья. Затем сегодня же вечером вы переедете из вашей гостиницы в другую часть города, где вас не знают, — скажем — в Латинский квартал. По рукам?

Ленуар соскочил с горня, крепко пожал Гарину руку. Затем он принялся объяснять, как ему удалось приготовить пирамидки из смеси алюминия и окиси железа (термита) с твердым маслом и желтым фосфором.

Поставив на фарфоровые чашечки кольца двенадцать пирамидок, он зажег их при помощи шнура. Столб ослепительного пламени поднялся над горном. Пришлось отойти в глубь сарая, — так нестерпимы были свет и жар.

— Превосходно, — сказал Гарин, — надеюсь, — никакой копошти?

— Сгорание полное, при этой страшной температуре. Материалы химически очищены.

— Хорошо. На этих днях вы увидите чудеса, — сказал Гарин, — идем обедать. За вещами в гостиницу пошлем посыльного. Переночуем на левом берегу. А завтра в Париже окажется двое Гариных... У вас имеется второй ключ от сарая?

28 Он вынул из кармана...
...вот ф... доп...

Здесь не было ни блестящего потока автомобилей, ни праздных людей, свертывающих себе шею, глядя на окна магазинов, ни головокружительных женщин, ни индустриальных королей.

Штабеля свежих досок, горы булыжника, посреди улицы отвалы синей глины и, разложенные сбоку тротуара, как разрезанный гигантский червяк, звенья канализационных труб.

Спартаконец Тарашкин шел не спеша на острова, в клуб. Он находился в самом приятном расположении духа. Внешнему наблюдателю он показался бы даже мрачным на первый взгляд, но это происходило оттого, что Тарашкин был человек основательный, уравновешенный и веселое настроение у него не выражалось каким-либо внешним признаком, если не считать легкого пошвыстывания да спокойной походочки.

Не доходя шагов ста до трамвая, он услышал возню и писк между штабелями торцов. Все происходящее в городе, разумеется, непосредственно касалось Тарашкина.

Он заглянул за штабеля и увидел трех мальчиков, в штанах клешем и в толстых куртках: они, сердито сопя, колотили четвертого мальчика, меньше их ростом, — босого, без шапки, одетого в ватную кофту, такую рваную, что можно было удивиться, он молча защищался. Худенькое лицо его было исцарапано, маленький рот плотно сжат, карие глаза — как у волчка.

Тарашкин сейчас же схватил двух мальчишек и за шиворот поднял на воздух, третьего дал ногой леща, — мальчишка взвыл и скрылся за торцами.

Другие двое, боятаясь в воздухе, начали грозиться ужасными словами. Но Тарашкин тряхнул их посылней, и они успокоились.

— Это я не раз вижу на улице, — сказал Тарашкин, заглядывая в их сопящие рыльца, — маленьких обижать, шкеты! Чтобы этого у меня больше не было. Поняли?

Вынужденные ответить в положительном смысле, мальчишки сказали угрюмо:

— Поняли.

Тогда он их отпустил, и они, ворча, что, мол, попадись нам теперь, удалились, — руки в карманы.

Избитый маленький мальчик тоже попытался было скрыться, но только повертелся на одном месте, слабо застонал и сел, уйдя с головой в рваную кофту.

Тарашкин наклонился над ним. Мальчик плакал.

— Эх, ты, — сказал Тарашкин, — ты где живешь-то?

— Нигде, — из-под кофты ответил мальчик.

— То есть как это — нигде? Мамка у тебя есть?

— Нету.

— И отца нет? Так. Беспризорный ребенок. Очень хорошо.

Тарашкин стоял некоторое время, распу-

стив морщины на носу. Мальчик, как муха, жуужал под кофтой.

— Есть хочешь? — спросил Тарашкин сердито.

— Хочу.

— Ну ладно, пойдем со мной в клуб.

Мальчик попытался было встать, но не держал ноги. Тарашкин взял его на руки, — в мальчишке не было и пуда весу, — и понес к трамваю. Ехали долго. Во время пересадки Тарашкин купил булку, мальчишка с судорогой вонзил в нее зубы. До гребной школы дошли пешком. Впуская мальчика за калитку, Тарашкин сказал:

— Смотри только, чтобы не воровать.

— Не, я хлеб только ворую.

Мальчик сонно глядел на воду, играющую солнечными зайчиками на лакированных лодках, на серебристо-зеленую лужу, опрокинутую в реке свою красу, на двухвесельные, четырехвесельные гички с мускулистыми и загорелыми гребцами. Худенькое личико его было равнодушное и усталое. Когда Тарашкин отвернулся, он залез под деревянный помост, соединяющий широкие ворота клуба с бонами, и, должно быть, сейчас же уснул, свернувшись.

Вечером Тарашкин вытащил его из-под мостков, велел вымыть в речке лицо и руки и повел ужинать. Мальчика посадили за стол с гребцами. Тарашкин сказал товарищам:

— Этого ребенка можно даже при клубе оставить, не объект, к воде приучим, нам расторопный мальчонка нужен.

Товарищи согласились: пускай живет. Мальчик спокойно все это слушал, степенно ел. Поужинав, молча пошел с лавки. Его ничто не удивляло, — видел и не такие виды.

Тарашкин повел его на боны, велел сесть и начал разговор.

— Как тебя зовут?

— Иваном.

— Ты откуда?

— Из Сибири. С Амура, с верху.

— Давно оттуда?

— Вчера приехал.

— Как же ты приехал?

— Где пешком плелся, где под вагоном в ящиках.

— Зачем тебя в Ленинград занесло?

— Ну, это мое дело, — ответил мальчик и отвернулся, — значит, надо, если приехал.

— Расскажи, я тебе ничего не сделаю.

Мальчик не ответил и опять понемногу стал уходить головой в кофту. В этот вечер Тарашкин ничего от него не добился.

27

Двойка — двухвесельная распашная гичка из красного дерева, назыная, как скрипка, — узкой полоской едва двигалась по зеркальной реке. Обе пары весел плашмя скользили по воде. Шельга и Тарашкин в белых трусиках, по пояс голые, с шершавыми от

солнца спинами и плечами, сидели неподвижно, подняв колени.

Рулевой, серьезный парень в морском картузе и в шарфе, обмотанном вокруг шеи, глядел на секундомер.

— Гроза будет, — сказал Шельга.

На реке было жарко, ни один лист не шелвелился на пышно-лесистом берегу. Деревья казались преувеличенно вытянутыми. Небо до того насыщено солнцем, что голубовато-хрустальный свет его словно валился гирями кристаллов. Ломило глаза, сжимало виски.

— Весла на воду! — скомандовал рулевой.

Гребцы разом пригнулись к раздвинутым коленям и, закинув, погрузив весла, откинулись, почти легли, вытянув ноги, откатываясь на сиденьях.

— Ать-два!..

Весла выгнулись, гичка, как лезвие, скользнула по реке.

— Ать-два, ать-два, ать-два! — командовал рулевой.

Мерно и быстро, в такт ударам сердца — вдыханию и выдыханию — сжимались, нависая над коленями, тела гребцов, расправлялись, как пружины. Мерно, в ритм потока крови, в горячем напряжении работали мускулы.

Гичка летела мимо прогулочных лодок, где люди в подтяжках беспомощно барахтались веслами. Гребя, Шельга и Тарашкин прямо глядели перед собой, — на переносицу рулевого, держа глазами линию равновесия. С прогулочных лодок успевали только крикнуть вслед:

— Ишь, черти!.. Вот дунули!..

Вышли на взморье. Опять на одну минуту неподвижно легли на воде. Вытерли пот с лица. «Ать-два!» Повернули обратно мимо яхт-клуба, где мертвыми полотнищами в хрустальном зное висели огромные паруса гоночных яхт ленинградских профсоюзов. Играла музыка на веранде яхт-клуба. Не колыхались протянутые вдоль берега легкие пестрые значки и флаги. Со шлюпок в середину реки бросались коричневые люди, взметая брызги.

Проскользнув между купальщиками, гичка пошла по Невке, пролетела под мостом, несколько секунд висела на руле у четырехвесельного аутригера из клуба «Стрела», обогнала его (рулевой через плечо спросил: «Может, на буксир хотите?»), вошла в узкую, с пышными берегами, Крестовку, где в зеленой тени серебристых ив скользили красные платочки и голые колени женской учебной команды, и стала у бонев гребной школы.

Шельга и Тарашкин высочили на боны, осторожно положили на покатый помост длинные весла, нагнулись над гичкой и по команде рулевого выдернули ее из воды, подняли на руках и ввели в широкие ворота, в сарай. Затем пошли под душ. Растерлись докрасна и, как полагается, выпили по стакану чаю с лимоном. После этого они почувствовали себя только что рожденными в этом прекрасном мире, который стоит того, чтобы принялись, наконец, за его благоустройство.

На открытой веранде, на высоте этажа (где пили чай), Тарашкин рассказал про вчерашнего мальчика.

— Расторопный, умища, ну, прелесть. — Он перегибнулся через перила и крикнул: — Иван, поди-ка сюда.

Сейчас же по лестнице затопали босые ноги. Иван появился на веранде. Рваную кофту он снял. (По санитарным соображениям ее сожгли на кухне.) На нем были гребные трусики и на голом теле суконный жилет, невероятно ветхий, весь перевязанный веревочками.

— Вот, — сказал Тарашкин, указывая пальцем на мальчика, — сколько его ни уговариваю снять жилетку — нипочем не хочет. Как ты купаться будешь, я тебя спрашиваю? И была бы жилетка хорошая, а то — грязь.

— Я купаться не могу, — сказал Иван.

— Тебя в бане надо мыть, ты весь черный, чумазый.

— Не могу я в бане мыться. Во, по сих пор — могу, — Иван показал на пулок, помялся и придвинулся поближе к двери.

Тарашкин, деря ногтями икры, на которых по загару оставались белые следы, крикнул с досады:

— Что хочешь с ним, то и делай.

— Ты что же, — спросил Шельга, — воды боишься?

Мальчик посмотрел на него без улыбки:

— Нет, не боюсь.

— Чего же не хочешь купаться?

Мальчик опустил голову, упрямо поджал губы.

— Боишься жилетку снимать, боишься — украдут? — спросил Шельга.

Мальчик дернул плечиком, усмехнулся.

— Ну, вот что, Иван, не хочешь купаться — дело твое. Но жилетку мы допустить не можем. Бери мою жилетку, раздевайся.

Шельга начал расстегивать на себе жилет. Иван потянулся. Зрачки его беспокойно забегали. Один раз, умоляя, он взглянул на Тарашкина и все придвигался бочком к стеклянной двери, раскрытой на внутреннюю темную лестницу.

— Э, так мы играть не уговаривались. — Шельга встал, запер дверь, вынул ключ и сел прямо против двери. — Ну, снимай.

Мальчик оглядывался, как зверек. Стоял он теперь у самой двери — спиной к стеклам. Брови у него сдвинулись. Вдруг решительно он сбросил с себя лохмотья и протянул Шельге:

— На, давай свою.

Но Шельга с величайшим удивлением глядел уже не на мальчика, а мимо его плеча — на дверные стекла.

— Давайте, — сердито повторил Иван, — чего смеетесь? — не маленькие.

— Ну и чудак! — Шельга громко рассмеялся. — Повернись-ка спиной. (Мальчик, точно от толчка, ударился затылком в стекло.) Повернись, все равно вижу, что у тебя на спине написано.

Тарашкин вскочил. Мальчик легким комочком перелетел через веранду, перекатился через перила. Тарашкин на лету едва успел схватить его. Острыми зубами Иван впился ему в руку.

— Вот дурной. Брось кусаться!

Тарашкин крепко прижал его к себе. Глазил по сизой обритой голове.

— Дикий совсем мальчишка. Как мышь, дрожит. Будет тебе, не обидим.

Мальчик затих в руках у него, только сердце билось. Вдруг он прошептал ему в ухо:

— Не велите ему, иельзя у меня на спине читать. Никому не велено. Убьют меня за это.

— Да не будем читать, нам не интересно, — повторял Тарашкин, плача от смеха. Шельга все это время стоял в другом конце террасы, — кусал ногти, шуршил, как человек, отгадывающий загадку. Вдруг он подскокил и, несмотря на сопротивление Тарашкина, повернул мальчика к себе спиной. Изумление, почти ужас изобразилось на его лице. Чернильным карандашом ниже лопаток на худой спине у мальчишки было написано расплывшимися от пота полустертыми буквами:

«...Петру Гар... Резуль... самые утешит... глубину оливины предполагаю на пяти кило...ах, продолж... изыскания, необх... помощь... Голод... торопись экспедиц...»

— Гарин, это — Гарин! — закричал Шельга.

В это время на двор клуба, треща и стреляя, влетел мотоциклет уголовного розыска, и голос агента крикнул снизу:

— Товарищ Шельга, вам — срочная...

Это была телеграмма Гарина из Парижа.

Золотой карандашкоснулся блокнота:

— Ваша фамилия, сударь?

— Пьянков-Питкевич.

— Цель вашего посещения?..

— Передайте мистру Роллингу, — сказал Гарин, — что мне поручено вести переговоры об известном ему аппарате инженера Гарина.

Секретарь мгновенно исчез. Через минуту Гарин входил через ореховую дверь в кабинет химического короля. Роллинг писал. Не поднимая глаз, предложил сесть. Затем — не поднимая глаз:

— Мелкие денежные операции проходят через моего секретаря, — слабой рукой он схватил пресс-папье и стукнул по написанному, — тем не менее я готов слушать вас. Даю две минуты. Что нового об инженере Гарине?

Положив ногу на ногу, сильно вытянутые руки — на колено, Гарин сказал:

— Инженер Гарин хочет знать, известно ли вам в точности назначение его аппарата?

— Да, — ответил Роллинг, — для промышленных целей, насколько мне известно, аппарат представляет некоторый интерес. Я говорил кое с кем из членов правления нашего концерна, — они согласны приобрести патент.

— Аппарат не предназначен для промышленных целей, — резко ответил Гарин, — это аппарат для разрушения. Он с успехом, правда, может служить для металлургической и горной промышленности. Но в настоящее время у инженера Гарина замыслы иного порядка.

— Политические?

— Э... Политика мало интересует инженера Гарина. Он надеется установить некоего тот социальный строй, какой ему более всего придется по вкусу. Политика — мелочь, функция.

— Где установить?

— Повсюду, разумеется, на всех пяти материках.

— Ого! — сказал Роллинг.

— Инженер Гарин не коммунист, успокойтесь. Но он и не совсем ваш. Повторяю — у него обширные замыслы. Аппарат инженера Гарина дает ему возможность осуществить на деле самую горячую фантазию. Аппарат уже построен, его можно демонстрировать хотя бы сегодня.

— Гм! — сказал Роллинг.

— Гарин следил за вашей деятельностью, мистер Роллинг, и находит, что у вас неплохой размах, но вам не хватает большой идеи. Ну — химический концерн. Ну — воздушнo-химическая война. Ну — превращение Европы в американский рынок... Все это мелко, нет центральной идеи. Инженер Гарин предлагает вам сотрудничество.

— Вы или он — сумасшедший? — спросил Роллинг.

Гарин рассмеялся, сильно потер пальцем сбоку носа.

— Видите — хорошо уж и то, что вы слушаете меня не две, а девять с половиной минут.

— Я готов предложить инженеру Гарину пятьдесят тысяч франков за патент его изобретения, — сказал Роллинг, снова принимаясь писать.

— Предложение нужно понимать так: силой или хитростью вы намерены овладеть аппаратом, а с Гаринным расправиться так же, как с его помощником на Крестовском острове?

Роллинг быстро положил перо, только два красных пятна на его скулах выдали волеиные. Он взял с пепельницы курившуюся сигару, откинулся в кресло и посмотрел на Гарина ничего не выражающими, мутными глазами.

— Если предположить, что именно так я и намерен поступить с инженером Гаринным, что из этого вытекает?

— Вытекает то, что Гарин, видимо, ошибся.

— В чем?

— Предполагая, что вы негодяй более крупного масштаба, — Гарин проговорил это раздельно, по слогам, глядя весело и дерзко на Роллинга. Тот только выпустил синий дымок и осторожно помахал сигарой у носа.

— Глупо делить с инженером Гаринным багрыш, когда я могу взять все сто процентов, —

сказал он. — Итак, чтобы кончить, я предлагаю сто тысяч франков, и ни сантима больше.

— Право, мистер Роллинг, вы как-то все сбываетесь. Вы же ничем не рискуете. Ваши агенты Семенов и Тыклинский проследили, где живет Гарин. Донесите полиции, и его арестуют как большевистского шпиона. Аппарат и чертежи украдут те же Тыклинский и Семенов. Все это будет стоить вам не свыше пяти тысяч. А Гарина, чтобы он не пытался в дальнейшем восстановить чертежи, — всегда можно отправить по этапу в Россию через Польшу, где его прихлопнут на границе. Просто и дешево. Зачем же сто тысяч франков?

Роллинг поднялся, покосился на Гарина и стал ходить, утывая лакированными туфлями в серебристом ковре. Вдруг он вытащил руку из кармана и щелкнул пальцами.

— Дешевая игра, — сказал он, — вы врите. Я продумал вперед на пять ходов всевозможные комбинации. Опасности никакой. Вы просто дешевый шарлатан. Игра Гарина — мат. Он это знает и прислал вас торговаться. Я не дам и двух лудиров за его патент. Гарин выслежен и попался. (Он живо взглянул на часы, живо сунул их в жилетный карман.) Убегайтесь к черту!

Гарин в это время тоже поднялся и стоял у стола, опустив голову. Когда Роллинг послал его к черту, он провел рукой по волосам и проговорил упавшим голосом, будто человек, неожиданно попавший в ловушку:

— Хорошо, мистер Роллинг, я согласен на все ваши условия. Вы говорите о ста тысячах...

— Ни сантима! — крикнул Роллинг. — Убегайтесь, или вас вышвырнут!

Гарин запустил пальцы за воротник, глаза его начали закатываться. Он пошатнулся. Роллинг заревел:

— Без фокусов! Вон!

Гарин захрипел и повалился боком на стол. Правая рука его ударилась в исписанные листы бумаги и судорожно стиснула их. Роллинг подскочил к электрическому звонку. Мгновенно появился секретарь...

— Вышвырните этого субъекта...

Секретарь присел, как барс, изысанные усики ощипались, под тонким пиджаком налились стальные мускулы... Но Гарин уже отошел от стола — бочком, бочком, кланяясь Роллингу. Бегом спустился по мраморной лестнице на бульвар Мальзерб, вскочил в наемную машину с поднятым верхом, крикнул адрес, поднял оба окошка, спустил зеленые шторы и коротко, резко рассмеялся.

Из кармана пиджака он вынул скомканную бумажку и осторожно расправил ее на коленях. На хрустящем листе (вырванном из большого блокнота) крупным почерком Роллинга были набросаны деловые заметки на сегодняшний день. Видно, в ту минуту, когда в кабинет вошел Гарин, рука насторожившегося Роллинга стала писать машинально, выдавая тайные мысли. Три раза, одно под другим было написано: «Улица Гобелев, шестьдесят три, инженер Гарин». (Это был новый

адрес Виктора Ленуара, только что сообщенный по телефону Семеновым.) Затем: «Пять тысяч франков — Семенов...»

— Удача! Черт! Вот удача! — шептал Гарин, осторожно разглаживая листочки на коленях.

30

Через десять минут Гарин выскочил из автомобиля на бульваре Сен-Мишель. Зеркальные окна в кафе «Пантеон» были подняты. В глубине за столиком сидел Виктор Ленуар. Увидев Гарина, поднял руку и щелкнул пальцами.

Гарин поспешно сел за его столик — спиной к свету. Казалось, он сел против зеркала: такая же была у Виктора Ленуара продолговатая борода, мягкая шляпа, галстук бабочкой, пиджак в полоску.

— Поздравь — удача! Необычайно! — сказал Гарин, смеясь глазами. — Роллинг пошел на все. Предварительные расходы несет единолично. Когда начнется эксплуатация, пятьдесят процентов вала — ему, пятьдесят — нам.

— Ты подписал контракт?

— Подписываем через два-три дня. Демонстрацию аппарата придется отложить. Роллинг поставил условие — подписать только после того, как своими глазами увидит работу аппарата.

— Ставишь бутылку шампанского?

— Две, три, дюжину.

— А все-таки — жаль, что эта акула проглотит у нас половину доходов, — сказал Ленуар, подымая лакея. — Бутылку Ирруа, самого сухого...

— Без капитала все равно мы не развернемся. Вот, Виктор, если бы удалось мое камчатское предприятие, — десять Роллингов послали бы к чертям.

— Какое камчатское предприятие?

Лакей принес вино и бокалы, Гарин закурил сигару, откинулся на соломенном стуле и, покачиваясь, жмурясь, стал рассказывать:

— Ты помнишь Манцева Николая Христофоровича, геолога? В пятнадцатом году он разыскал меня в Петрограде. Он только что вернулся с Дальнего Востока, испугавшись мобилизации, и попросил моей помощи, чтобы не попасть на фронт.

— Манцев служил в английской золотой компании?

— Производил разведки на Лене, на Алдае, затем в Колыме. Рассказывал чудеса. Они находили прямо под ногами самородки в пятнадцать килограммов... Вот тогда именно у меня зародилась идея, генеральная идея моей жизни... Это очень дерзко, даже безумно, но я верю в это. А раз верю — сам сатана меня не остановит. Видишь ли, мой дорогой, единственная вещь на свете, которую я хочу всеми печенками, — это власть... Не какая-нибудь королевская, императорская, — мелко, пошло, скучно. Нет, власть абсолютная... Когда-нибудь подробно расскажу тебе о моих планах.

Чтобы властвовать — нужно золото. Чтобы властвовать, как я хочу, нужно золота больше, чем у всех индустриальных, биржевых и прочих королей вместе взятых...

— Действительно, у тебя планы смелые, — весело засмеявшись, сказал Ленуар.

— Но я на верном пути. Весь мир будет у меня — вот! — Гарин сжал в кулак маленькую руку. — Вехи на моем пути — это генеральный Манцев Николай Христофорович, затем Роллинг, вернее — его миллиарды, и в третьих, — мой гиперболюнд...

— Так что же Манцев?

— Тогда же, в пятнадцатом году, я мобилизовал все свои деньжонки, больше нахальством, чем подкупом, освободил Манцева от воинской повинности и послал его с небольшой экспедицией на Камчатку, в чертову глушь... До семнадцатого года он мне еще писал: работа его была тяжелая, труднейшая, условия собачьи... С восемнадцатого года — сам понимаешь — след его потерялся... От его изысканий зависит все...

— Что он там ищет?..

— Он ничего не знает... Манцев должен только подтвердить мои теоретические предположения. Побережье Тихого океана — азиатское и американское — представляет края древнего материка, опустившегося на дно океана. Такая гигантская тяжесть должна была сказаться на распределении глубоких горных пород, находящихся в расплавленном состоянии... Цепи действующих вулканов Южной Америки — в Андах и Кордильерах, вулканы Японии и, наконец, Камчатка подтверждают то, что расплавленные породы Оливнинового пояса — золото, ртуть, оловин и прочее — по краям Тихого океана гораздо ближе к поверхности земли, чем в других местах земного шара...¹ Понятно тебе?

— Не понимаю, тебе-то зачем этот Оливниновый пояс?

— Чтобы владеть миром, дорогой мой... Ну, выпьем. За успех...

31

В черной шелковой кофточке, какие носят миднетки, в короткой юбке, напудренная, с подведенными ресницами, Зоя Монроз соскочила с автобуса у ворот Сен-Денн, перебежала шумную улицу и вошла в огромное, выходящее на две улицы кафе «Глобус» — приют всевозможных певцов и певчих с Монмартра, актеров и актрисок средней руки, воров, проституток и анархически настроенных молодых людей из тех, что с десятью су бегают по бульварам, обливаясь пересохшие от лихорадочных губ, вождя женщины, ботники, шелковое белое и все на свете...

Зоя Монроз отыскала свободный столик. Закурила папироску, положила ногу на ногу. Сейчас же близко прошел человек с вене-

¹ Существует предположение, что между земной корой и твердым центральным ядром земли есть слой расплавленных металлов — так называемый Оливниновый пояс. (Примеч. А. Н. Толстого.)

рическими коленками, — пробормотал сиповато: «Почему такая сердитая, крошка?» Она отвернулась. Другой, за столиком, прищурясь, показал язык. Еще один разлетелся, будто по ошибке: «Ки-ки, нуконец-то...» Зоя коротко послала его к черту.

Видно, на нее здесь сильно клевали, хотя она и постаралась принять вид уличной девчонки. В кафе «Глобус» был низ на женщин. Она приказала гарсону подать литр красного и села перед налитым стаканом, подперев щеки. «Нехорошо, малютка, ты начинаешь спиваться», — сказал стариком актер, проходя мимо, потрепав ее по спине.

Она выкурила уже три папиросы. Наконец, не спеша, подошел тот, кого она ждала, — угрюмый, плотный человек, с узким, заросшим лбом и холодными глазами. Усы его были приподняты, цветной воротник врезывался в сильную шею. Он был отлично одет — без лишнего шика. Сел. Коротко поздоровался с Зоей. Поглядел вокруг, и кое-кто опустил глаза. Это был Гастон Утиный Нос, в прошлом — вор, затем бандит из шайки знаменитого Бона. На войне он выслужился до унтер-офицера и после демобилизации перешел на спокойную работу кота крупного масштаба.

Сейчас он состоял при небезызвестной Сюзанне Бурж. Но она отцветала. Она опускалась на ту ступень, которую Зоя Монроз давно уже перешагнула. Гастон Утиный Нос говорил:

— У Сюзанны хороший материал, но никогда использовать его она не сможет. Сюзанна не чувствует современности. Екое диво — кружевные панталоны и утренняя ванна из молока. Старо, — для провинциальных пожарных. Нет, клянусь горчичным газом, который выжжет мне спину у дома паромщика на Изере, — современная проститутка, если хочет быть шикарной, должна поставить в спальне радиоаппарат, учиться боксу, стать колючей, как военная проволока, тренированной, как восемнадцатилетний мальчишка, уметь ходить на руках и прыгать с двадцати метров в воду. Она должна посещать собрания фашистов, разговаривать об отравляющих газах и менять любовников каждую неделю, чтобы не приучить их к свинству. А моя, извольте ли видеть, лежит в молочной ванне, как норвежская семга, и мечтает о сельскохозяйственной ферме в четыре гектара. Пошлая дура, — у нее за плечами публичный дом.

К Зое Монроз он относился с величайшим уважением. Встречаясь в ночных ресторанах, почтительно предлагал ей протанцевать и целовал руку, что делал единственной женщиной в Париже. Зоя едва кланялась небезызвестной Сюзанне Бурж, но с Гастоном поддерживала дружбу, и он время от времени выпивал наиболее щекотливые из ее поручений.

Сегодня она спешно вызвала Гастона в кафе «Глобус» и появилась в обольстительном виде уличной миднетки. Гастон только стиснул челюсти, но вел себя так, как было нужно.

Потягивая кислое вино, жмурясь от дыма трубки, он мурло слушал, что ему говорила

Зоя. Окончив, она хрустнула пальцами. Он сказал:

— Но это — опасно.

— Гастон, если это удастся, вы навсегда обесеченный человек.

— Ни за какие деньги, сударыня, ни за мокрое, ни за сухое дело я теперь не возьмусь: не те времена. Сегодня апаши предпочитают служить в полиции, а профессиональные воры — издавать газеты и заниматься политикой. Убивают и грабят только новички, провинциалы да мальчишки, получившие венерическую болезнь. И немедленно записываются в полицию. Что поделается — зрелым людям приходится оставаться в спокойных гаванях. Если вы хотите меня нанять за деньги — я откажусь. Другое — сделать это для вас. Тут я бы мог рискнуть свернуть себе шею.

Зоя выпустила дымок из уголка пуговных губ, улыбнулась нежно и положила красивую руку на рукав Утиноного Носа.

— Мне кажется, — мы с вами договоримся.

У Гастона дрогнули ноздри, зашевелились усы. Он прикрыл синеватыми веками нестерпимый блеск выпуклых глаз.

— Вы хотите сказать, что я теперь же могу освободить Сюзанну от моих услуг?

— Да, Гастон.

Он перенулся через стол, стиснул бокал в кулаке.

— Мои усы будут пахнуть вашей кожей?

— Я думаю, что этого не избежать, Гастон.

— Ладно. — Он откинулся. — Ладно. Будет все, как вы хотите.

32

Обед окончен. Кофе со столетним коньяком выпито. Двухдолларовая сигара — «Корона Коронас» — выкурена до половины, и пепел ее не отвалился. Наступил мучительный час: куда ехать «дальше», каким сатанинским смычком сыграть на усталых нервах что-нибудь веселенькое?

Роллинг потребовал афишу всех парижских развлекений.

— Хотите танцевать?

— Нет, — ответила Зоя, закрывая мехом половину лица.

— Театр, театр, театр, — читал Роллинг. Все это было скучно: трехактная разговорная комедия, где актеры от скуки и отвращения даже не гримировались, актрисы в туалетах от знаменитых портных глядят в зрительный зал пустыми глазами.

— Обзорное. Обзорное. Вот: «Олимпиада» — сто пятьдесят голых женщин в одних туфельках и чудо техники: деревянный занавес, разбитый на шахматные клетки, в которых при поднятии и опускании стоят совершенно голые женщины. Хотите — поедим?

— Милый друг, они все кривоногие — девочки с бульваров.

— «Аполло». Здесь мы не были. Двести голых женщин в одних только... Это мы пропустили. «Скала». Опять женщины. Так, так.

Кроме того, «Всемирно известные музыкальные клоуны Пим и Джек».

— О них говорят, — сказала Зоя, — поедете.

Они заняли литературную ложу у сцены. Шло обозрение.

Непрерывнодвигающийся молодой человек в отличном фраке и зрелая женщина в красном, в широкополой шляпе и с посохом говорили добродушные колкости правительству, невинные колкости шефу полиции, очаровательно подсмеивались над высококачественными иностранцами, впрочем, так, чтобы они не уехали сейчас же после этого обозрения совсем из Парижа и не отсоветовали бы своим друзьям и родственникам посетить веселый Париж.

Поболтав о политике, непрерывнодвигающийся ногами молодой человек и дама с посохом воскликнули: «Гоц, ля-ля». И на сцену выбежали голые, как в бане, очень белые, напудренные девушки. Они выстроились в живую картину, изображающую наступающую армию. В оркестре мужественно грянули фанфары и сигнальные рожки.

— На молодых людей это должно действовать, — сказал Роллинг.

Зоя ответила:

— Когда женщины так много, то не действует.

Затем занавес опустился и вновь поднялся. Занимая половину сцены, у рампы стоял бутарфорский рояль. Застучали деревянные палочки джаз-банды, и появились Пим и Джек. Пим, как полагается, — в невероятном фраке, в жилете по колено, сваливающиеся штаны, аршинные башмаки, которые сейчас же от него убежали (аплодисменты), морда — доброго иднота. Джек — обсыпан мукой, в войлочном колпаке, на задку — летучая мышь.

Сначала они проделывали все, что нужно, чтобы смеяться до упаду, Джек бил Пима по морде, и тот выпускал сзади облако пыли, потом Джек бил Пима по черепу, и у того выскакивал гуттаперчевый волдырь.

Джек сказал: «Послушай, хочешь — я тебе сыграю на этом рояле?» Пим страшно засмеялся, сказал: «Ну, сыграй на этом рояле», — и сел поодаль. Джек изво всей силы ударил по клавишам — у рояля отвалился хвост. Пим опять страшно много смеялся. Джек второй раз ударил по клавишам — у рояля отвалился бок. «Это ничего», — сказал Джек и дал Пиму по морде. Тот покосился через всю сцену, упал (барабан—бумм). Встал: «Это ничего»; выплюнул пригоршню зубов, вынул из кармана метелку и совок, каким собирают навоз на улицах, почистился. Тогда Джек в третий раз ударил по клавишам, рояль рассыпался весь, под ним оказался обыкновенный концертный рояль. Сдвинув на нос войлочный колпачок, Джек с непостижимым искусством, вдохновенно стал играть «Кампанеллу» Листа.

У Зои Монроз похолодели руки. Обернувшись к Роллингу, она прошептала:

— Это великий артист.

— Это ничего, — сказал Пим, когда Джек

кончил играть, — теперь ты послушай, как я сыграю.

Он стал вытаскивать из различных карманов дамские панталоны, старый башмак, клистирную трубку, живого котенка (аплодисменты), вынул скрипку и, повернувшись к зрительному залу скорбным лицом доброго иднота, заиграл бессмертный этюд Паганини.

Зоя поднялась, перекинула через шею собольих мех, сверкнула бриллиантами.

— Идете, мне противно. К сожалению, я когда-то была артисткой.

— Крошка, куда же мы денемся! Половина одинадцатого.

— Едьте пить.

33

Через несколько минут их лимузин остановился на Монмартре, на узкой улице, освещенной десятко оками притона «Ужин Короля». В низкой, пушистого шелка, с зеркальным потолком и зеркальными стенами, жаркой и накуреной зале, в тесноте, среди летящих лент серпантина, целлулоидных шариков и конфетти, покачивались в танце женщины, перепутанные бумажными лентами, обнаженные по пояс, к их гримированным щекам прижимались багровые и бледные, пьяные, испытые, возбужденные мужские лица. Трещал рояль. Были, визжали скрипки, и три негра, обливаясь потом, били в тазы, ревели в автомобильные рожки, трещали дощечками, звонили, громыхали тарелками, лупили в турецкий барабан. Чье-то мокрое лицо придвинулось вплотную к Зое. Чьи-то женские руки обвились вокруг шеи Роллинга.

— Дорогу, дети мои, дорогу химическому королю, — надрываясь, кричал метрдотель, с трудом отыскал место за узким столом, протянутым вдоль пунцової стены, и усадил Зою и Роллинга. В них полетели шарики, конфетти, серпантины.

— На вас обращают внимание, — сказал Роллинг.

Зоя, полуопустив веки, пила шампанское. Ей было душно и влажно под легким шелком, едва прикрывающим ее груди. Целлулоидный шарик ударился ей в щеку.

Она медленно повернула голову, — чьи-то темные, словно обведенные угольной чертой, мужские глаза глядели на нее с мрачным восторгом. Она подалась вперед, положила на стол голые руки и впитывала этот взгляд, как вино: не все ли равно — чем опьянятся?

У человека, глядевшего на нее, словно осунилось лицо за эти несколько секунд. Зоя опустила подбородок в пальцы, вдвинутые в пальцы, исподлобье встретила в упор этот взгляд... Где-то она видела этого человека. Кто он такой? — ни француз, ни англичанин. В темной бороде зашупались конфетти. Красивый рот. «Любопытно, Роллинг ревнив?» — подумала она.

Лакей, протолкнувшись сквозь танцующих, подал ей записочку. Она изумилась, откинулась на спинку дивана. Покосилась на Роллинга, сосавшего сигару, прочла:

«Зоя, тот, на кого вы смотрите с такой нежностью, — Гарин... Целую ручку. Семенов».

Она, должно быть, так страшно поблдеела, что неподалеку чей-то голос проговорил сквозь шум: «Смотрите, даме дурию». Тогда она протянула пустой бокал, и лакей налил шампанского.

Роллинг сказал:

— Что вам написал Семенов?

— Я скажу после.

— Он написал что-нибудь о господине, который нагло разглядывает вас? Это тот, кто был у меня вчера. Я его узнала.

— Роллинг, разве вы не знаете его?.. Помните, на площади Этуаль?.. Это — Гарин.

Роллинг только сощурил. Вынул сигару — «Ага». Вдруг лицо его приняло то самое выражение, когда он бегал по серебристому ковру кабинета, продумывая на пять ходов вперед все возможные комбинации борьбы. Тогда он бойко шелкнул пальцами. Сейчас он повернулся к Зое с искаженным ртом.

— Поедем, нам нужно серьезно поговорить.

В дверях Зоя обернулась. Сквозь дым и путаницу серпантина она снова увидела горящие глаза Гарина. Затем — непонятно, до головокружения — лицо его раздвоилось: кто-то, сидевший перед ним, спиной к танцующим, придвинулся к нему, и оба они глядели на Зою. Или это был обман зеркала?..

На секунду Зоя зажмурилась и побежала виз по истертому кабацкому ковру к автомобилю. Роллинг подждал ее. Захлопнув дверцу, он коснулся ее руки:

— Я не все рассказывал вам про свидание с этим минимым Пьяиковым-Питкевичем... Кое-что осталось мне непонятным: для чего ему понадобилось разыгрывать истерику? Не мог же он предполагать, что у меня найдется капля жалости... Все его поведение — подозрительно. Но зачем он ко мне приходил?.. Для чего повалился на стол?

— Роллинг, этого вы не рассказывали...

— Да, да... Опрокинул часы... Измял мои бумаги...

— Он пытался похитить ваши бумаги?

— Что? Похитить? — Роллинг помолчал. — Нет, это было не так. Он потерял равновесие и ударился рукой в бювар... Там лежало несколько листов...

— Вы уверены, что ничего не пропало?

— Это были ничего не значащие записки. Они оказались смятыми, я бросил их потом в корзину.

— Умоляю, припомните до мелочей весь разговор...

Лимузин остановился на улице Сены. Роллинг и Зоя прошли в спальню. Зоя быстро сбросила платье и легла в широкую лепную, на орлиных ногах, кровать под парчовым балдахином — одну из подлинных кроватей императора Наполеона Первого. Роллинг, медленно раздеваясь, раскидывал по ковру и, оставляя части одежды на золоченых стульях, на столиках, на каминной полке, рассказывал с мельчайшими подробностями о вчерашнем посещении Гарина.

Зоя слушала, опираясь на локоть. Роллинг начал стаскивать штаны и запрыгал на одной ноге. В эту минуту он не был похож на короля. Затем он лег, сказал: «Вот решительно все, что было», — и натянул атласное одеяло до носа. Голубоватый иочник освещал пышную спальню, разбросанные одежды, золотых амуров на столбиках кровати и уткнувшийся в одеяло мясистый нос Роллинга. Голова его ушла в подушку, рот полуоткрылся, химический король заснул.

Этот посапывающий нос в особенности мешал Зое думать. Он отвлекал ее совсем на другие, ненужные воспоминания. Она встала головой, отогнала их, а вместо Роллинга чудилась другая голова на подушке. Ей надоело бороться, она закрыла глаза, усмехнулась. Выплыло поблдевшее от волнения лицо Гарина... «Быть может, позвонить Гастону Утиний Нос, чтобы обещал?» Вдруг точно игла прошла сквозь нее: «С ним сидел двойник... Так же, как в Ленинграде...»

Она выскользнула из-под одеяла, торопливо натянула чулки. Роллинг замычал было во сне, но только повернулся на бок.

Зоя пробежала в гардеробную. Надела юбки, дождевое пальто, туго подпоясалась. Вернулась в спальню за сумочкой, где были деньги...

— Роллинг, — тихо позвала она, — Роллинг... Мы погибли...

Но он опять только замычал. Она спустилась в вестибюль и с трудом открыла высокие выходные двери. Улицы Сены была пуста. В узком просвете над крышами мансард стояла тусклая желтоватая луна. Зою охватила тоска. Она глядела на этот лунный шар над спящим городом... «Боже, боже, как страшно, как мрачно...» Обими руками она глубоко нагнулась шапочку и побежала к набережной.

34

Старый трехэтажный дом, номер шестьдесят три по улице Гобеленов, одною стеной выходил на пустырь. С этой стороны окна были только на третьем этаже — мансарде. Другая, глухая стена примыкала к парку. По фасаду на улицу, в первом этаже, на уровне земли, помещалось кафе для извозчиков и шоферов. Второй этаж занимала гостиница для иочных свиданий. В третьем этаже — мансарде — сдавались комнаты постоянным жильцам. Ход туда вел через ворота и длинный туннель.

Был второй час ночи. На улице Гобеленов — ни одного освещенного окна. Кафе уже закрыто, — все стулья поставлены на столы. Зоя остановилась у ворот, с минуту глядела на номер шестьдесят три. Было холодно сплать. Решилась. Позвонила. Зашуршала веревка, ворота приоткрылись. Она проскользнула в темную подворотню. Издадека голос привратницы проворчал: «Ночью надо спать, возвращаться надо вовремя». Но не спросил, кто вошел.

Здесь были порядки притона. Зою охватила страшная тревога. Перед ней тянулся низ-

кней мрачный туннель. В корявой стене, цвета бычьей крови, тускло светил газовый рожок. Указания Семенова были таковы: в конце туннеля — налево — по винтовой лестнице — третий этаж — налево — комната одиннадцатая.

Посреди туннеля Зоя остановилась. Ей казалось, что вдалеке, налево, кто-то быстро выглянул и скрылся. Не вернуться ли? Она прислушалась — ни звука. Она добежала до поворота на вонючую площадку. Здесь началась узкая, едва освещенная откуда-то сверху, винтовая лестница. Зоя пошла на цыпочках, боясь притронуться к липким перилам.

Весь дом спал. На площадке второго этажа облупленная арка вела в темный коридор. Поднимаясь выше, Зоя обернулась, и снова показалось ей, что из-за арки кто-то выглянул и скрылся... Только это был не Гастон Утпийный Нос... «Нет, нет, Гастон еще не был, не мог здесь быть, не успел...»

На площадке третьего этажа горел газовый рожок, освещающий коричневую стену с надписями и рисуночками, говорившими о неутоленных желаниях. Если Гарни нет дома, она будет ждать его здесь до утра. Если он дома, спит, — она не уйдет, не получив того, что он взял со стола на бульваре Мальзерб.

Зоя сняла перчатки, слегка поправила волосы под шапочкой и пошла налево по коридору, загнавшему коленом. На пятой двери крупно, белой краской, стояло — 11. Зоя нажала ручку, дверь легко отворилась.

В небольшую комнату, в открытое окно падал лунный свет. На полу валялись раскритиченные чмодай. Жестко белели разбросанные бумаги. У стены, между умывальником и комодом, сидел на полу человек в одной сорочке, голые колени его были подняты, огромными казались босые ступни... Луной освещена была половина лица, блеснул широко открытый глаз и белели зубы, — человек улыбался. Приткнув рот, без дыхания, Зоя глядела на неподвижно смеющееся лицо, — это был Гарни.

Сегодня утром в кафе «Глобус» она сказала Гастону Утпийному Носу: «Укради у Гарни чертежи и аппарат и, если можно, убей». Сегодня вечером она видела сквозь дымку над бокалом шампанского глаза Гарни и почувствовала: поманит такой человек — она все бросит, забудет, пойдет за ним. Ночью, поняв опасность и бросившись разыскивать Гастона, чтобы предупредить его, она сама еще не сознавала, что погнало ее в такой тревоге по ночному Парижу, из кабака в кабак, в игорные дома, всюду, где мог быть Гастон, и привело, наконец, на улицу Гобеленов. Какие чувства заставили эту уминую, холодную, жестокую женщину отворить дверь в комнату человека, обреченного ею на смерть?

Она глядела на зубы и выкаченный глаз Гарни. Хрипло, негромко вскрикнула, подошла и наклонилась над ним. Он был мертв. Лицо посиневшее. На шее вздулись царяпины. Это было то лицо — осунувшееся, притягивающее, с взволнованными глазами, с конфетти в шелковистой бороде... Зоя схватилась за

ледяной мрамор умывальника, с трудом поднялась. Она забыла, зачем пришла. Горькая слюна наполнила рот. «Не хватает еще — грохнуться без чувств». Последним усилием она оторвала пуговицу на душившем ее воротнике. Пошла к двери. В дверях стоял Гарни.

Так же, как и у того — на полу, у него блеснули зубы, открытые застывшей улыбкой. Он поднял палец и погрозил. Зоя поняла, сжала рот рукой, чтобы не закричать. Сердце билось, будто вынырнуло из-под воды... «Жив, жив...»

— Убьт не я, — шепотом сказал Гарни, продолжая грозить, — вы убили Виктора Лениуара, моего помощника... Роллинг пойдет на гильотину...

— Жив, жив, — хрипавато проговорила она.

Он взял ее за локти. Она сейчас же закинула голову, вся подалась, не сопротивляясь. Он притянул ее к себе и, чувствуя, что женщину не держит ни один, обхватил ее за плечи.

— Зачем вы здесь?..

— Я искала Гастона...

— Кого, кого?

— Того, кому приказала вас убить...

— Я это предвидел, — сказал он, глядя ей в глаза. Она ответила как во сне:

— Если бы Гастон вас убил, я бы покончила с собой...

— Не понимаю...

Она повторила за ним, точно в забытии, нежным, угасающим голосом:

— Не понимаю сама...

Странный разговор этот происходил в дверях. В окне луна садилась за графитовую крышу. У стены скалил зубы Лениуар. Гарни проговорил тихо:

— Вы пришли за автографом Роллинга?

— Да. Пощадите.

— Кого? Роллинга?

— Нет. Меня. Пощадите, — повторила она.

— Я пожертвовал другом, чтобы погубить вшего Роллинга... Я такой же убийца, как вы... Щадить?.. Нет, нет.

Внезапно он вытянулся, прислушиваясь. Резким движением увлек Зою за дверь. Продолжая сжимать ее руку выше локтя, выглянул за арку на лестницу...

— Идемте. Я выведу вас отсюда через парк. Слушайте, вы изумительная женщина, — глаза его блистали сумасшедшим юмором, — наши дорожки сошлись... Вы чувствуете это?..

Он побегал вместе с Зоей по винтовой лестнице. Она не сопротивлялась, оглушенная странным чувством, поднявшимся в ней, как в первый раз забродившее мутное вино.

На нижней площадке Гарни свернул куда-то в темноту, остановился, зажег восковую свечку и с усилием открыл ржавый замок, видимо, много лет не отпиравшейся двери.

— Как видите, — все предусмотрено. — Они вышли под темные, сыроватые деревья парка. В то же время с улицы в ворота входил отряд полиции, вызванный четверть часа тому назад Гарниным по телефону.

Шельга хорошо помнил «проигранную пешку» на даче на Крестовском. Тогда (на бульваре Профсоюз) он понял, что Пьянков-Питкевич непременно придет еще раз на дачу за тем, что было спрятано у него в подвале. В сумерки (того же дня) Шельга пробрался на дачу, не потревожив сторожа, и с потайным фонарем спустился в подвал. «Пешка» сразу была проиграна: в двух шагах от люка в кухне стоял Гарин. За секунду до появления Шельги он выскочил с чемоданом из подвала и стоял, распластавшись по стене за дверью. Он с грохотом захлопнул за Шельгой люк и принялся заваливать его мешками с углем. Шельга, подняв фонарик, глядел с усмешкой, как сквозь щели люка сыпется мусор. Он намеревался войти в мирные переговоры. Но внезапно наверху настала тишина. Постышались убегающие шаги, затем — грянули выстрелы, затем — дикий крик. Это была схватка с четырехпалым. Через час появилась милиция.

Пронграв «пешку», Шельга сделал хороший ход. Прямо из дачи он кинулся на милийском автомобиле в яхт-клуб, разбудил дежурного по клубу, всколоченного морского человека с хриплым голосом, и спросил в упор:

— Какой ветер?

Моряк, разумеется, не задумываясь, отвечал:

— Зюйд-вест.

— Сколько баллов?

— Пять.

— Вы ручаетесь, что все яхты стоят на местах?

— Ручаюсь.

— Какая у вас охрана при яхтах?

— Петька, сторож.

— Разрешите осмотреть боны.

— Есть осмотреть боны, — ответил моряк, едва попадая спросонок в рукава морской куртки.

— Петька, — крикнул он спиртовым голосом, выходя с Шельгой на веранду клуба. (Никто не ответил.) — Непременно спит где-нибудь, тяни его за ногу, — сказал моряк, поднимая воротник от ветра.

Сторожа нашли неподалеку в кустах, — он здорово храпел, закрыв голову бараньим воротником тулупа. Моряк вылезался. Сторож крикнул, встал. Пошли на боны, где над стальной, уже заснившей водой покачивался целый лес мачт. Была волна. Дул крепкий, со шквалами, ветер.

— Вы уверены, что все яхты на месте? — опята спросил Шельга.

— Не хватает «Ориона», он в Петергофе... Да в Стрельну загнали два судна.

Шельга дошел по брызжащим доскам до края бонгов и здесь поднял кусок причала, — один конец его был привязан к кольцу, другой явно отрезан. Дежурный не спеша осмотрел причал. Сдвинул зюйдвестку на нос. Ничего не сказал. Пошел вдоль бонгов, считая пальцем яхты. Рубанул рукой по ветру. А так как клубной дисциплиной запрещалось

употребление военно-империалистических слов, то ограничился одними боковыми выражениями:

— Не так и не мать! — закричал он с невероятной энергией. — Шкот ему в глотку! Увели «Бибигонду», лучшее гоночное судно, разорви его в душу, сукниного сына, смоляной фал ему куда не надо... Петька, чтобы тебе тридцать раз утонуть в тухлой воде, что же ты смотри, паразит, деревенщина паршивая? «Бибигонду» увели, так и не так и не мать...

Сторож Петька ахал, дивился, бил себя по кобам бараньими рукавами. Моряк неудержимо мчался фордевиндом по неизведанным безднам великорусского языка. Здесь делать больше было нечего. Шельга поехал в гавань.

Прошло часа три, по крайней мере, покуда он на быстроходном сторожевом катере не вылетел в открытое море. Была сильная волна. Катер зарывался. Водяная пыль туманила стекла бинокля. Когда поднялось солнце — в фишских водах, далеко за маяком, — вблизи берега был замечен парус. Это был средн подводных камней несчастная «Бибигонда». Палуба ее была покнута. С катера дали несколько выстрелов для порядка, — пришлось вернуться ни с чем.

Так бежал через границу Гарин, выиграв в ту ночь еще одну пешку. Об участии в этой игре четырехпалого было известно только ему и Шельге. По этому случаю у Шельги, на обратном пути в гавань, ход мыслей был таков:

«За границей Гарин либо продаст, либо сам будет на свободе эксплуатировать таинственный аппарат. Изобретение это для Союза пока потеряно, и, кто знает, не должно ли оно сыграть в будущем роковой роли. Но за границей у Гарина есть острастка — четырехпалый. Покуда борьба с ним не кончена, Гарин не посмеет вылезть на свет с аппаратом. А если в этой борьбе стать на сторону Гарина, можно и выиграть в результате. Во всяком случае, самое дурацкое, что можно было бы придумать (и самое выгодное для Гарина), — это немедленно арестовать четырехпалого в Ленинграде». Вывод был прост: Шельга прямо из гавани приехал к себе на квартиру, надел сухое белье, позвонил в угрозыск о том, что «дело само собой ликвидировано», выключил телефон и лег спать, посмеваясь над тем, как четырехпалый, — отравленный газам и, может быть, раинный, — удирает сейчас со всех ног из Ленинграда. Таков был контрудар Шельги в ответ на «потерянную пешку».

И вот — телеграмма (из Парижа): «Четырехпалый здесь. События угрожающие». Это был крик о помощи.

Чем дальше думал Шельга, тем яснее становилось — надо лететь в Париж. Он взял по телефону справку об отлете пассажирских аэропланов и вернулся на веранду, где сидели в неметенющих сумерках Тарашкин и Иван. Беспризорный мальчишка, после того как прочли у него на спине надпись черниль-

ним карандашом; притих и не отходил от Тарашкина.

В просветы между ветвями с оранжевых вод долетали голоса, плеск весел, женский смех. Старые, как мир, дела творились под темными кущами леса на островах, где бессонно перекликались тревожным голосами какие-то птички, пощелкивали соловьи. Все живое, вынырнув из дождей и выюг долгой зимы, торопилось жить, с веселой жадностью глотало хмельную прелесть этой ночи. Тарашкин обнял одной рукой Ивана за плечо, облокотился о перила и не шевелился, — глядел сквозь просветы на воду, где неслышно скользили лодки.

— Ну, как же, Иван, — сказал Шельга, придвинув стул и нагнувшись к лицу мальчика, — где тебе лучше нравятся: там ли, здесь ли? На Дальнем Востоке ты, чай, плохо жил, впроголодь?

Иван глядел на Шельгу, не мигая. Глаза его в сумерках казались печальными, как у старика. Шельга вытащил из жилетного кармана леденец и постучал им Ивану в зубы, покуда те не разжались, — леденец проскользнул в рот.

— Мы, Иван, с мальчишками хорошо обращаемся. Работать не заставляем, писем на спине не пишем, за семь тысяч верст под вагонами не посылаем никуда. Видишь, как у нас хорошо на островах, и это все, знаешь, чье? Это все мы детям отдали на вечные времена. И река, и острова, и лодки, и хлеба с колбасой, — ешь досыта — все твое...

— Так вы мальчишку собьете, — сказал Тарашкин.

— Ничего, не собью, он умный. Ты, Иван, откуда?

— Мы с Амура, — ответил Иван неохотно. — Мать померла, отца убили на войне.

— Как же ты жил?

— Ходил по людям, работал.

— Такой маленький?

— А чего же... Коней пас...

— Ну, а потом?

— Потом взяли меня...

— Кто взял?

— Одни люди. Им мальчишка был нужен, — на деревья лазать, грибы, орехи собирать, белок ловить для пищи, бегать, за чем пошлют...

— Значит, взяли тебя в экспедицию? (Иван моргнул, промолчал.) Далеко? Отвечай, не бойся. Мы тебя не выдадим. Теперь ты — наш брат...

— Восемь суток на пароходе плыли... Думали, живые не останемся. И еще восемь дней шли пешком. Покуда пришли на огнедышащую гору...

— Так, так, — сказал Шельга, — значит, экспедиция была на Камчатку.

— Ну да, на Камчатку... Жили мы там в лагуче... Про революцию долго ничего не знали. А когда узнали, трое ушли, потом еще двое ушли, жрать стало нечего. Остались он да я...

— Так, так, а кто «он»-то? Как его звали?

Иван опять насунился. Шельга долго его успокаивал, гладил по ноздрю опущенной, остриженной голове...

— Да ведь убьет меня за это, если скажу. Он обещался убить...

— Кто?

— Да Манцев же, Николай Христофорович... Он сказал: «Вот, я тебе на спине написал письмо, ты не мойся, рубашки, жилетки не снимай, хоть через год, хоть через два — доберись до Петрограда, найди Петра Петровича Гарина и ему покажи, что написано, он тебя наградит...»

— Почему же Манцев сам не поехал в Петроград, если ему нужно видеть Гарина?

— Большевиков боялся... Он говорил: «Они хуже чертей. Они меня убьют. Они, говорят, всю страну до ручек довели, — поезда не ходят, почты нет, жрать нечего, из города все разбежались...» Где ему знать, — он на горе сидит шестой год...

— Что он там делает, что ищет?

— Ну, разве он скажет? Только я знаю... (У Ивана весело, хитро заблестели глаза.) Золото под землей ищет...

— И нашел?

— Он-то? Конечно, нашел...

— Дорогу туда, на гору, где сидит Манцев, указать можешь, если понадобится?

— Конечно, могу... Только вы меня, смотрите, не выдавайте, а то он, знаешь, сердитый...

Шельга и Тарашкин с величайшим вниманием слушали рассказы мальчика. Шельга еще раз внимательно осмотрел надписи у него на спине. Затем сфотографировал ее.

— Теперь иди вниз, Тарашкин вымоет тебя мылом, ложись, — сказал Шельга. — Не было у тебя ничего: ни отца, ни матери, одно голодное пузо. Теперь все есть, всего по горло, — живи, учись, расти на здоровье. Тарашкин тебя научит уму-разуму, ты его слушайся. Прощай. Дня через три увижу Гарина, поручение твоё передам.

Шельга засмеялся, и скоро фонарик его велосипеда, подпрыгивая, пронесся за темными зарослями.

36

Сверкнули алюминиевые крылья высоко над зеленым аэродромом, и шестиместный пассажирский самолет скрылся за снежными облаками. Кучка провожающих постояла, задрал головы к лучезарной синеве, где лениво кружил стервятник да стригли воздух ласточки, но диоралюминиевая птица уже летела черт знает где.

Шесть пассажиров, сидя в поскрипывающих плетеных креслах, глядели на медленно падающую вниз лиловато-зеленую землю. Ниточками вилась по ней дорога. Игрушечными — слегка наклонными — казались гнезда построек, колокольни. Справа, вдалеке, растянулась синева воды.

Скользила тень от облака, скрывая подробности земной карты. А вот и само облако появилось близко внизу.

Прилинув к окнам, все шесть пассажиров улыбались несколько принужденными улыбками людей, умеющих владеть собой. Воздушное передвижение было еще внове. Несмотря на комфортабельную кабину, журналы и каталоги, разбросанные на откидных столиках, на видимость безопасного уюта, — пассажирам все же приходилось уверять себя, что, в конце концов, воздушное сообщение гораздо безопаснее, чем, например, пешком переходить улицу. То ли дело в воздухе. Встретишься с облаком — проищеришь, лишь запотеют окна в кабине, проработавши град по дюралюминию или встряхнет аппарат, как на ухабе, — ухватись за плетеные ручки кресла, выкати глаза, и сосед уже подмигивает, смеется: вот это так ухабик!.. Налетит шквал из тех, что в секунду валит мачты на морском паруснике, ломает руль, сносит лодки, людей в бешущие волны, — металлическая птица прочна и увертлива, — качнется на крыло, взвояет моторами, и уже выскочила, взмыла на тысячу метров выше гнездовины урагана.

Словом, не прошло и часа, как пассажиры в кабине освоились и с пустотой под ногами, и с качкой. Гул мотора мешал говорить. Кто надел на голову наушники с микрофонными мембранами, и завязалась беседа. Напротив Шельги сидел худощавый человек лет тридцати пяти в поношенном пальто и клетчатой кепке, видимо приобретенной для заграничного путешествия.

У него было бледноватое, с тонкой кожей, лицо, умный нахмуренный изысканный профиль, русая бородка, рот сложен спокойно и твердо. Сидел он сутулясь, сложив на коленях руки. Шельга с улыбкой сделал ему знак. Человек надел наушники. Шельга спросил:

— Вы не учились в Ярославле, в реальном? (Человек наклонил голову.) Земляк — я вас помню. Вы Хлынов Алексей Семенович. (Наклон головы.) Вы теперь где работаете?

— В физической лаборатории политехникума, — проговорил в трубку заглушенный гулом мотора, слабый голос Хлынова.

— В командировку?

— В Берлин, к Рейхеру.

— Секрет?

— Нет. В марте этого года нам стало известно, что в лаборатории Рейхера произведено атомное расщепление ртути.

Хлынов повернулся всем лицом к Шельге, — глаза со строгим волнением уперлись в собеседника. Шельга сказал:

— Не понимаю, — не специалист.

— Работы ведутся пока еще в лабораториях. До применения в промышленности еще далеко... Хотя, — Хлынов глядел на клубистые, как сиег, поля облаков, глубоко внизу застилающие землю, — от кабинета физика до мастерской завода шаг не велик. Принцип насильственного разложения атома должен быть прост, чрезвычайно прост. Вы знаете, конечно, что такое атом?

— Маленькое что-то такое, — Шельга показывал пальцами.

— Атом в сравнении с песчинкой. — как

песчинка в сравнении с земным шаром. И все же мы измеряем атом, исчисляем скорость вращения его электронов, его вес, массу, величину электрического заряда. Мы подбираемся к самому сердцу атома, к его ядру. В нем все секрет власти над материей. Будущее человечества зависит от того, сможем ли мы овладеть ядром атома, частичкой материальной энергии, величиной в одну стобиллионную сантиметра.

На высоте двух тысяч метров над землей Шельга слушал удивительные вещи, почуднее сказок Шехеразеды, но они не были сказкой. В то время, когда диалектика истории привела один класс к истребительной войне, а другой — к восстанию; когда горели города, и прах, и пепел, и газовые облака клубились над пашнями и садами; когда сама земля содрогалась от гневных криков удушьяемых революций и, как в старину, заработали в тюремных подвалах дыба и клещи палача; когда по ночам в парках стали вырастать из деревьев чудовищные плоды с высунутыми языками; когда упали с человека так любовно разукрашенные идеалистические ризы, — в это чудовищное и титаническое десятилетие одиночки-светочами горели удивительные умы ученых.

37

Аэроплан снизился над Ковной. Зеленое поле, смоченное дождем, быстро полетело навстречу. Аппарат прокатился и стал. Соскочил на траву пилот. Пассажиры вышли размять ноги. Закурили папиросы. Шельга в стороне лег на траву, закинул руки, и чудно было ему глядеть на далекие облака с синеватыми днищами. Он только что был там, летел среди снежных легких гор, над лазоревыми провалами.

Его небесный собеседник, Хлынов, стоял, слегка сутулясь, в потертом пальтишке, около крыла серой рубчатой птицы. Человек как человек, — даже кепка из Ленинградодежды.

Шельга рассмеялся:

— Здорово все-таки, забавно жить. Черт знает как здорово!

Когда взлетели с ковевского аэродрома, Шельга пошел к Хлынову и рассказал ему, не называя ничьих имен, все, что знал о необычайных опытах Гарнина и о том, что ими сильно, видимо, заинтересованы за границей.

Хлынов спросил, видел ли Шельга аппарат Гарнина.

— Нет. Аппарата никто еще не видал.

— Стало быть, все это — в области догадок и предположений, да еще приукрашенных фантазией?

Тогда Шельга рассказал о подвале на разрушенной даче, о разрезанных кусках стали, об ящиках с угольными пирамидами. Хлынов кивал, поддакивал:

— Так, так. Пирамидки. Очень хорошо. Понимаю. Скажите, если это не слишком секретно, — вы не про инженера Гарнина рассказываете?

Шельга минуту молчал, глядя в глаза Хлынову.

— Да, — ответил он, — про Гарина. Вы знаете его?

— Очень, очень способный человек. — Хлынов сморщился, будто взял в рот кислото. — Необыкновенный человек. Но — вне науки. Честолюбец. Совершенно изолированная личность. Авантюрист. Циник. Задачки гения. Непомерный темперамент. Человек с чудовищной фантазией. Но его удивительный ум всегда возмущен низкими желаниями. Он достигнет многого и кончит чем-нибудь вроде беспробудного пьянства либо попытается «ужаснуть человечество»... Гениальному человеку больше, чем кому бы то ни было, нужна строжайшая дисциплина. Слишком ответственно.

Красивые пятна снова вспыхнули на щеках Хлынова.

— Просветленный, дисциплинированный разум — величайшая святыня, чудо из чудес. На земле, — песчинка во вселенной, — человек — порядка одной биллионной самой малой величины... И у этой умозрительной частицы, живущей в среднем шестидесяти оборотах земли вокруг солнца, — разум, охватывающий всю вселенную... Чтобы постигнуть это, мы должны перейти на язык высшей математики... Так вот, что вы скажете, если у вас из лаборатории возьмут какой-нибудь драгоценнейший микроскоп и станут им забивать гвозди?.. Так именно Гарин обращается со своим гением... Я знаю, — он сделал крупное открытие в области передачи на расстояние инфракрасных лучей. Вы слышали, конечно, о лучах смерти Риндель-Мэтьюза? Лучи смерти оказались чистейшим вздором. Но принцип верен. Тепловые лучи температуры тысячи градусов, посланные параллельно, — чудовищное орудие для разрушения и военной обороны. Весь секрет в том, чтобы послать нерассеивающийся луч. Этого до сих пор не было достигнуто. По вашим рассказам, видимо, Гарину удалось построить такой аппарат. Если это так, — открытие очень значительное.

— Мне давно уж кажется, — сказал Шельга, — что вокруг этого изобретения пахнет крупной политикой.

Некоторое время Хлынов молчал, затем даже уши у него вспыхнули.

— Отыщите Гарина, возьмите его за шиворот и вместе с аппаратом верните в Советский Союз. Аппарат не должен попасть к нашим врагам. Спросите Гарина, — сознает он свои обязанности? Или он действительно пошляк... Тогда дайте ему, черт его возьми, денег — сколько он захочет... Пусть заводит роскошных женщин, яхты, гоночные машины... Или убейте его...

Шельга поднял брови. Хлынов положил трубку на столик, откинулся, закрыл глаза. Аэроплан плыл над деленными ровными квадратами полей, над прямыми длинечками дорог. Вдали, с высоты, виднелся между синеватыми пятнами озер коричневый чертеж Берлина.

Минуты и часы 38

В половине восьмого поутру, как обычно, Роллинг проснулся на улице Сеиы в кровати императора Наполеона. Не открывши глаз, достал из-под подушки носовой платок и решительно высморкался, выгнав из себя вместе с остатками сна вчерашнюю тухлю ночных развлечений.

Не совсем, правда, свежий, но вполне владеющий мыслями и волей, он бросил платок на ковер, сел посреди шелковых подушек и оглянулся. Кровать была пуста, в комнате — пусто. Зонна подушка холодна.

Роллинг нажал кнопку звонка, появилась горничная Зои. Роллинг спросил, глядя мимо нее: «Мадам?» Горничная подняла плечи, стала поворачивать голову, как сова. На цыпочках прошла в уборную, оттуда, уже поспешно, — в гардеробную, хлопнула дверь в ванную и снова появилась в спальне, — пальцы у нее дрожали с боков кружевного фартучка: «Мадам нигде нет».

— Кофе, — сказал Роллинг. Он сам налил ванну, сам оделся, сам налил себе кофе. В доме в это время шла тихая паника, — на цыпочках, шепотом. Выходя из отеля, Роллинг толкнул локтем швейцара, испуганно кивнувшего отворять дверь. Он опоздал в контору на двадцать минут.

На бульваре Мальзерб в это утро пахло порохом. На лице секретаря было написано полное непотребление злу. Посетители выходили перекосившиеся из ореховой двери. «У мистера Роллинга неважное настроение сегодня», — сообщали они шепотом. Ровно в час мистер Роллинг посмотрел на стенные часы и сломал карандаш. Ясно, что Зоя Монроз не заедет за ним завтракать. Он медлил до четверти второго. За эти ужасные четверть часа у секретаря в блестящем роборе появились два седых волоса. Роллинг поехал завтракать один к «Грифону», как обычно.

Хозяин рестораника, мосье Грифон, рослый и полный мужчина, бывший повар и содержатель пивнушки, теперь — высший консультант по Большому Искусству Вкусных Восприятий и Пищеварения, встретил Роллинга героическим взмахом руки. В темно-серой визитке, с холодной ассирийской бородой и благородным лбом, мосье Грифон стоял посреди небольшой залы своего ресторана, опираясь одной рукой на серебряный цоколь особого сооружения, вроде жертвенника, где под выпуклой крышкой томилось знаменитое жаркое — седло барана с бобами.

На красных кожаных диванах вдоль четырех стен за узкими сплошными столами сидели постоянные посетители — из делового мира Больших бульваров, женщин — немногие. Середина залы была пуста, не считая жертвенника. Хозяин, вращая головой, мог видеть процесс вкусового восприятия каждого из своих клиентов. Малейшая гримаска неудовольствия не ускользала от его взора. Мало того, — он предвидел многое: таинственные процессы выделения соков, витиеобразная работа желудка и вся психология еды, основанная на воспоминаниях когда-то съеденного, на пред-

чувствиях и на приливах крови к различным частям тела, — все это было для него открытой книгой.

Подходя со строгим и вместе отеческим лицом, он говорил с восхитительной грубоватой лаской: «Ваш темперамент, мосье, сегодня требует рюмки мадеры и очень сухого Пун, — можете послать меня на гильотину — я не даю вам ни капли красного. Устрицы, немного вареного тюрбо, крылышко цыпленка и несколько стебельков спаржи. Эта гамма вернет вам силы». Возражать в этом случае мог бы только патагонец, питающийся водяными крысами.

Мосье Грифон не подбегал, как можно было предполагать, с униженной торопливостью к прибору химического короля. Нет. Здесь, в академии пищеварения, миллиардер, и мелкий бухгалтер, и тот, кто сунул мокрый зонтик швейцару, и тот, кто, сопя, вылез из ролс-ройса, пропахшего гаванами, — платили один и тот же счет. Мосье Грифон был республиканец и философ. Он с великодушной улыбкой подал Роллингу карточку и посоветовал взять дыню на первое, запеченного с трюфелями омара на второе и седло барана. Вина мистера Роллинга днем не пьет, это известно.

— Стакан виски-сода и бутылку шампанского заморозить, — сквозь зубы сказал Роллинг.

Мосье Грифон отступил, на секунду в глазах его мелькнули изумление, страх, отвращение: клиент начинает с водки, оглушающей вкусовые пупырышки в полости рта, и продолжает шампанским, от которого пунит желудок. Глаза мосье Грифона потухли, он почти полностью наклонил голову: клиент на сегодня потерял, — примиряюсь.

После третьего стакана виски Роллинг начал мять салфетку. С подобным темпераментом человек, стоящий на другом конце социальной лестницы, скажем, Гастон Утиный Нос, сегодня бы еще до заката отыскал Зою Монроз, тварь, грязную гадюку, подбранную в луже, — и всадил бы ей в бок лезвие складного ножа. Роллингу подбалили новые приемы. Глядя в тарелку, где styl омар с трюфелями, он думал не о том, чтобы раскровенить нос распутной девке, сбжавшей ночью из его постели... В мозгу Роллинга, в желтых парах виски, рождались, скреплялись, извивались чрезвычайно изысканные болезненные идеи мщения. Только в эти минуты он понял, что значила для него красавица Зоя... Он мучился, впиваясь ногтями в салфетку.

Лакей убрал нетронутую тарелку. Налил шампанского. Роллинг схватил стакан и жадно выпил его, — золотые зубы стукнули о стекло. В это время с улицы в ресторан вскочил Семенов. Сразу увидел Роллинга. Сорвал шляпу, перенулся через стол и зашептал:

— Читали газеты?... Я был только что в морге... Это он... Мы тут ни при чем... Клянусь под присягой... У нас алibi... Мы всю ночь оставались на Монмартре, у девочек... Установлено — убийство произошло между тремя и четырьмя утра, — это из газет, из

Перед глазами Роллинга прыгало землистое, перекошенное лицо. Соседи оборачивались. Приближался лакей со стулом для Семенова.

— К черту, — проговорил Роллинг сквозь завесу виски, — вы мешаете мне завтракать...

— Хорошо, извините... Я буду ждать вас на углу в автомобиле...

39

В парижской прессе все эти дни было тихо, как на лесном озере. Буржуа зевали, читая передовицы о литературе, фельетоны о театральных постановках, хроника из жизни артистов.

Этим безмятежным спокойствием пресса подготовляла ураганное наступление на среднебуржуазные кошельки. Химический концерн Роллинга, закончив организацию и истребив мелких противников, готовился к большой кампании на повышение. Пресса была куплена, журналисты вооружены нужными сведениями по химической промышленности. Для политических передовиков заготовлены ошеломляющие документы. Две-три пощечины, две-три дуэли устранили глупцов, пытавшихся лепетать не согласно общим планам концерна.

В Париже настала тишь да гладь. Тиражи газет несколько понизились. Поэтому чистой находкой оказалось убийство в доме шестидесяти три по улице Гобеленов.

На следующее утро все семьдесят пять газет вышли с жирными заголовками о «таинственном и кошмарном преступлении». Личность убитого не была установлена, — документы его похищены, — в гостинице он записался под явно вымышленным именем. Убийство, казалось, было не с целью ограбления, — деньги и золотые вещи остались при убийце. Трудно было также предположить месть, — комната номер одиннадцатый носила следы тщательного обыска. Тайна, все — тайна.

Двухчасовые газеты сообщили потрясающую деталь: в роковой комнате найдена женская черепаховая шпилька с пятью крупными бриллиантами. Кроме того, на пыльном полу обнаружены следы женских туфель. От этой шпильки Париж действительно дрогнул. Убийцей оказалась шикарная женщина. Архистратка? Буржуазка? Или кокетка из первого десятка? Тайна... Тайна...

Четырехчасовые газеты отдали свои странички интервью со знаменитейшим женщиной Парижа. Все они в один голос восклицали: нет, нет и нет, — убийцей не могла быть француженка, это дело рук немки, бошки. Несколько голосов бросило наем в сторону Москвы, — наем успеха не имел. Известная Ми-Ми — из театра «Олимпия» — произнесла историческую фразу: «Я готова отдаться тому, кто мне раскроет тайну». Это имело успех.

Словом, во всем Париже один Роллинг,

сидя у Грифона, ничего не знал о происшествии на улице Гобеленов. Он был очень зол и нарочно заставил Семенова подождать в таксомоторе. Наконец он появился на углу, молча влез в машину и велел везти себя в морг. Семенов, неустойчиво, по дороге рассказал ему содержание газет.

При упоминании о шпильке с пятью бриллиантами пальцы Роллинга затрепетали на набалдашнике трости. Близ морга он внезапно рванулся к шоферу с жестом, приказывающим повернуть, — но сдержался и только свирепея засопел.

В дверях морга была давка. Женщины в дорогих мехах, курносенькие миднетки, подозрительные личности из предместий, любопытные консьержки в вязаных пелерниках, хроникеры с потными носами и смятыми воротничками, актриски, цепляющиеся за мясистых актеров, — все стремились взглянуть на убитого, лежавшего в разодранной рубашке и босиком на покатој мраморной доске, головой к полуподвальному окну.

Особенно страшными казались босые ноги его — большие, синеватые, с отросшими ногтями. Желто-мертвое лицо «нзуродовано судорогой ужаса». Бородка торчком. Женщины жадно стремились к этой оскаленной маске, впиались расширенными зрачками, тихо вскрикивали, ворковали. Вот он, вот он — любовник дамы с бриллиантовой шпилькой!

Семенов ужом, впереди Роллинга, пролез сквозь толпу к телу. Роллинг твердо взглянул в лицо убитого. Рассматривал с секунду. Глаза его сощурились, мясистый нос собрался складками, блеснули золотые зубы.

— Ну что, ну что, он ведь, он? — зашептал Семенов.

И Роллинг ответил ему на этот раз:

— Опять двойник.

Едва была произнесена эта фраза, из-за плеча Роллинга появилась светловолосая голова, взглянула ему в лицо, точно сфотографировала, и скрылась в толпе.

Это был Шельга.

40

Бросив Семенова в морг, Роллинг проехал на улицу Сены. Там все оставалось по-прежнему — тихая паника. Зоя не появлялась и не звонила.

Роллинг заперся в спальне и ходил по ковру, рассматривая кончики башмаков. Он остановился с той стороны постели, где обычно спал. Поскреб подбородок. Закрыв глаза. И тогда вспомнил то, что его мучило весь день...

«...Роллинг, Роллинг... Мы погибли...»

Это было сказано тихим, безнадежным голосом Зои. Это было сегодня ночью, — он внезапно посреди разговора заснул. Голос Зои не разбудил его, — не дошел до сознания. Сейчас ее отчаянные слова отчетливо зазвучали в ушах.

Роллинга подбросило, точно пружинной... Итак, — страшный припадок Гарина на бульваре Мальзерб; волнение Зои в кабаке «Ужин Короля»; ее настоящие вопросы: какие именно бумаги мог похитить Гарин из кабинета? Затем — «Роллинг, Роллинг, мы погибли...» Ее исчезновение. Труп двойника в море. Шпилька с бриллиантами. Именно вчера, — он помнил, — в пышных волосах Зои сняло пять камней.

В цепи событий ясно одно: Гарин прибегает к испытанному приему с двойником, чтобы отвести от себя удар. Он похищает автограф Роллинга, чтобы подбросить его на место убийства и привести полицию на бульвар Мальзерб.

При всем хладнокровии Роллинг почувствовал, что спинному хребту холодно. «Роллинг, Роллинг, мы погибли...» Значит, она предполагала, она знала про убийство. Оно произошло между тремя и четырьмя утра. (В половине пятого явилась полиция.) Вчера, засыпая, Роллинг слышал, как часы на камине пробили три четверти второго. Это было его последним восприятием внешних звуков. Затем Зоя исчезла. Очевидно, она кинулась на улицу Гобеленов, чтобы уничтожить следы автографа.

Каким образом Зоя могла знать так точно про готовящееся убийство? — только в том случае, если она его сама подготовила. — Роллинг подошел к камину, положил локти на мраморную доску и закрыл лицо руками. — Но почему же тогда она прощептала ему с таким ужасом: «Роллинг, Роллинг, мы погибли!..» Что-то вчера произошло, — перевернуло ее планы. Но что? И в какую минуту?.. В театре, в кабаке, дома?..

Предположим, ей нужно было исправить какую-то ошибку. Удалось ей или нет? Гарин жив, автограф покуда не обнаружен, убит двойник. Спасает это или губит? Кто убийца — сообщник Зои или сам Гарин?

И почему, почему, почему Зоя исчезла? Отыскивая в памяти эту минуту — перелом в Зоином настроении, Роллинг напрягал воображение, привыкшее к совсем другой работе. У него трещал мозг. Он припоминал — жест за жестом, слово за словом — все вчерашнее поведение Зои.

Он чувствовал, если теперь же, у камина, не поймет до мелочей всего происшедшего, то это — проигрыш, поражение, гибель. За три дня до большого наступления на биржу достаточно намека на его имя в связи с убийством, и — непомерный биржевой скаandal, крах... Удар по Роллингу будет ударом по миллиардам, двигающим в Америке, Китае, Индии, Европе, в африканских колониях тысячи механизмов. Нарушится точная работа механизма... Железные дороги, океанские линии, рудники, заводы, банки, сотни тысяч служащих, миллионы рабочих, десятки миллионов держателей ценностей — все это заскрипит, зашопорится, забьется в панике...

Роллинг попал в положение человека, не знающего, с какой стороны его ткнут ножом. Опасность была смертельной. Воображение

его работало так, будто за каждый протекающий в секунду отрезок мысли платили по миллиону долларов. Эти четверть часа у камина могли быть занесены в историю наравне с известным присутствием духа у Наполеона на Аркольском мосту.

Но Роллинг, этот собиратель миллиардов, фигура почти уже символическая, в самую решительную для себя минуту (и опять-таки первый раз в жизни) внезапно предался пустому занятию, стоя с раздутыми ноздрями перед зеркалом и не видя в нем своего изображения. Вместо анализа поступков Зои он стал воображать ее самое — ее тонкое, бледное лицо, мрачно-ледяные глаза, страстный рот. Он ощущал телный запах ее каштановых волос, прикосновение ее руки. Ему начало казаться, будто он, Роллинг, весь целиком, — со всеми желаниями, вкусами, честолюбием, жаждою к власти, с дурными настроениями (атония кишок) и едкими думами о смерти, — переселился в новое помещение, в умную, молодую, привлекательную женщину. Ее нет. И он будто вышвырнут в ночную слякоть. Он сам себе перестал быть нужен. Ее нет. Он без дома. Какие уж там мировые концерны, — тоска, тоска голого, маленького, жалкого человека.

Это поистине удивительное состояние химического короля было прервано стуком двух подошв о ковер. (Окно спальни, — в первом этаже, — выходившее в парк, было раскрыто.) Роллинг вздрогнул всем телом. В каминном зеркале появилось изображение коренастого человека с большими усами и сморщенным лбом. Он нагнул голову и глядел на Роллинга не мигая.

41

— Что вам нужно? — завизжал Роллинг, не попадая рукой в задний карман штанов, где лежал браунинг. Коренастый человек, видимо, ожидал этого и прыгнул за портьеру. Оттуда он снова выставил голову.

— Спокойно. Не кричите. Я не собираюсь убивать или грабить, — он поднял ладоши, — я пришел по делу.

— Какое здесь может быть дело? — отплевываясь по делу на бульвар Мальзерб, сорок восемь бис, от одиннадцати до часу... Вы влезли в окно, как вор и негодяй.

— Виноват, — вежливо ответил человек, — моя фамилия Леклер, меня зовут Гастон. У меня военный орден и чин сержанта. Я никогда не работаю по мелочам и вором не был. Советую вам немедленно принести мне извинения, мистер Роллинг, без которых наш дальнейший разговор не может состояться...

— Убিরаться к дьяволу! — уже спокойно сказал Роллинг.

— Если я уберусь по этому адресу, то неизвестная вам мадемуазель Монроз погнблает.

У Роллинга прыгнули щеки. Он сейчас же подошел к Гастону. Тот сказал почтительно, как подобает говорить с обладателем миллиардов, и вместе с оттекком грубоватой друже-

ственности, как говорят с мужем своей любовницы:

— Итак, сударь, вы извиняетесь?

— Вы знаете, где скрывается мадемуазель Монроз?

— Итак, сударь, чтобы продолжить наш разговор, я должен понять, что вы извиняетесь передо мной?

— Извиняюсь, — заорал Роллинг.

— Принимаю! — Гастон отошел от окна, привычным движением расправил усы, откашлянулся и сказал: — Зоя Монроз в руках убийцы, о котором кричит весь Париж.

— Где она? (У Роллинга затряслись губы.)

— В Вилль Давре, близ парка Сен-Клу, в гостинице для случайных посетителей, в двух шагах от музея Гамбетты. Вчера ночью я проследил их в автомобиле до Вилль Давре, сегодня я точно установил адрес.

— Она добровольно бежала с ним?

— Вот это именно я больше всего хотел бы знать, — ответил Гастон так злое, что Роллинг изумленно оглянул его.

— Позвольте, господин Гастон, я не совсем понимаю, какое ваше участие во всей этой истории? Какое вам дело до мадемуазель Монроз? Каким образом вы по иочам следите за ней, устанавливаете место ее нахождения?

— Довольно! — Гастон благородным жестом протянул перед собой руку. — Я вас понимаю. Вы должны были поставить мне этот вопрос. Отвечаю вам: я влюблен, и я ревнив...

— Ага! — сказал Роллинг.

— Вам нужны подробности? — вот они: сегодня ночью, выходя из кафе, где я пил стакан грога, я увидел мадемуазель Монроз. Она мчалась в наемном автомобиле. Лицо ее было ужасно. Вскочить в таксис, броситься за нею вслед было делом секунды. Она остановила машину на улице Гобеленов и вошла в подъезд дома шестьдесят три. (Роллинг моргнул, будто его колдуили.) Вне себя от ревнивых предчувствий, я ходил по тротуару мимо дома шестьдесят три. Ровно в четверть пятого мадемуазель Монроз вышла не из подъезда, как я ожидал, а из ворот в стене парка, примыкающего к дому шестьдесят три. Ее за плечи придерживал человек с черной бородкой, одетый в коверкот и серую шляпу. Остальное вы знаете.

Роллинг опустился на стул (эпохи крестовых походов) и долго молчал, впившись пальцами в резные ручки... Так вот он — недостающие данные... Убийца — Гарни. Зоя — сообщница... Преступный план очевиден. Они убили двойника на улице Гобеленов, чтобы блутать в грязную историю его, Роллинга, и, шантажируя, выманить деньги на постройку аппарата. Честный сержант и классический дурак, Гастон, случайно обнаруживает преступление. Все ясно. Нужно действовать решительно и беспощадно.

Глаза Роллинга зло вспыхнули. Он встал, ногой отпихнул стул.

— Я звоню в полицию. Вы поедете со мной в Вилль Давре.

Гастон усмехнулся, больше усы, его ползли в косы.

— Мне кажется, мистер Роллинг, будет благоразумнее не вмешивать полицию в эту историю. Мы обойдемся своими силами.

— Я желаю арестовать убийцу и его сообщницу и передать негодяев в руки правосудия. — Роллинг выпрямился, голос его звучал как сталь.

Гастон сделал неопределенный жест.

— Так-то оно так... Но у меня есть шесть надежных молодцов, выдавших виды... Через час в двух автомобилях я мог бы доставить их в Вилль Давре... А с полицией, уверяю вас, не стоит связываться...

Роллинг только фыркнул на это и взял с каминной полки телефонную трубку. Гастон с еще большей быстротой схватил его за руку.

— Не звоните в полицию!

— Почему?

— Потому, что глупее этого ничего нельзя придумать... (Роллинг опять потонул, за трубку.) Вы редкого ума человек, мосье Роллинг, неужели вы не понимаете, — есть вещи, которые не говорят прямо... умоляю вас — не звонить... Фу, черт!.. Да потому, что после этого звонка мы с вами оба попадем на гильотину... (Роллинг в бешенстве толкнул его в грудь и вырвал трубку. Гастон живо оглянулся и в самое ухо Роллинга прошептал.) По вашему указанно мадемуазель Зоя поручила мне отправить облегченной скоростью к Аврааму одного русского инженера на улице Гобеленов, шестьдесят три. Этой ночью поручение исполнено. Сейчас нужно десять тысяч франков — в виде аванса моим малюткам. Деньги у вас с собой?..

Через четверть часа на улицу Сены подъехала дорожная машина с поднятым верхом. Роллинг стремительно вскочил в нее. Покуда машина делала на узкой улице поворот, из-за выступа дома вышел Шельга и прицепился к автомобилю, к задней части кузова.

Машина пошла по набережной. На Марсовом поле, в том месте, где некогда Робеспьер, с колосьями в руке, клялся перед жертвенником Верховного Существа заставить человечество подписать великий колдоговор на вечный мир и вечную справедливость, — теперь возвышалась Эйфелева башня; два с половиной миллиона электрических свечей мигали и подмигивали на ее стальных переплетах, разбегались стрелами, очерчивали рисунки и писали над Парижем всю ночь: «Покупайте практичные и дешевые автомобили господина Ситроена...»

42

Ночь была сыроватая и теплая. За открытым окном, от низкого потолка до самого пола, невидимые листья принимались шестестать и затихали. В комнате — во втором этаже гостиницы «Черный Дрозд» — было темно и тихо. Влажный аромат парка смешивался с

запахом духов. Ими был пропитан ветхий штоф на стенах, истертые ковры и огромная деревянная кровать, приютившая за долгие годы вереницы любовников. Это было доброе старое место для любовного уединения. Деревья шестестали за окном, ветерок доносил из парка запах земли и грусти, теплая кровать убаюкивала короткое счастье любовников. Рассказывают даже, что в этой комнате Беранже сочинял свои песенки. Времена изменились, конечно. Торопливым любовникам, выскочившим на часок из кипящего Парижа, ослепленным огненными воплями Эйфелевой башни, было не до шестеста листьев, не до любви. Нельзя же, в самом деле, в наши дни мечтательно гулять по бульвару, засунув в жилетный карман томик Мюссе. Нынче — все на скорости, все на бензине. «Алло, малютка, в нашем распоряжении час двадцать минут! Нужно успеть в кино, скушать обед и полежать в кровати. Ничего не поделаешь, Ми-Ми, это — цивилизация».

Все же ночь за окном в гостинице «Черный Дрозд», темные кушны лип и нежные трещотки древесных лягушек не принимали участия в общем ходе европейской цивилизации. Было очень тихо и очень покойно. В комнате скрипнула дверь, послышались шаги по ковру. Неясное очертание человека остановилось посреди комнаты. Он сказал негромко (по-русски):

— Нужно решаться. Через тридцать — сорок минут подадут машину. Что же — да или нет?

На кровати пошевелились, но не ответили. Он подошел ближе:

— Зоя, будьте же благоразумны.

В ответ невесело засмеялись.

Гарни нагнулся к лицу Зон, всмотрелся, сел в ноги на постель.

— Вчерашнее приключение мы зачеркнем. Началось оно несколько необычно, кончилось в этой постели, — вы находите, что банально? Согласен. Зачеркнуто. Слушайте, я не хочу никакой другой женщины, кроме вас, — что поделаешь?

— Пошло и глупо, — сказала Зоя.

— Совершенно с вами согласен. Я пошляк, законченный, первобытный. Сегодня я думаю: ба, вот для чего нужны деньги, власть, слава, — обладать вами. Дальше, когда вы проснулись, я вам доложил мою точку зрения: расставаться с вами я не хочу и не расстаюсь.

— Ого! — сказала Зоя.

— «Ого» — ровно ничего не говорит. Я понимаю, — вы, как женщина умная и самолюбивая, ужасно возмущены, что вас принуждают. Что ж поделаешь! Мы связаны кровью. Если вы уйдете к Роллингу, я буду бороться. А так как я пошляк, то отправлю на гильотину и Роллинга, и вас, и себя.

— Вы это уже говорили, — повторяетесь.

— Разве вас это не убеждает?

— Что вы предлагаете мне взамен Роллинга? Я женщина дорогая.

— Оливниковый пояс.

— Что?

— Оливниовый пояс. Гм! Объяснять это очень сложно. Нужен свободный вечер и книги под руками. Через двадцать минут мы должны ехать. Оливниовый пояс — это власть над миром. Я найму вашего Роллинга в швейцарии, — вот что такое Оливниовый пояс. Он будет в моих руках через два года. Вы станете не просто богатой женщиной, вернее — самой богатой на свете. Это скучно. Но — власти! Упоение небывалой на земле властью. Средства для этого у нас совершеннее, чем у Чингисхана. Вы хотите божеских почестей? Мы прикажем построить вам храмы на всех пяти материках и ваше изображение увенчивать виноградом.

— Какое мещанство!..

— Я не шучу сейчас. Захотите, и будете наместинцей бога или черта, — что вам больше по вкусу. Вам придет желание уничтожать людей, — иногда в этом бывает потребность, — ваша власть надо всем человечеством. Такая женщина, как вы, Зоя, найдет применение сказочным сокровищам Оливниового пояса. Я предлагаю выгодную партию. Два года борьбы — и я проникну сквозь Оливниовый пояс. Вы не верите?..

Помолчав, Зоя проговорила тихо:

— Почему я одна должна рисковать? Будьте смелы и вы.

Гарин, казалось, сился в темяте увидеть ее глаза, затем — почти печально, почти нежно — сказал:

— Если нет, тогда уйдите. Я не буду вас преследовать. Решайте добровольно.

Зоя коротко вздохнула. Села на постели, подняла руки, оправляя волосы (это было хорошим знаком).

— В будущем — Оливниовый пояс. А сейчас что у вас? — спросила она, держа в зубах шпильки.

— Сейчас — мой аппарат и угольные пирамидки. Вставайте. Идемте в мою комнату, я покажу аппарат.

— Не много. Хорошо, я посмотрю. Идемте.

43

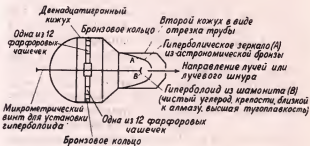
В комнате Гарниа окно с балконной решеткой было закрыто и занавешено. У стены стояли два чемодана. (Он жил в «Черном Дрозде» уже большие недели.) Гарин запер дверь на ключ. Зоя села, облокотилась, заслонила лицо от света потолочной лампы. Ее дождевое шелковое пальто травяного цвета было помято, волосы небрежно прибраны, лицо утомленное, — такой она была еще привлекательнее. Гарин, раскрывая чемодан, поглядывал на нее обведенными синевой блестящими глазами.

— Вот мой аппарат, — сказал он, ставя на стол два металлических ящика: один — узкий, в виде отрезка трубы, другой — плоский, двенадцатигранный — втрое большего диаметра.

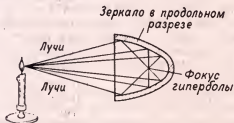
Он составил оба ящика, скрепил их анкерными болтами. Трубку направил отверстием к каменной решетке, у двенадцатигран-

ного кожуха откинул сферическую крышку. Внутри кожуха стояло на ребре бронзовое кольцо с двенадцатью фарфоровыми чашечками.

— Это — модель, — сказал он, вынимая из второго чемодана ящик с пирамидками, — она не выдержит и часа работы. Аппарат нужно строить из чрезвычайно стойких материалов, в десять раз солднее. Но он вышел бы слишком тяжелым, а мне приходится все время передвигаться. (Он вложил в чашечки кольца двенадцать пирамидок.) Снаружи вы ничего не увидите и не поймете. Вот чертеж, продольный разрез аппарата. — Он наклонился над Зонным креслом (вдохнул запах ее волос), развернул чертеж размером в половину листа писчей бумаги. — Вы хотели, Зоя, чтобы я также рисковал всем в нашей игре. Смотрите сюда... Это основная схема...



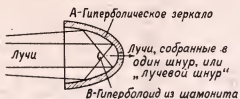
Это просто, как дважды два. Чистая случайность, что это до сих пор не было построено. Весь секрет в гиперболическом зеркале (А), напоминающем формой зеркало обыкновенного прожектора, и в кусочке шамотита (В), сделанном также в виде гиперболической сферы. Закон гиперболических зеркал таков:



Лучи света, падая на внутреннюю поверхность гиперболического зеркала, сходятся все в одной точке, в фокусе гиперболы. Это известно. Теперь вот что неизвестно: я помещаю в фокусе гиперболического зеркала вторую гиперболу (очерченую, так сказать, навыворот) — гиперболоид вращения, выточенный из тугоплавкого, идеально полирующегося минерала — шамотита (В), — залежи его на севере России неисчерпаемы. Что же получается с лучами?

Лучи, собираясь в фокусе зеркала (А), падают на поверхность гиперболоида (В) и отражаются от него математически параллельно, — иными словами, гиперболоид (В) концентрирует все лучи в один луч, или в «лучевой шнур» любой толщины. Переставляя микрометрическим винтом гиперболоид (В), я

по желанию увеличиваю или уменьшаю толщину «лучевого шнура». Потеря его энергии при прохождении через воздух ничтожна. При этом я могу довести его (практически) до толщины иглы.



При этих словах Зоя поднялась, хрустнула пальцами и снова села, обхватила колено.

— Во время первых опытов я брал источником света несколько обычных стеариновых свечей. Путем установки гиперболоида (В) я доводил «лучевой шнур» до толщины вазальной спицы и легко разрезывал им дюймовую доску. Тогда же я понял, что вся задача — в нахождении компактных и чрезвычайно могучих источников лучевой энергии. За три года работы, стоившей жизни двоим моим помощникам, была создана вот эта угольная пирамидка. Энергия пирамидок настолько уже велика, что, помещенные в аппарат, — как вы видите, — и зажженные (горят около пяти минут), они дают «лучевой шнур», способный в несколько секунд разрезать железнодорожный мост... Вы представляете, какие открываются возможности? В природе не существует ничего, что бы могло сопротивляться силе «лучевого шнура»... Здания, крепости, дредноуты, воздушные корабли, скалы, горы, кора земли — все проникнет, разрушит, разрежет мой луч...

Гарин внезапно оборвал и поднял голову, прислушиваясь. За окном шумел и скрипел гравий, замирая работали моторы. Он прыгнул к окну и проскользнул за портьеру. Зоя глядела, как за пыльным малиновым бархатом неподвижно стояло очертание Гарина, затем оно содрогнулось. Он выскользнул из-за портьера.

— Три машины и восемь человек, — сказал он шепотом, — это за нами. Кажется — автомобиль Роллинга. В гостинице только мы и привратника. (Он живо вынул из ночного столика револьвер и сунул в карман пиджака.) Меня-то уж, во всяком случае, не выпустят живым... — Он весело вдруг почесал сбоку носа. — Ну, Зоя, решайте: да или нет? Другой такой минуты не выберешь.

— Вы с ума сошли, — лицо Зои вспыхнуло, помолодело, — спасайтесь!..

Гарин только вскинул бородку.

— Восемь человек, вздор, вздор! — Он приподнял аппарат и повернул его дулом к двери. Хлопнул себя по карману. Лицо его внезапно осунулось.

— Спички, — прошептал он, — нет спичек...

Быть может, он сказал это нарочно, чтобы испытать Зою. Быть может, и вправду в кармане не оказалось спичек, — от них зависела

жизнь. Он глядел на Зою, как животное, ожидая смерти. Она, будто во сне, взяла с кресла сумочку, вынула коробку восковых спичек. Протянула медленно, с трудом. Беря, он ощутил пальцами ее ледяную узкую руку.

Внизу по винтовой лестнице поднимались шаги, поскрипывая осторожно.

44

Несколько человек остановилось за дверью. Было слышно их дыхание. Гарин громко спросил по-французски:

— Кто там?

— Телеграмма, — ответил грубый голос, — отворите!..

Зоя молча схватила Гарина за плечи, затряса головой. Он увлек ее в угол комнаты, силой посадил на ковер. Сейчас же вернулся к аппарату, крякнул:

— Подсуньте телеграмму под дверь.

— Когда говорят — отворите, нужно отворять, — зарычал тот же голос.

Другой, осторожный, спросил:

— Женщина у вас?

— Да, у меня.

— Выдайте ее, вас оставим в покое.

— Предупреждаю, — свирепо проговорил Гарин, — если вы не уберетесь к черту, через минуту ни один из вас не останется в живых...

— О-ля-ля!.. О-хо-хо!.. Гы-гы!.. — завyli, заржали голоса, и на дверь навалились, закружилась фарфоровая ручка, посыпались с косяков куски штукатурки. Зоя не сводила глаз с лица Гарина. Он был бледен, движения быстры и уверенны. Присев на корточки, он прикручивал в аппарате микрометрический винт. Вынул несколько спичек и положил на стол рядом с коробкой. Взял револьвер и выпрямился, ожидая. Дверь затрещала. Вдруг от удара посыпалось оконное стекло, колыхнулась портьера. Гарин сейчас же выстрелил в окно. Присел, чиркнул спичкой, сунул ее в аппарат и захлопнул сферическую крышку.

Прошла всего секунда тишины после его выстрела. И сейчас же началась атака одновременно на дверь и на окно. В дверь стали бить чем-то тяжелым, от филеенок полетели щепы. Портьера на окне завилась и упала вместе с карнизом.

— Гастон! — вскрикнула Зоя. Через железную решетку окна лез Утиный Нос, держа во рту жуп-наваху. Дверь еще держалась. Гарин, белый как бумага, прикручивал микрометрический винт, в левой руке его плясал револьвер. В аппарате билось, гудело плямя. Кружочек света на стене (против дула аппарата) уменьшался, — задымилась обои. Гастон, косясь на револьвер, двигался вдоль стены, весь подбирался перед прыжком. Нож он держал уже в руке, по-испански — лезвием к себе. Кружочек света стал ослепительной точкой. В разбитые филеенки двери лезли усатые морды... Гарин схватил обеими руками

аппарат и дулом направил его на Утнего Носа...

Зоя увидела: Гастон разинул рот, не то чтобы крикнуть, не то чтобы заглотить воздух... Дымная полоса прошла поперек его груди, руки поднялись было и упали. Он опрокинулся на ковер. Голова его вместе с плечами, точно кусок хлеба, отвалилась от нижней части туловища.

Гарин повернул аппарат к двери. По пути «лучевой шиур» разрезал провод, — лампочка под потолком погасла. Ослепительный, тонкий, прямой, как игла, луч из дула аппарата чиркнул поверх двери, — посыпались осколки дерева. Скользнул ниже. Раздался короткий вопль, будто раздвинули кошку. В темноте кто-то шархнулся. Мягко упало тело. Луч танцевал на высоте двух футов от пола. Послышался запах горящего мяса. И вдруг стало тихо, только гудело пламя в аппарате.

Гарин покашлял, сказал плохо повинующимся, хрипловатым голосом:
— Конечно со всеми.

За разбитым окном ветерок налетел на невидимые лыжи, они зашестели по-ночному — сонно. Из темноты, снизу, где неподвижно стояли машины, крикнул по-русски:

— Петр Петрович, вы живы? — Гарин появился в окне. — Осторожнее, это я, Шельга. Помните наш уговор? У меня автомобиль Роллинга. Надо бежать. Спасайте аппарат. Я жду...

45

Вечером, как обычно по воскресеньям, профессор Рейхер играл в шахматы у себя, на четвертом этаже, на открытом небольшом балконе. Партнером был Генрих Вольф, его любимый ученик. Они курили, уставясь в шахматную доску. Вечерняя заря давно погасла в конце длинной улицы. Черный воздух был душен. Не шевельлся плещ, обвивавший выступы веранды. Внизу, под звездами, лежала пустынная асфальтовая площадь.

Покряхтывая, посапывая, профессор разрешал ход. Поднял плотную руку с желтоватыми ногтями, но не дотронулся до фигуры. Вынул изо рта окуроч сгари.

— Да. Нужно подумать.

— Пожалуйста, — ответил Генрих. Его красивое лицо с широким лбом, резко очерченными подбородком, короткими прямыми носом выражало покой могучей машины. У профессора было больше темперамента (старое поколение), — стального цвета борода растрепалась, на морщинистом лбу лежали красные пятна.

Высокая лампа под широким цветным абажуром освещала их лица. Несколько чахлах зелененьких существ кружились у лампочки, сидели на свежепроглаженной скатерти, торпача уснул, глядя точечками глаз и, должно быть, не понимая, что имеют честь присутствовать при том, как два бога тешатся

игрою небожителей. В комнате часы пробили десять.

Фрау Рейхер, мать профессора, чистенькая старушка, сидела неподвижно. Читать и вязать она уже не могла при искусственном свете. Вдали, где в черной ночи горели окна высокого дома, угадывались огромные пространства каменного Берлина. Если бы не сын за шахматной доской, не тихий свет абажура, не зелененькие существа на скатерти, ужас, давно прилежший в душе, поднялся бы опять, как много раз в эти годы, и высунул бескровное личико фрау Рейхер. Это был ужас перед надвигающимися на город, на этот балкон миллионами. Их звали не Фрицы, Иоганны, Генрихи, Отто, а масса. Один как один, — плохо выбранные, в бумажных манишках, покрытые железной, свинцовой пылью, — они по временам заполняли улицы. Они многого хотели, выпячивая тяжелые челюсти.

Фрау Рейхер вспомнила блаженное время, когда ее жених, Отто Рейхер, вернулся из-под Седана победителем французского императора. Он весь пропах солдатской кожей, был бородач и громогласен. Она встретила его за городом. На ней было голубое платьице, и ленты, и цветы. Германия летела к победам, к счастью вместе с веселой бородой Отто, вместе с гордостью и надеждами. Скоро весь мир будет завоеван...

Прошла жизнь фрау Рейхер. И настала и прошла вторая война. Кое-как вытащили ноги из болота, где гнили миллионы человеческих трупов. И вот — появились массы. Взгляни любому под каскетку в глаза. Это не немецкие глаза. Их выражение упрямо, невесело, не постижимо. К их глазам нет доступа. Фрау Рейхер охватывал ужас.

На веранде появился Алексей Семенович Хлынов. Он был по-воскресному одет в чистенький серый костюм.

Хлынов поклонился фрау Рейхер, пожелал ей доброго вечера и сел рядом с профессором, который добродушно сморщился и с юмором подмигнул шахматной доске. На столе лежали журналы и иностранные газеты. Профессор, как и всякий интеллигентный человек в Германии, был беден. Его гостеприимство ограничивалось мягким светом лампы на свежешагнутой скатерти, предложенной сигарой в двадцать пфенингов и беседой, стоявшей, пожалуй, дороже ужина с шампанским и прочими излишествами.

В будни от семи утра до семи вечера профессор бывал молчалив, деловит и суров. По воскресеньям он «охотно отправлялся с друзьями на прогулку в страну фантазии». Он любил поговорить «от одного до другого конца сгари».

— Да, надо подумать, — опять сказал профессор, закутываясь дымом.

— Пожалуйста, — холодно-вежливо ответил Вольф.

Хлынов развернул парижскую «Л'Энтраинсжан» и на первой странице под заголовком «Таинственное преступление в Вилье Давре» увидел синюю, изображающую семерых лю-

дей, разрезанных на куски. «На куски так на куски», — подумал Хлынов. Но то, что он прочел, заставило его задуматься:

«...Нужно предполагать, что преступление совершено каким-то неизвестным до сих пор орудием, либо раскаленной проволокой, либо тепловым лучом огромного напряжения. Нам удалось установить национальность и внешний вид преступника: это, как и надо было ожидать, — русский (следовало описание наружности, данное хозяйкой гостиницы). В ночь преступления с ним была женщина. Но дальше все загадочно. Быть может, несколько приподнимет завесу кровавая находка в лесу Фонтенебло. Там, в тридцати метрах от дороги, найден в бесчеловечном состоянии неизвестный. На теле его оказались четыре огнестрельные раны. Документы и все, устанавливающее его личность, похищено. По-видимому, жертва была сброшена с автомобиля. Привести в сознание его до сих пор еще не удалось...»

46

— Шах! — воскликнул профессор, взмахнув взятым конем. — Шах и мат! Вольф, вы разбиты, вы оккупированы, вы на коленях, шестьдесят шесть лет вы платите репарации. Таков закон высокой империалистической политики.

— Реванш? — спросил Вольф.

— О нет, мы будем наслаждаться всеми преимуществами победителя.

Профессор потрепал Хлынова по колену.

— Что вы такое вычитали в газетке, мой юный и непримиримый большевик? Семь разрезанных французов? Что поделалась, — победители всегда склонны к излишества. История стремится к равновесию. Пессимизм — вот что притаскивают победители к себе в дом вместе с награбленным. Они начинают слишком жирно есть. Желудок их не справляется с жирами и отравляет кровь отвратительными ядами. Они режут людей на куски, вешаются на подъяжках, кидаются с мостов. У них пропадает любовь к жизни. Оптимизм — вот что остается у побежденных взамен награбленного. Великолепное свойство человеческой воли — верить, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Пессимизм должен быть выдернут с корешками. Угрюмая и кровавая мистика Востока, безнадёжная печаль эллинской цивилизации, разнуданные страсти Рима среди дымящихся развалин городов, изуверство средних веков, каждый год ожидающих конца мира и Страшного суда, и наш век, строящий картонные домики благополучия и глотающий нестерпимую чужь кинематографа, — на каком основании, я спрашиваю, построена эта чахлая психика царя природы? Основание — пессимизм... Проклятый пессимизм... Я читал вашего Ленина, мой дорогой... Это великий оптимист. Я его уважаю...

— Вы сегодня в превосходном настроении, профессор, — мрачно сказал Вольф.

— Вы знаете почему? — Профессор откинулся на плетеном кресле, подбородок его собрался морщинами, глаза весело, молодо, посматривали из-под бровей. — Я сделал прелюбопытнейшее открытие... Я получил некоторые сводки, и сопоставил некоторые данные, и неожиданно пришел к удивительному заключению... Если бы германское правительство не было шайкой авантюристов, если бы я был уверен, что мое открытие не попадет в руки жуликам и грабителям, — я бы, пожалуй, опубликовал его... Но нет, лучше молчать...

— С нами-то, надеюсь, вы можете поделиться, — сказал Вольф.

Профессор лукаво подмигнул ему:

— Что бы вы, например, сказали, мой друг, если бы я предложил честному германскому правительству... вы слышите, — я подчеркиваю: «честному», в это я вкладываю особенный смысл... — предложил бы любые запасы золота?

— Откуда? — спросил Вольф.

— Из земли, конечно...

— Где эта земля?

— Безразлично. Любая точка земного шара... Хотя бы в центре Берлина. Но я не предлагаю. Я не верю, чтобы золото обогатило вас, меня, всех Фрицев, Мхелей... Пожалуй, мы станем еще бедней... Один только человек, — он обернул к Хлынову седовласую лынную голову, — ваш соотечественник, предложил сделать настоящее употребление из золота... Вы понимаете?

Хлынов усмехнулся, кивнул.

— Профессор, я привык слушать вас серьезно, — сказал Вольф.

— Я постараюсь быть серьезным. Вот у них в Москве зимние морозы доходят до тридцати градусов ниже нуля, вода, выплывающая с третьего этажа, падает на тротуар шарками льда. Земля носится в межпланетном пространстве десять — пятнадцать миллиардов лет. Должна была она остыть за этот срок, черт возьми? Я утверждаю — земля давным-давно остыла, отдала лучеиспусканием все свое тепло межпланетному пространству. Вы спросите: а вулканы, расплавленная лава, горячие гейзеры? Между твердой, слабо нагреваемой солнцем земной корой и всей массой земли находится пояс расплавленных металлов, так называемый Оливниновый пояс. Он происходит от непрерывного атомного распада основной массы земли. Эта основная масса представляет шар температуры межпланетного пространства, то есть в нем двести семьдесят три градуса ниже нуля. Продукты распада — Оливниновый пояс — не что иное, как находящиеся в жидком состоянии металлы: оливин, ртуть и золото. И нахождение их, по моим данным, не так глубоко: от пятнадцати до трех тысяч метров глубины. Можно в центре Берлина пробить шахту, и расплавленное золото само хлынет, как нефть, из глубины Оливнинового пояса...

— Логично, заманчиво, но невероятно, — после молчания проговорил Вольф. — Пробить современными орудиями шахту такой глубины — невозможно...

Хлынов положил руку на развернутый лист «Л'Энтраисжан».

— Профессор, этот снимок напомнил мне разговор на аэроплане, когда я летел в Берлин. Задача пробраться к распадающимся элементам земного центра не так уже ивевротна.

— Какое это имеет отношение к разрезаным французам? — спросил профессор, опять раскуривая сигару.

— Убийство в Вилль Давре совершенно тепловым лучом.

При этих словах Вольф придвинулся к столу, холодное лицо его насторожилось.

— Ах, опять эти лучи, — профессор сморщился, как от кислого, — вздор, блеф, утка, запускаемая английским военным министерством.

— Аппарат построен русским, я знаю этого человека, — сказал Хлынов, — это талантливый изобретатель и крупный предприниматель.

Хлынов рассказал все, что знал об инженере Гариин: об его работах в политехническом институте, о преступлении на Крестовском острове, о странных находках в подвале дачи, о вызове Шельги в Париж и о том, что, видимо, сейчас идет бешеная охота за аппаратом Гариина.

— Свидетельство налицо, — Хлынов указал на фотографию, — это работа Гариина.

Вольф хмуро рассматривал снимок. Профессор проговорил рассеянно:

— Вы полагаете, что при помощи тепловых лучей можно бурить землю? Хотя... при трехтысячной температуре расплавятся и глины и гранит. Очень, очень любопытно... А нельзя ли куда-нибудь телеграфировать этому Гариину? Гм... Если соединить бурение с искусственным охлаждением и поставить электрические элеваторы для отчерпывания породы, можно пробраться глубоко... Друг мой, вы меня чертовски заинтересовали...

До второго часа ночи, сверх обыкновения, профессор ходил по веранде, дымил сигарой и развешивал планы, один удивительнее другого.

Обычно Вольф, уходя от профессора, прощался с Хлыновым на площади. На этот раз он пошел рядом с ним, постукивая тростью, опустив нахмуренное лицо.

— Ваше мнение таково, что инженер Гариин скрылся вместе с аппаратом после истории в Вилль Давре? — спросил он.

— Да.

— А эта «кровавая находка в лесу Фонтенбле» не может оказаться Гарииним?

— Вы хотите сказать, что Шельга захватил аппарат?..

— Вот именно...

— Мне это не приходило в голову... Да, это было бы очень неплохо.

— Я думаю, — подняв голову, насмешливо сказал Вольф.

Хлынов быстро взглянул на собеседника. Оба остоивались. Издалека фонарь освещал лицо Вольфа, — злую усмешку, холодные глаза, упрямый подбородок. Хлынов сказал:

— Во всяком случае, все это только догадки, нам пока еще незачем ссориться.

— Я понимаю, понимаю.

— Вольф, я с вами не хитрю, но говорю твердо, — необходимо, чтобы аппарат Гариина оказался в СССР. Одним этим желанием создаю в вас врага. Честное слово, дорогой Вольф, у вас очень смутные понятия, что вредно и что полезно для вашей родины.

— Вы стараетесь меня оскорбить?

— Фу-ты, черт! Хотя — правда. — Хлынов чисто по-русски, что сразу отметил Вольф, двинул шляпу на сторону, почесал за ухом. — Да разве после того, как мы перебили друг у друга миллионы семь человек, можно еще обижаться на слова?.. Вы — немец от головы до ног, бронированная пехота, производитель машин, у вас и нервы, я думаю, другого состава. Слушайте, Вольф, попади в руки таким, как вы, аппарат Гариина, чего вы только не изтворите...

— Германия никогда не примирится с унижением.

Они подошли к дому, где в первом этаже Хлынов снимал комнату. Молча простились. Хлынов ушел в ворота. Вольф стоял, медленно катая между зубами погасшую сигару. Вдруг окно в первом этаже распахнулось, и Хлынов взволнованно высунулся:

— А... Вы еще здесь?.. Слава богу. Вольф, телеграмма из Парижа, от Шельги... Слушайте: «Преступник ушел. Я ранен, встану не скоро. Опасность величайшая, неизмеримая грозит миру, Необходим ваш приезд».

— Я еду с вами, — сказал Вольф.

На белой колеблющейся шторе бегали тени от листвы. Неумолкаемое журчанье слышалось за шторой. Это на газоне большого сада из переисных труб распылялась вода среди радуг, стекала каплями с листьев платана перед окном.

Шельга дремал в белой высокой комнате, освещенной сквозь штору.

Издалека доносился шум Парижа. Близкими были звуки — шорох деревьев, голоса птиц и однообразный плеск воды.

Неподалеку кричал автомобиль или раздавались шаги по коридору. Шельга быстро открывал глаза, остро, тревожно глядел на дверь. Пошевелился он не мог. Обе руки его были окованы гипсом, грудь и голова забинтованы. Для защиты — один глаз. И снова сладкие звуки из сада навевали сон.

Разбудила сестра-кармелитка¹, вся в белом, осторожно полными руками поднесла к губам Шельги фарфоровый соусник с чаем. Когда ушла, остался запах лаванды.

Между сном и тревогой проходил день. Это были бездумные сутки после того, как Шельгу, без чувств, окровавленного, подняли в лесу Фонтенебло.

Его уже два раза допрашивал следователь. Шельга дал следующие показания:

— В двенадцатом часу ночи на меня напали двое. Я защищался тростью и кулаками. Получил четыре пули, больше ничего не помню.

— Вы хорошо рассмотрели лица нападавших?

— Их лица — вся нижняя часть — были закрыты платками.

— Вы защищались также и тростью?

— Просто это был сучок, — я его подобрал в лесу.

— Зачем в такой поздний час вы попали в лес Фонтенебло?

— Гулял, осматривал дворец, пошел обратно лесом, заблудился.

— Чем вы объясните то обстоятельство, что вблизи места покушения на вас обнаружены свежие следы автомобиля?

— Значит, преступники приехали на автомобиле.

— Чтобы ограбить вас? Или чтобы убить?

— Ни то, ни другое, я думаю. Меня никто не знает в Париже. В посольстве я не служу. Политической миссии не выполняю. Денег с собой не имею.

— Стало быть, преступники ожидали не вас, когда стояли у двойного дуба, на поляне, где один курил, другой потерял запонку с ценной жемчужиной?

— По всей вероятности, это были светские молодые люди, прогнавшиеся на скачках или в казино. Они искали случая поправить дела. В лесу Фонтенебло мог погостить человек, набитый тысячефранковыми билетами.

На втором допросе, когда следователь предъявил копию телеграммы в Берлин Хлынову (переданную следователю сестрой-кармелиткой), Шельга ответил:

— Это шифр. Дело касается поимки серьезного преступника, ускользнувшего из России.

— Вы могли бы говорить со мною более откровенно?

— Нет. Это не моя тайна.

На вопросы Шельга отвечал точно и ясно, глядя в глаза честно и даже глуповато. Следователю оставалось только поверить в его искренность.

Но опасность не миновала. Опасностью были пропитаны столбцы газет, полные подробностями «кошмарного дела в Вилль Давре», опасность была за дверью, за белой шторой, колеблемой ветром, в фарфоровом соуснике, подносимом к губам полными руками сестры-кармелитки.

Спасение в одном: как можно скорее снять гипс и повязки. И Шельга весь застыл, без движения, в полудремоте.

50

...В полудремоте ему вспомнилось:

Фонари потушены. Автомобиль замедлил ход... В окошко машины высунулся Гарин и — громким шепотом:

— Шельга, спорачивайте. Сейчас будет поляна. Там...

Грузно тряхнувшись на шоссе канаве, автомобиль прошел между деревьями, повернулся и стал.

Под звездами лежала извилистая полянка. Смутно в тени деревьев громоздились скалы.

Мотор выключен. Остро запахло травой. Сонно плескался ручей, над ним висел туманчик, уходя неясным полотнищем в глубь поляны.

Гарин выпрыгнул на мокрую траву. Протянул руку. Из автомобиля вышла Зоя Монроз в глубоко надвинутой шапочке, подняла голову к звездам. Передернула плечами.

— Ну, вылезайте же, — резко сказал Гарин.

Тогда из автомобиля, головой вперед, вылез Роллинг. Из-под тени котелка его блестящие золотые зубы.

Плескалась, бормотала вода в камнях. Роллинг вытащил из кармана руку, стиснутую, видимо, уже давно в кулак, и заговорил глуховатым голосом:

— Если здесь готовится смертный приговор, я протестую. Во имя права. Во имя человечности... Я протестую как американец... Как христианин... Я предлагаю любой выкуп за жизнь.

Зоя стояла спиной к нему. Гарин проговорил брезгливо:

— Убить вас я мог бы и там...

— Выкуп? — быстро спросил Роллинг.

— Нет.

— Участие в ваших... — Роллинг мотнул щеками, — в ваших странных предприятиях?

— Да. Вы должны это помнить... На бульваре Мальзерб... Я говорил вам...

— Хорошо, — ответил Роллинг, — завтра я вас приму... Я должен продумать заново ваш предложенья.

Зоя сказала негромко:

— Роллинг, не говорите глупостей.

— Мадемуазель! — Роллинг подскочил, котелок сехал ему на нос, — мадемуазель... Ваше поведение неслыханно... Предательство... Разврат...

Так же тихо Зоя ответила:

— Ну вас к черту! Говорите с Гаринным.

Тогда Роллинг и Гарин отошли к двойному дубу. Там вспыхнул электрический фонарик. Нагнулись две головы. Несколько секунд было слышно только, как плескался ручей в камнях.

¹ Кармелиты — монашеский орден. (Примеч. А. Н. Толстого.)

— ...Но нас не трое, нас четверо... здесь есть свидетель, — долетел до Шельги резкий голос Роллинга.

— Кто здесь, кто здесь? — сотрясаясь, сквозь дремоту пробормотал Шельга. Зрачки его расширились во весь глаз.

Перед ним на белом стульчике, — со шляпой на коленях, — сидел Хлынов.

51

— Не предугадал хода... Думать времени не было, — рассказывал ему Шельга, — сыграл такого дурака, что — иу.

— Ваша ошибка в том, что вы взяли в автомобиль Роллинга, — сказал Хлынов.

— Какой черт я взял... Когда в гостинице началась пальба и резня, Роллинг сидел, как крыса, в автомобиле, — ошестинился двумя кольтами. Со мною оружия не было. Я влез на балкон и видел, как Гарин расправился с бандитами... Сообщил об этом Роллингу... Он струслил, зашнел, изотрез отказался выходить из машины... Потом он пытался стрелять в Зою Монроз. Но мы с Гариним свернули ему руки... Долго возиться было некогда, я вскочил за руль — и ходу...

— Когда вы были уже на полянке и они совещались около дуба, неужели вы не поняли?..

— Понял, что мое дело — ящик. А что было делать? Бежать? Ну, знаете, я все-таки спортсмен... К тому же у меня и план был весь разработан... В кармане фальшивый паспорт для Гарина с десятью визами... Аппарат его, — рукой взят, — в автомобиле... При таких обстоятельствах мог я о шкуре своей очень-то думать?..

— Ну, хорошо... Они сговорились...

— Роллинг подписал какую-то бумажку там, под деревом, — я хорошо видел. После этого — слышу — он сказал насчет четвертого свидетеля, то есть меня. Я вполголоса говорю Зое: «Слушайте-ка, давеча мы проехали мимо полисмена, он заметил номер машины. Если меня сейчас убьют, к утру вы все трое будете в стальных наручниках». Знаете, что она мне ответила? Вот женщина!.. Через плечо, не глядя: «Хорошо, я приму это к сведению». А до чего красива!.. Бесовка! Ну, ладно. Гарин и Роллинг вернулись к машине. Я — как и в чем не бывало... Первая села Зоя. Высунулась и что-то проговорила по-английски. Гарни — мне: «Товарищ Шельга, теперь — валяйте: полный ход по шоссе на запад». Я присел перед радиатором... Вот где моя ошибка. У них только и была эта одна минута... Когда машина на ходу, они бы со мной ничего не сделали, побоялись... Хорошо, — завожу машину... Вдруг, в темь, в мозг — будто дом на голову рухнул, хряснули кости, ударило, обожгло светом, опрокинуло навзничь... Видел только — мелькнула перекошенная морда Роллинга. Сукии сын! Четыре пули

в меня запустил... Потом, я открываю глаза, вот эта комната.

Шельга утомился, рассказывая. Долго молчали. Хлынов спросил:

— Где может быть сейчас Роллинг?

— Как где? Конечно, в Парниже. Ворочает прессой. У него сейчас большое наступление на химическом фронте. Деньги лопатой загребает. В том-то все и дело, что я с минуты на минуту жду пулю в окно или яд в соуснике. Он меня все-таки пришлет, конечно...

— Что же вы молчите?.. Немедленно нужно дать знать шефу полиции.

— Товарищ дорогой, вы с ума сошли! Я и жив-то до сих пор только потому, что молчу.

52

— Итак, Шельга, вы своими глазами видели действие аппарата?

— Видел и теперь знаю: пушки, газы, авиопланы — все это детская забава. Вы не забывайте, тут не один Гарин... Гарин и Роллинг. Смертоносная машина и миллиарды. Всего можно ждать.

Хлынов поднял штору и долго стоял у окна, глядя на изумрудную зелень, на старого садовника, с трудом перетаскивающего металлические суставчатые трубы в тенистую сторону сада, на черных дроздов, — они деловито и озабоченно бегали под кустами вербеи, вытаскивали из чернозема дождевых червяков. Небо, синее и прелестное, вечным покоем растланилось над садом.

— А то предоставить их самим себе, пусть развернутся во всем великолепии — Роллинг и Гарин, и конец будет ближе, — проговорил Хлынов. — Этот мир погибнет неминуемо... Здесь один дрозд живет разумно. — Хлынов отвернулся от окна. — Человек каменного века был значительно, несомненно... Бесплатно, только из внутренней потребности, разрывал пещеры, думал, сядя у огня, о мамои-тах, о грозах, о странном вращении жизни и смерти и о самом себе. Черт знает, как это было почтено!.. Мозг еще маленький, череп толстый, но духовная энергия молниями лучилась из его головы... А эти, нынешние, на кой черт им летательные машины? Посадить бы какого-нибудь франта с бульвара в пещеру напротив палеолитического человека. Тот бы, волосатый дядя, его спросил: «Рассказывай, сын больной суки, до чего ты додумался за эти сто тысяч лет?..» — «Ах, ах, — завертелся бы франт, — я, знаете ли, не столько думаю, сколько наслаждаюсь плодами цивилизации, господин прашур... Если бы не опасность революций со стороны черни, то наш мир был бы поистине прекрасен. Женщины, рестораны, немножко волнения за картами в казино, немножко спорта... Но, вот беда, — эти постоянные кризисы и революции — это становится утомительным...» — «Ух ты, — сказал бы на это прашур, впиваясь в франта горящими глазами, — а мне вот нравится ду-у-у-мать, я вот сижу и уважаю мой гениальный мозг... Мне бы хотелось проткнуть им вселенную...»

Хлынов замолчал. Усмехаясь, всматривался в сумрак палеолитической пещеры. Тряхнул головой:

— Чего добиваются Гарии и Роллинг? Щекотки. Пусть они ее называют властью над миром. Все же это не больше, чем щекотка. В прошлую войну погибло тридцать миллионов. Они стараются убить триста. Духовная энергия в глубочайшем обмороке. Профессор Рейхер обедает только по воскресеньям. В остальные дни он кушает два бутерброда с помидорной и с маргарином — на завтрак и отварной картофель с солью — к обеду. Такова плата за мозговую труд... И так будет, пока мы не взорвем всю эту ихнюю «цивилизацию», Гарина посадим в сумасшедший дом, а Роллинга отправим завхозом куда-нибудь на остров Врангеля... Вы правы, иужно бороться... Что же, — я готов. Аппаратом Гарина должен владеть СССР...

— Аппарат будет у нас, — закрыв глаза, проговорил Шельга.

— С какого конца приступить к делу?

— С разведки, как полагаются.

— В каком направлении?

— Гарии сейчас, по всей вероятности, бесшумным ходом строят аппараты. В Вилль Давре у него была только модель. Если он успеет построить боевой аппарат, — тогда его взять будет очень трудно. Первое, — нужно узнать, где он строит аппараты.

— Понадобятся деньги.

— Поезжайте сегодня же на улицу Гренелль, переговорите с нашим послом, я его кое о чем уже осведомил. Деньги будут. Теперь второе, — нужно разыскать Зою Монроз. Это очень важно. Это баба умная, жестокая, с большой фантазией. Она Гарина и Роллинга связала насмерть. В ней вся пружина их машины.

— Простите, бороться с женщинами отказываюсь.

— Алексей Семенович, она посильнее нас с вами... Она еще много крови прольет.

53

Зоя вышла из круглой и низкой ванны, подставила спину, — горничная нагнулась на нее мохнатый халат. Зоя, вся еще покрытая пузырьками морской воды, села на мраморную скамью.

Сквозь иллюминаторы скользили текущие отблески солища, зеленоватый свет играл на мраморных стенах, ванная комната слегка покачивалась. Горничная осторожно вытирала, как драгоценность, ноги Зои, натянула чулки и белые туфли.

— Белье, мадам.

Зоя лениво поднялась, на нее надели почти не существующее белье. Она глядела мимо зеркала, заломив брови. Ее одели в белую юбку и белый, морского покроя, пиджачок с золотыми пуговицами, — как это и полагалось для владелицы трехсотной яхты в Средиземном море.

— Грим, мадам?

— Вы с ума сошли, — ответила Зоя, медленно взглянула на горничную и пошла наверх, на палубу, где с теневой стороны на низком камышовом столике был накрыт завтрак.

Зоя села у стола. Разломил кусочек хлеба и загляделась. Белый узкий корпус моторной яхты скользил по зеркальной воде, — море было асфо-голубое, немного темнее безоблачного неба. Пахло свежестью чисто вымытой палубы. Подувал теплый ветерок, лаская игои под платьем.

На слегка выгнутой, из узких досок, точно замшевой палубе стояли у бортов плетеные кресла, посредине лежал серебристый анатолийский ковер с разбросанными парчовыми подушками. От капитанского мостка до кормы натянут тент из синего шелка с бахромой и кистями.

Зоя вздохнула и начала завтракать.

Мягко ступая, улыбаясь, подошел капитан Янсен, норвежец, — выбритый, румяный, похожий на взрослого ребенка. Неторопливо приложил два пальца к фуражке, надвинутой глубоко на одно ухо.

— С добрым утром, мадам Ламоль. (Зоя плавала под этим именем и под французским флагом.)

Капитан был весь белоснежный, выглаженный, — косолопо, по-морски, изысканный. Зоя оглянула его от золотых дубовых листьев на козырьке фуражки до белых туфель с веревочными подошвами. Осталась удовлетворена.

— Доброе утро, Янсен.

— Имею честь доложить, курс — норд-вест-вест, широта и долгота (такне-то), на горизонте курится Везувий. Неаполь покажется меньше чем через час.

— Садитесь, Янсен.

Движением руки она пригласила его принять участие в завтраке. Янсен сел на заскрипевшую под сильным его телом камышовую банкетку. От завтрака отказался, — он уже ел в девять утра. Из вежливости взял чашечку кофе.

Зоя рассматривала его загорелое лицо со светлыми ресницами, — оно поиемному залилось краской. Не отхлебнув, он поставил чашечку на скатерть.

— Нужно переменить пресную воду и взять бензин для моторов, — сказал он, не поднимая глаз.

— Как, заходить в Неаполь? Какая тоска! Мы встанем на внешнем рейде, если вам так уже нужны вода и бензин.

— Есть встать на внешнем рейде, — тихо проговорил капитан.

— Янсен, ваши предки были морскими пиратами?

— Да, мадам.

— Как это было интересно! Приключения, опасности, отчаянные кутежи, похищение красивых женщин... Вам жалко, что вы не морской пират?

Янсен молчал. Рыжие ресницы его моргали. По лбу пошли складки.

— Ну?

— Я получил хорошее воспитание, мадам.

— Верю.

— Разве что-нибудь во мне дает повод думать, что я способен на противозаконные и нечеловеческие поступки?

— Фу, — сказала Зоя, — такой сильный, смелый, отличный человек, потомок пиратов — и все это, чтобы возить вздорную бабу по теплой скучной луже. Фу!

Но мадам...

— Устройте какую-нибудь глупость, Янсен. Мне скучно...

— Есть устроить глупость.

— Когда будет страшная буря, посадите яхту на камень.

— Есть посадить яхту на камни...

— Вы серьезно это намерены сделать?

— Если вы приказываете...

Он взглянул на Зою. В глазах его были обида и сдерживаемое восхищение. Зоя потянулась и положила руку ему на белый рукав: — Я не шучу с вами, Янсен. Я знаю вас всего три недели, но мне кажется, что вы из тех, кто может быть предан (у него сжались челюсти). Мне кажется, вы способны на поступки, выходящие из пределов лояльности, если, если...

В это время на лакированной, сверкающей бронзой лестнице с капитанского мостика показались сбегающие ноги. Янсен сказал поспешно:

— Время, мадам...

Вниз сошел помощник капитана. Отдал честь:

— Мадам Ламоль, без трех минут двенадцать, сейчас будут вызывать по радио...

54

Ветер парусил белую юбку. Зоя поднялась на верхнюю палубу к рубке радиотелеграфа. Прищурясь, вдохнула соленый воздух. Сверху, с капитанского мостика, необъятным казался солнечный свет, падающий на стекляннорябое море.

Зоя глядела и загляделась, взявшись за перила. Узкий корпус яхты с приподнятым бушпритом летел средн ветерков в этом водянистом свете.

Сердце билось от счастья. Казалось, оторви руки от перил, и полетишь. Чудесное создание — человек. Какими числами измерить неожиданности его превращений? Злые излучения волн, текущий яд вождельний, душа, казалась, разбитая в осколки, — все мучительное темное прошлое Зон отодвинулось, растворилось в этом солнечном свете...

«Я молода, молода, — так казалось ей на палубе корабля, с поднятым к солнцу бушпритом, — я красива, я добра».

Ветер ласкал шею, лицо. Зоя восторженно желала счастья себе. Все еще не в силах оторваться от света, неба, моря, она повернула холодную ручку двери, вошла в хрустальную будку, где с солнечной стороны были задернуты шторы. Взяла слуховые трубки. Положила локти на стол, прикрыла глаза пальцами, — сердцу все еще было горячо. Зоя сказала помощнику капитана:

— Идите.

Он вышел, покосившись на мадам Ламоль. Мало того, что она была чертовски красива, стройна, тонка, «шнкарна», — от нее неизъяснимое волнение.

55

Двойные удары хронометра, как склянки, прозвонили двенадцать. Зоя улыбулась, — прошло всего три минуты с тех пор, как она поднялась с кресла под тентом.

«Нужно научиться чувствовать, раздвигать каждую минуту в вечность, — подумалось ей, — знать: впереди миллионы минут, миллионы вечностей».

Она положила пальцы на рычажок и, подвинув его влево, настроила аппарат на волну сто тридцать семь с половиной метров. Тогда из черной пустоты трубки раздался медленный и жесткий голос Роллинга:

— ...Мадам Ламоль, мадам Ламоль, мадам Ламоль... Слушайте, слушайте, слушайте...

— Да слушаю я, успокойся, — прошептала Зоя.

— ...Все ли у вас благополучно? Не терпите ли бедствия? В чем-либо недостаток? Сегодня в тот же час, как обычно, буду счастлив слышать ваш голос... Волну посылайте той же длины, как обычно... Мадам Ламоль, не удаляйтесь слишком далеко от десяти градусов восточной долготы, сорока градусов северной широты. Не исключена возможность скорой встречи. У нас все в порядке. Дела блестящие. Тот, кому нужно молчать, молчит. Будьте спокойны, счастливы, — безоблачный путь...

Зоя сияла научные трубки. Морщина прорезала ее лоб. Глядя на стрелку хронометра, она проговорила сквозь зубы: «Надоело!» Эти ежедневные радиопризнания в любви ужасно сердили ее. Роллинг не может, не хочет оставить ее в покое... Пойдет на какое угодно преступление в конце концов, только бы позволила ему каждый день хрипеть в микрофон: «...Будьте спокойны, счастливы, — безоблачный путь».

56

После убийств в Вилье Давре и Фонтебель и затем бешеной езды с Гариним по залитым лунным светом пустынным шоссеым дорогам в Гавр Зоя и Роллинг больше не встречались. Он стрелял в нее в ту ночь, пытался оскорбить и затих. Кажется, он даже молча плакал тогда, согнувшись в автомобиле.

В Гавре она села на его яхту «Аризона» и на рассвете вышла в Бискайский залив. В Лиссабоне Зоя получила документы и бумаги на имя мадам Ламоль — она становилась владелицей одной из самых роскошных на Западе яхт. Из Лиссабона пошла в Средиземное море, и там «Аризона» крейсировала у берегов Италии, держась десяти градусов восточной долготы, сорока градусов северной широты.

Немедленно была установлена связь между яхтой и частной радиостанцией Роллинга в Медоне под Парижем. Капитан Яисен докладывал Роллингу обо всех подробностях путешествия. Роллинг ежедневно вызывал Зою. Она каждый вечер докладывала ему о своих «настроениях». В этом одинообразии прошло дней десять, и вот аппараты «Аризоны», шупавшие пространство, приняли короткие волны на непонятном языке. Дали знать Зое, и она услышала голос, от которого остановилось сердце.

— ...Зоя, Зоя, Зоя, Зоя...

Точка огромная муха о стекло, звенел в наушниках голос Гарина. Он повторял ее имя и затем через некоторые промежутки:

— ...Отвечай от часа до трех ночи...

И опять:

— ...Зоя, Зоя, Зоя... Будь осторожна, будь осторожна...

В ту же ночь над темным морем, над спящей Европой, над древними пепелищами Малой Азии, над равнинами Африки, покрытыми иглами и пылью высохших растений, полетели волны женского голоса:

— ...Тому, кто велел отвечать от часа до трех...

Этот вызов Зоя повторяла много раз. Затем говорила:

— ...Хочу тебя видеть. Пусть это иерасумно. Назначь любой из итальянских портов... По имени меня не вызывай, узнаю тебя по голосу...

В ту же ночь, в ту самую минуту, когда Зоя упрямо повторяла вызов, иадеясь, что Гарин где-то, — в Европе, Азии, Африке, — иащупает волны электромагнитов «Аризоны», за две тысячи километров, в Париже, на иочном столике у двухспальной кровати, где одиноко, уткнув нос в одеяло, спал Роллинг, затрещал телефонный звонок.

Роллинг, подскочив, схватил трубку. Голос Семенова поспешно проговорил:

— Роллинг. Она разговаривает.

— С кем?

— Плохо слышно, по имени не иазывает.

— Хорошо, продолжайте слушать. Отчет завтра.

Роллинг положил трубку, снова лег, но сон уже отошел от него.

Задача была иелегка: среди несущихся ураганом над Европой фокстротов, рекламных воплей, церковных хоралов, отчетов о международной политике, опер, симфоний, биржевых бюллетеней, шуточек знаменитых юмористов — уловить слабый голос Зои.

День и ночь для этого в Медоне сидел Семенов. Ему удалось перехватить несколько фраз, сказанных голосом Зои. Но и этого было достаточно, чтобы разжечь ревнивое воображение Роллинга.

Роллинг чувствовал себя отвратительно после ночи в Фонтенебло. Шельга остался жив — висел иад головой страшной угрозой. С Гариним, которого Роллинг с наслаждением повесил бы на сучке, как иегра, был подписан договор. Быть может, Роллинг и заупрямился бы тогда, — лучше смерть, эшафот,

чем союз, — но волю его сокрушала Зоя. Договариваясь с Гариним, он выигрывал время, и, быть может, сумасшедшая женщина оюмнитса, раскатает, вернется... Роллинг действительно плакал в автомобиле, зажмурясь, молча... Это было черт знает что... Из-за распутиной, продажной бабы... Но слезы были солоны и мучительны... Одним из условий договора он поставил длительное путешествие Зои на яхте. (Это было необходимо, чтобы замести следы.) Он иадеялся убедить, усосветить, увлечь ее ежедневными беседами по радио. Эта иадежда была, пожалуй, глупее слез в автомобиле.

По условию с Гариним Роллинг иеменно начал «всеобщее иаступление на химическом фронте». В тот день, когда Зоя села в Гавре на «Аризону», Роллинг поездом вернулся в Париж. Он иавестил полицию о том, что был в Гавре и иа обратном пути, ночью, подвергся иападению бандитов (трое, с лицами, обязанными платками). Они отобрали у него деньги и автомобиль. (Гарин в это время, — как было условлено, — пересек с запада на восток Францию, проскочил границу в Люксембурге и в первом попавшемся канале утопил автомобиль Роллинга.)

«Иаступление на химическом фронте» началось. Парижские газеты иачали грандиозный переполох. «Загадочная трагедия в Вилль Давре», «Тайинственное иападение на русского в парке Фонтенебло», «Наглое ограбление химического короля», «Американские миллиарды в Европе», «Гибель национальнй германской ииустрии», «Роллинг или Москва» — все это умио и ловко было запутано в один клубок, который, разумеется, застрял в горле у обывателя — держателя ценностей. Биржа тряслась до основания. Между серых колонн ее, у черных досок, где истерические руки писали, стирали, писали меловые цифры падающих бумаг, мотались, орали обезумевшие люди с глазами, готовыми лопнуть, с губами в коричневой пене.

Но это гибла плотва, — все это были шуточки. Крупные промышленники и банки, стиснув зубы, держались за пакеты акций. Их ие легко было повалить даже рогами Роллинга. Для этой наиболее серьезной операции и подготавлился удар со стороны Гарина.

Гарин «бешеным ходом», как верию угадал Шельга, строил в Германии аппарат по своей модели. Он развезжал из города в город, заказывая заводам различные части. Для сношения с Парижем пользовался отделом частных объявлений в кельской газете. Роллинг, в свою очередь, помещал в одной из бульварных парижских газет две-три строчки: «Все внимание сосредоточьте на анилине...», «Дорог каждый день, не жалейте денег...» и так далее.

Гарин отвечал: «Окончу скорее, чем предполагал...», «Место иайдено...», «Приступаю...», «Непредвиденная задержка...»

Роллинг: «Тревожусь, назначьте день...»
Гарин ответил: «Отсчитайте тридцать пять со дня подписания договора...»

Приблизительно с этим его сообщением

совпадала ночная телефонограмма Роллингу от Семенова. Роллинг пришел в ярость. — его водили за нос. Тайные сношения с «Аризонкой», помимо всего, были опасны. Но Роллинг не выдал себя ни словом, когда на следующий день говорил с мадам Ламоль.

Теперь, в часы бессонниц, Роллинг стал «продумывать» заново свою «партию» со смертельным врагом. Он нашел ошибки. Гарни оказывался не так уж хорошо защищен. Ошибкой его было согласие на путешествие Зои, — конец партии для него предрешен. Мат будет сказан на борту «Аризони».

57

Но на борту «Аризони» происходило не совсем то, о чем думал Роллинг. Он помнил Зою умной, спокойно-расчетливой, холодной, преданной. Он знал, с какой безразличностью она относилась к женским слабостям. Он не мог допустить, чтобы долго могло длиться ее увлечение этим нищим бродягой, бандитом Гарниным. Хорошая прогулка по Средиземному морю должна прояснить ее ум.

Зоя действительно была как в бреду, когда в Гавре села на яхту. Несколько дней одиночества среди океана успокоили ее. Она пробуждалась, жила и засыпала среди синего света, блеска воды, под спокойный, как вечность, шум волн. Содрагаясь от омерзения, она вспоминала грязную комнату и оскалившийся, стекляннотелый труп Лемуара, закипевшую дымящую полосу поперек груди Утиного Носа, сырую поляну в Фонтенебло и неожиданное выстрелы Роллинга, точно он убивал бешеную собаку...

Но все же ум ее не прояснялся, как надеялся Роллинг. Наяву и во сне чудились как-то дивные острова, мраморные дворцы, уходящие лестницами в океан... Толпы красивых людей, музыка, вьющиеся флаги... И она — повелительница этого фантастического мира...

Сны и видения в кресле под синим тентом были продолжением разговора с Гарниным в Вилль Давре (за час до убийства). Один на свете человек, Гарни, понял бы ее сейчас. Но с ним были связаны и стеклянные глаза Лемуара, и разинутый страшный рот Гастона Утиный Нос.

Вот почему у Зои остановилось сердце, когда неожиданно в трубку радио забормotal голос Гарина... С тех пор она ежедневно звала его, умоляла, грозила. Она хотела видеть его и боялась. Он чудился ей черным пятном в лазурной чистоте моря и неба... Ей нужно было рассказать ему о снах наяву. Спросить, где же его Оливиевый пояс? Зоя металась по яхте, лишая капитана Янсена и его помощника присутствия духа.

Гарни отвечал:

«...Жди. Будет все, что ты захочешь. Только умей хотеть. Желай, сходи с ума — это хорошо. Ты мне нужна такой. Без тебя мое дело мертвое».

Таково было его последнее радио, точно

так же перехваченное Роллингом. Сегодня Зоя ждала ответа на запрос, — в какой точно день его нужно ждать на яхте? Она вышла на палубу и облокотилась о перила. Яхта едва двигалась. Ветер затих. На востоке поднимались испарения еще невидимой земли, и стоял пепельный столб дыма над Везувием.

На мостике капитан Янсен опустил руку с биноклем, и Зоя чувствовала, что он, как зачарованный, смотрит на нее. Да и как было ему не смотреть, когда все чудеса неба и воды были сотворены только затем, чтобы нмн любовалась мадам Ламоль, — у перил над молочнотазуриной бездной.

Невероятным, смешным казалось время, когда за дюжину шелковых чулок, за платье от большого дома, просто за тысячу франков Зоя позволяла слюнявить себя молодчикам с коротенькими пальцами и низкими щеками... Фу!.. Париж, бабки, глупые девки, гнусные мужики, уличная вонь, деньги, деньги, деньги, — какое убожество... Возия в зловонной яме!..

Гарни сказал в ту ночь: «Захотите — и будете именованней бога или чорта, что вам больше по вкусу. Вам захочется уничтожать людей, — иногда в этом бывает потребность, — ваша власть надо всем человечеством... Такая женщина, как вы, найдет применение сокровищам Оливиевого пояса...»

Зоя думала:

«Римские императоры обожествляли себя. Наверно, им это доставляло удовольствие. В наше время это тоже не плохое развлечение. На что-нибудь должны пригодиться людишки. Воплощение бога, живая богиня среди фантастического великоления... Отчего же, — пресса могла бы подготовить мое обожествление легко и быстро. Миром правит сказочно прекрасная женщина. Это имело бы несомненный успех. Построить где-нибудь на островах великоленый город для избранных юношей, предполагаемых любовников богини. Появляться, как богиня, среди этих голодных мальчишек, — недурные эмоции».

Зоя пожалла плечиком и снова посмотрела на капитана:

— Подите сюда, Янсен.

Он подошел, мягко и широко ступая по горячей палубе.

— Янсен, вы не думаете, что я сумасшедшая?

— Я не думаю этого, мадам Ламоль, и не подумам, что бы вы мне ни приказали.

— Благодарю. Я вас назначаю командором ордена божественной Зои.

Янсен моргнул светлыми ресницами. Затем взял под козырек. Опустил руку и еще раз моргнул. Зоя засмеялась, и его губы поползли в улыбку.

— Янсен, есть возможность осуществить самые несбыточные желания... Все, что может придумать женщина в такой знойной полдень... Но нужно будет бороться...

— Есть бороться, — коротко ответил Янсен.

— Сколько узлов делает «Аризона»?

— До сорока.

— Какие суда могут нагнать ее в открытом море?

— Очень немногие...

— Быть может, нам придется выдержать длительную погоню.

— Прикажете взять полный запас жидкого топлива?

— Да. Консервов, пресной воды, шампанского... Капитан Ясен, мы идем на очень опасное предприятие.

— Есть идти на опасное предприятие.

— Но, слышите, я уверена в победе...

Слякки пробила половину первого... Зоя вошла в радиотелефонную рубку. Села к аппарату. Она потрогала рычажок радиоприемника. Откуда-то поймались несколько тактов фоэкстрота.

Сдвинув брови, она глядела на хронометр. Гариин молчал. Она снова стала двигать рычажок, сдерживая дрожь пальцев.

...Незнакомый, медленный голос по-русски проговорил в самое ухо:

«...Если вам дорога жизнь... в пятницу садитесь в Неаполе... в гостинице «Сплеидид» ждите известий до полудня субботы».

Это был конец какой-то фразы, отправленной на долгие волины четыреста двадцать один, то есть станции, которой все это время пользовался Гариин.

58

Третью ночь подряд в комнате, где лежал Шельга, забывали закрывать ставни. Каждый раз он напоминал об этом сестре-кармелитке. Он внимательно смотрел за тем, чтобы завязка, соединяющая половинки створчатых ставней, была зашелкнута как следует.

За эти три недели Шельга настолько поправился, что вставал с койки и пересаживался к окну, поближе к пышилистным ветвям платана, к черным дроздам и радугам над водной пылью среди газона.

Отсюда был виден весь больничный садик, обнесенный каменной глухой стеной. В восемнадцатом веке это место принадлежало монашью, уничтоженному революцией. Монахи не любили любопытных глаз. Стена была высока, и по всему гребню ее поблескивали осколки битого стекла.

Перелезть через стену можно было, лишь подставив с той стороны лестницу. Улички, граничившие с больницей, были тихие и пустынные, все же фонари там горели настолько ярко и так часто слышались в тишине за стеной шаги полицейских, что вопрос о лестнице отпадал.

Разумеется, не будь битого стекла на стене, ловкий человек перемаяхнул бы и без лестницы. Каждое утро Шельга из-за шторы осматривал всю стену до последнего камешка. Опасность грозила только с этой стороны. Человек, посланный Роллингом, вряд ли рискнул бы появиться изнутри гостиницы. Но что убила так или иначе появится, Шельга не сомневался.

Он ждал теперь осмотра врача, чтобы вы-

писаться. Об этом было известно. Врач приезжал обычно пять раз в неделю. На этот раз оказалось, что врач заболел. Шельге заявили, что без осмотра старшего врача его не выпустят. Протестовать он даже и не пытался. Он дал знать в советское посольство, чтобы оттуда ему доставляли еду. Больничный суп он выливал в раковину, хлеб бросал дроздам.

Шельга знал, что Роллинг должен избавиться от единственного свидетеля. Шельга теперь почти не спал, — так велико было возбуждение. Сестра-кармелитка приносила ему газеты, — весь день он работал иожинцами и изучал вырезки. Хлынову он запретил приходить в больницу. (Вольф был в Германии, на Рейне, где собирал сведения о борьбе Роллинга с Германской аининовой компанией.)

Утром, подойдя, как обычно, к окну, Шельга оглядел сад и сейчас же отступил за занавес. Ему стало даже весело. Наконец-то! В саду, с северной стороны, полускрытая липой, к стене была присоединена лестница садовника, верхний конец ее торчал на пол-арши над осколками стекла.

Шельга сказал:

— Ловко, сволочик!

Оставалось только ждать. Все было уже обдуманно. Правая рука его, хотя и свободная от битов, была еще слаба. Левая — в лубках и в гипсе, — сестра крепко прибинтовала ее к груди. Рука с гипсом весила не меньше пятнадцати фунтов. Это было единственное оружие, которым он мог защищаться.

На четвертую ночь сестра опять забыла закрыть ставни. Шельга на этот раз не протестовал и с девяти часов притворился спящим. Он слышал, как хлопали в обоих этажах ставни. Его окошко опять осталось открытым настежь. Когда погас свет, он соскочил с койки и правой слабой рукой и зубами стал распутывать повязку, державшую левую руку.

Он останавливался, не дыша вслушивался. Наконец рука повисла свободно. Он мог разогнуть ее до половины. Выглянул в сад, освещенный уличным фонарем, — лестница стояла на прежнем месте за липой. Он скатал одеяло, суил под простыню, в полутьме казалось, что на койке лежит человек.

За окном было тихо, только падали капли. Лилотовое зарево трепетало в тучах над Парижем. Сюда не долетали шумы с бульваров. Неподвижно висела черная ветвь платана.

Где-то заворчал автомобиль. Шельга насторожился, — казалось, он слышит, как бьется сердце у птицы, спящей на платановой ветке. Прошло, должно быть, много времени. В саду началось поскрипывание и шуршание, точно деревом терли по известке.

Шельга отступил к стене за штору. Опустил гипсовую руку. «Кто? Нет, кто? — подумал он. — Неужели сам Роллинг?»

Зашелестели листья, — встревожился дрозд. Шельга глядел на тускло освещенный из окна паркет, где должна появиться тень человека.

«Стрелять не будет, — подумал он, — надо ждать какой-нибудь дрянки, вроде фосгена...» На паркете стала подниматься тень головы в глубоко надвинутой шляпе. Шельга

стал отводить руку, чтобы сильнее был удар. Тень выдвинулась по плечи, подняла растопыренные пальцы.

— Шельга, товарищ Шельга, — прошептала тень по-русски, — это я, не бойтесь...

Шельга ожидал всего, но только не этих слов, не этого голоса. Невольно он вскрикнул. Выдал себя, и тот человек тотчас одним прыжком перескочил через подоконник. Протянул для защиты обе руки. Это был Гарин.

— Вы ожидали нападения, я так и думал, — торопливо сказал он, — сегодня в ночь вас должны убить. Мне это невыгодно. Я рискую черт знает чем, я должен вас спасти. Идем, у меня автомобиль.

Шельга отделился от стены.

Гарин весело блеснул зубами, увидев все еще отведенную гипсовую руку.

— Слушайте, Шельга, ей-богу, я не виноват. Помните наш уговор в Ленинграде? Я играю честно. Неприятностью в Фонтенебло вы обязаны исключительно этой сволочи Роллингу. Можете верить мне, — идем, дороги секунды...

Шельга проговорил, наконец:

— Ладно, вы меня увезете, а потом что?

— Я вас спрячу... На небольшое время, не бойтесь. Покуда не получу от Роллинга половины... Вы газеты читаете? Роллинг везет как утопленнику, но он не может честно играть. Сколько вам нужно, Шельга? Говорите первую цифру. Десять, двадцать, пятьдесят миллионов? Я выдам расписку...

Гарин говорил негромко, торопливо, как в бреду, — лицо его все дрожало.

— Не будьте дураком, Шельга. Вы что, принципиальный, что ли? Я предлагаю работать вместе против Роллинга... Ну... Едем...

Шельга упрямо мотнул головой:

— Не хочу. Не поеду.

— Все равно — вас убьют.

— Посмотрим.

— Сиделки, сторожа, администрация, — все куплено Роллингом. Вас задушат. Я знаю... Сегодняшней ночи вам не пережить... Вы предупредили ваше посольство? Хорошо, хорошо... Посол потребует объяснений. Французское правительство в крайнем случае извинится... Но вам от этого не легче. Роллинг нужно убрать свидетеля... Он не допустит, чтобы вы перешагнули ворота советского посольства...

— Сказал — не поеду... Не хочу...

Гарин вздохнул. Оглянулся на окно.

— Хорошо. Тогда я вас возьму и без вашего желания. — Он отступил на шаг, сунул руку в пальто.

— То есть как это — без моего желания?

— А вот так...

Гарин, рванув из кармана, вытащил маску с коротким цилиндром противозага, поспешно приложил ее ко рту, и Шельга не успел крикнуть, — в лицо ему ударила струя маслянистой жидкости... Мелькнула только рука Гарина, сжимающая резиновую грушу... Шельга захлебнулся душным, сладким дурманом...

— Есть новости?

— Да. Здравствуйте, Вольф.

— Я прямо с вокзала, голоден, как в восемнадцатом году.

— У вас веселый вид, Вольф. Много узнали?

— Кое-что узнал... Будем говорить здесь?

— Хорошо, но только быстро.

Вольф сел рядом с Хлыновым на гранитную скамью у подножия конного памятника Генриху IV, спиной к черным башням Консьержери. Внизу, там, где остров Сите кончался острым мысом, наклонилась к воде плакучая ветла. Здесь некогда корчились на кошрах рыцари ордена Тамплиеров. Вдали, за десятками мостов, отраженных в реке, сидело солнце в пыльно-оранжевое сияние. На набережных, на железных баржах с песком сидели с удочками французы, добрые буржуа, разоренные инфляцией, Роллингом и мировой войной. На левом берегу, на гранитном парапете набережной, далеко, до самого министерства иностранных дел, скачали под вечерним солнцем букинисты у никому уже больше в этом городе не нужных книг.

Здесь доживал век старый Париж. Еще бродили около книг на набережной, около клеток с птицами, около унылых рыболовов пожилые личности со склеротичными глазами, усами, закрывающими рот, в разлетающихся, в старых соломенных шляпах... Когда-то это был их город... Вои там, черт возьми, в Консьержери ревел Дантон, точно бык, которого волокут на бойню. Вои там, направо, за графитовыми крышами Лувра, где в мареве стоят сады Тюильри, — там были жаркие дела, когда вдоль улицы Риволи взжала картечь генерала Галифе. Ах, сколько золота было у Франции! Каждый камень здесь, — если уметь слушать, — расскажет о великом прошлом. И вот, — сам черт не поймет, — хозяином в этом городе оказался заморское чудовище, Роллинг, — теперь только и остается добром буржуа закинуть удочку и сидеть с опущенной головой... Э-хе-хе! Оля-ля!..

Раскурив крепкий табак в трубке, Вольф сказал:

— Дело обстоит так. Германская Аинлиновая компания — единственная, которая не идет ни на какие соглашения с американцами. Компания получила двадцать восемь миллионов марок государственной субсидии. Сейчас все усилия Роллинга направлены на то, чтобы повалить германский аинилин.

— Он играет на понижение? — спросил Хлынов.

— Продает на двадцать восьмое этого месяца аинилиновые акции на колоссальные суммы.

— Но это очень важные сведения, Вольф.

— Да, мы попали на след. Роллинг, видимо, уверен в игре, хотя акции не упали ни на пфенинг, а сегодня уже двадцатье... Вы понимаете, на что единственно он может рассчитывать?

— Стало быть, у них все готово?

— Я думаю, что аппарат уже установлен.
— Где находятся заводы Анилиновой компании?

— На Рейне, около Н. Если Роллинг свалит анилин, он будет хозяином всей европейской промышленности. Мы не должны допустить до катастрофы. Наш долг спасти германский анилин. (Хлынов пожал плечом, но промолчал.) Я понимаю: чему быть — то будет. Мы с вами вдвоем не остановим натиска Америки. Но черт его знает, история иногда выкидывает неожиданные фокусы.

— Вроде революций?

— А хотя бы и так.

Хлынов взглянул на него с некоторым даже удивлением. Глаза у Вольфа были круглые, желтые, злые.

— Вольф, буржуа не станут спасать Европу.

— Знаю.

— Вот как?

— В эту поездку я рассмотрелся... Буржуа — французы, немцы, англичане, итальянцы — преступно, слепо, цинично распродают старый мир. Вот чем кончилась культура — аукционом.... С молотка!

Вольф побагровел:

— Я обращался к властям, намекал на опасность, просил помочь в розысках Гарина... Я говорил им страшные слова... Мне смеялись в лицо... К черту!.. Я не из тех, кто отступает...

— Вольф, что вы узнали на Рейне?

— Я узнал... Анилиновая компания получила от германского правительства крупные военные заказы. Процесс производства на заводах Анилиновой компании в наиболее сейчас опасной стадии. У них там чуть ли не пятьсот тонн тетрила в работе.

Хлынов быстро поднялся. Трость, на которую он опирался, согнулась. Он снова сел.

— В газетах проскользнула заметка о необходимости возможно отдалить рабочие городки от этих проклятых заводов. В Анилиновой компании занято свыше пятидесяти тысяч человек... Газета, поместившая заметку, была оштрафована... Рука Роллинга...

— Вольф, мы не можем терять ни одного дня.

— Я заказал билеты на одиннадцатичасовой, на сегодня.

— Мы едем в Н.?

— Думаю, что только там можно найти следы Гарина.

— Теперь посмотрите, что мне удалось достать. — Хлынов вынул из кармана газетные вырезки. — Третьего дня я был у Шельг. Он передал мне ход своих рассуждений: Роллинг и Гарин должны сноситься между собой...

— Разумеется. Ежедневно.

— Почтой? Телеграфно? Как вы думаете, Вольф?

— Ни в коем случае. Никаких письменных следов.

— Тогда — радио?

— Чтобы орать на всю Европу... Нет...

— Через третье лицо?

— Нет... Я понял, — сказал Вольф, — ваш Шельга молодчина. Дайте вырезки!

Он разложил их на коленях и внимательно стал прочитывать подчеркнутое красным: «Все внимание сосредоточьте на анилине». «Присутую». «Место найдено».

— «Место найдено», — прошептал Вольф, — это газета из К., городок близ Н. ...Тревожусь, назначьте день», «Отсчитайте тридцать пять со дня подписания договора...» Это могут быть только они. Ночь подписания договора в Фонтенебло — двадцать третьего прошлого месяца. Прибавьте тридцать пять, — будет двадцать восемь, — срок продажи акций анилина...

— Дальше, дальше, Вольф... «Какие меры вами приняты?» — это из К., спрашивает Гарин. На другой день в парижской газете — ответ Роллинга: «Яхта наготове. Прибывает на третий сутки. Будет сообщено по радио». А вот — четыре дня назад — спрашивает Роллинг: «Не будет ли выден свет?» Гарин отвечает: «Кругом пустыню. Расстояние пять километров».

— Иными словам, аппарат установлен в горах: ударить лучше за пять километров можно только с высокого места. Слушайте, Хлынов, у нас ужасно мало времени. Если взять пять километров за радус, — в центре заводы, — нам нужно обшарить местность не менее тридцати пяти километров в окружности. Есть еще какие-нибудь указания?

— Нет. Я только что собирался позвонить Шельге. У него должны быть вырезки за вчерашний и сегодняшний день.

Вольф поднялся. Было видно, как под одеждой его вздулись мускулы.

Хлынов предложил позвонить из ближайшего кафе на левом берегу. Вольф пошел через мост так стремительно, что какой-то старичок с цыплячьей шеей в запачканном пиджаке, пропнитомом, быть может, одинокими слезами по тем, кого унесла война, затряс головой и долго глядел из-под пыльной шляпы вслед бегущим иностранцам:

— О-о! Иностранцы... Когда деньги в кармане, то н толкаются и бегают, как будто бы они дома... О-о... дикари!

В кафе, стоя у цинкового прилавка, Вольфпил содовую. Ему была видна сквозь стекло телефонной будки спина разговаривающего Хлынова, — вот у него поднялись плечи, он весь налез на трубку; выпрямился, вышел из будки; лицо его было спокойно, но белое, как маска.

— Из больницы ответили, что сегодня ночью Шельга исчез. Приняты все меры к его разысканию... Думаю, что он убит.

Трещал хворост в очаге, прокопченном за два столетия, с огромными жваыми крючками для колбас и окороков, с двумя каменными святыми по бокам, — на одном висела светлая шляпа Гарина, на другом засаленный офицерский картуз. У стола, освещенные толь-

ко огнем очага, сидели четверо. Перед ними — оплетенная бутылка и полные стаканы вина.

Двое мужчин были одеты по-городскому, — один скуластый, крепкий, с низким ежиком волос, у другого — длинное, злое лицо. Третий, хозяин фермы, где на кухне сейчас происходило совещание, — генерал Субботин, — сидел в одной холщовой грязной рубашке с закатанными рукавами. Начист обритая кожа на голове его двигалась, толстое лицо с взъерошенными усами побарывало от вина.

Четвертый, Гарни, в туристском костюме, небрежно водил пальцем по краю стакана, говорил:

— Все это очень хорошо... Но я настаиваю, чтобы моему пленнику, хотя он и большевик, не было причинено ни малейшего ущерба. Еда — три раза в день, вино, овощи, фрукты... Через неделю я его забираю от вас... Бельгийская граница?..

— Три четверти часа на автомобиле, — торопливо подавшись вперед, сказал человек с длинным лицом.

— Все будет шито-крыто... Я понимаю, господин генерал и господа офицеры (Гарни усмехнулся), что вы, как дворяне, как беззаветно преданные памяти замученного императора, действуете сейчас исключительно из вышних, чисто идейных соображений... Иначе бы я и не обратился к вам за помощью...

— Мы здесь все люди общества, — о чем говорить? — прохрипел генерал, двинув кожей на черепе.

— Условия, повторяю, таковы: за полный пансион пленника я вам плачу тысячу франков в день. Согласны?

Генерал перекатил налитые глаза в сторону товарищей. Скуластый показал белые зубы, длиннотелый опустил глаза.

— Ах, вот что, — сказал Гарни, — вино, вода, господа, — задаток...

Он вынул из револьверного кармана пачку тысячефранковых билетов и бросил ее на стол в лужу вина.

— Пожалуйста...

Генерал крикнул, подвинул к себе пачку, осмотрел, вытер ее о живот и стал считать, сопя волосатыми ноздрями. Товарищи его по-прежнему стали придвигаться, глаза их поблескивали.

Гарни сказал, вставая:

— Введите пленника.

61

Глаза Шельги были завязаны платком. На плечах накинута автомобильное кожаное пальто. Он почувствовал тепло, идущее от очага, — ноги его задрожали. Гарни подставил табурет. Шельга сейчас же сел, уронив на колени гипсовую руку.

Генерал и оба офицера глядели на него так, что, казалось, дай знак, мигни, — от человека рожки да ножки останутся. Но Гарни не подал знака. Потрепав Шельгу по колену, сказал весело:

— Здесь у вас ни в чем не будет недостат-

ка. Вы у порядочных людей, — им хорошо заплачено. Через несколько дней я вас освобожу. Товарищ Шельга, дайте честное слово, что вы не будете пытаться бежать, скандалить, привлекать внимание полиции.

Шельга отрицательно мотнул опущенной головой. Гарни нагнулся к нему:

— Ваше трудно будет поручиться за удобство нашего пребывания... Ну, даете?

Шельга проговорил медленно, негромко:

— Даю слово коммуниста... (Сейчас же у генерала брента голова на черепе ползла к ушам, офицеры быстро переглянулись, нехорошо усмехнулись.) Даю слово коммуниста, — убить вас при первой возможности, Гарни... Даю слово отнять у вас аппарат и привезти его в Москву... Даю слово, что двадцать восьмого...

Гарни не дал ему договорить. Схватил за горло...

— Замолчи... Идиот!.. Сумасшедший!..

Обернулся и — повелительно:

— Господа офицеры, предупреждаю вас, этот человек очень опасен, у него навязчивая идея...

— Я и говорю, — самое лучшее держать его в винном погребе, — пробасил генерал. — Увести пленника...

Гарни взмахнул бородкой. Офицеры подхватили Шельгу, втокнули в боковую дверь и поволокли в погреб. Гарни стал натягивать автомобильные перчатки.

— В ночь на двадцать девятое я буду здесь. Тридцатого вы можете, ваше превосходительство, прекратить опыты над разведенным кроликом, купить себе каюту первого класса на трансатлантическом пароходе и жить баринком хоть на Пятом авеню в Нью-Йорке.

— Нужно оставить какие-нибудь документы для этого сукиного кота, — сказал генерал.

— Пожалуйста, любой паспорт на выбор.

Гарни вынул из кармана сверток, переверзанный бечевкой. Это были документы, похищенные им у Шельги в Фонтенебло. Он еще не заглядывал в них за недосугом.

— Здесь, видимо, паспорта, приготовленные для меня. Предусмотрительно... Вот, пожалуйста, ваше превосходительство...

Гарни швырнул на стол паспортную книжку и, продолжая рыться в бумажнике, — чем-то заинтересовался, — придвинулся к лампе. Брови его сдвинулись.

— Черт! — И он кинулся к боковой двери, куда утащили Шельгу.

62

Шельга лежал на каменном полу на матрасе. Керосинная копилка освещала сводчатый погреб, пустые бочки, заросли паутины. Гарни некоторое время искал глазами Шельгу. Стоя перед ним, покусывал губы.

— Я погорячился, не сердитесь, Шельга. Думаю, что все-таки мы найдем с вами общий язык. Договоримся. Хотите?

— Попытайтесь.

Гарни говорил вкрадчиво, совсем по-другому.

му, чем десять минут назад. Шельга pastорожился. Но пережитое за эту ночь волнение, еще гудящие во всем теле остатки усыпительного газа и боль в руке ослабляли его внимание. Гарин присел на матрац. Закурил. Лицо его казалось задумчивым, и весь он — благожелательный, изысканный...

«К чему, подлец, гнет? К чему гнет?» — думал Шельга, морщась от головной боли.

Гарин обхватил колено, закурил папиросу, поднял глаза к сводчатому потолку.

— Видите ли, Шельга, прежде всего вам нужно усвоить, что я никогда не лгу... Может быть, из презрения к людям, но это неважно. Итак: Роллинг с его миллиардами нужен мне до поры до времени, только... Так же, как и я нужен Роллингу... Это он, кажется, уже понял, несмотря на тугош... Роллинг приехал сюда, чтобы колонизировать Европу. Если он этого не сделает, он полнет у себя в Америке со своими миллиардами. Роллинг — животное, все его задача — переть вперед, бодать, топтать. У него ни на грош фантазии... Единственная стена, о которую он может расширить башку, — это Советская Россия. Он это понимает, и вся его ярость направлена на ваше дорогое отечество... Русским я себя не считаю (добавил он торопливо), я интернационалист...

— Разумеется, — с презрительной усмешкой сказал Шельга.

— Наши взаимоотношения таковы: до некоторого времени мы работаем вместе...

— До двадцати восьмого...

Гарин быстро, с блестящими глазами, с юмором взглянул на Шельгу.

— Вы это высчитали? По газетам?

— Может быть...

— Хорошо... Пусть до двадцати восьмого. Затем непременно мы должны вгрызться друг другу в печеньку... Если одолеет Роллинг — Советской России это будет вдвойне ужасно: мой аппарат окажется у него в руках, и тогда с ним бороться будет вам чрезвычайно трудно... Так вот, тем самым, товарищ Шельга, что вы пробудете здесь с неделей в соседстве с пауками, вы страшно, неизмеримо увеличиваете возможность моей победы.

Шельга закрыл глаза. Гарин сидел у него в ногах и курил короткими затяжками. Шельга проговорил:

— На какой черт вам мое согласие, вы и без согласия продержите меня здесь, сколько влезет. Говорите уж прямо, что вам нужно...

— Давно бы так... А то — слово коммуниста... Ей-богу, давеча вы мне так больно сделали, так досадно... Сейчас, кажется, вы уже начинаете разбираться. Мы с вами враги, правда... Но мы должны работать вместе... С вашей точки зрения я — выродок, величайший индивидуалист... Я, Петр Петрович Гарин, милостью сил, меня создавших, с моим мозгом, — не улыбайтесь, Шельга, — гениальный, да, да, с неизжитыми страстями, от которых мне и самому тяжело и страшно, с моей жаждой и беспринципностью, противопоставляю себя, буквально — противопоставляю себя человечеству.

— Ух ты, — сказал Шельга, — ну и сволочь...

— Именно: «Ух ты, сволочь», вы меня поняли. Я — сластолюбец, все секунды моей жизни я стремлюсь отдать наслаждению. Я бешено тороплюсь покончить с Роллингом, потому что теряю эти драгоценные секунды. Вы — там, в России, — воинствующая, материализованная идея. У меня нет никакой идеи, — сознательно, религиозно ненавижу всякую идею. Я поставил себе цель: создать такую обстановку (подробно рассказывать не буду, вы утомитесь), окружить себя таким излишеством, — сады Семирамиды и прочий восточный вздор — чухлая фантастика перед моим раем. Я призову всю науку, всю индустрию, все искусство служить мне. Шельга, вы понимаете, что я для вас — опасность отдаленная и весьма фантастичная. Роллинг — опасность конкретная, близкая, страшная. Поэтому до известной точки мы с вами должны идти вместе, до тех пор, пока Роллинг не будет растоптан. Большого я не прошу.

— В чем вы хотите, чтобы выразилась моя помощь? — сквозь зубы проговорил Шельга.

— Нужно, чтобы вы совершили небольшую прогулку по морю.

— Иными словами, вы хотите продолжать мой плен?

— Да.

— Что дадите за то, чтобы я не позвал на помощь первого попавшегося полицейского, когда вы повезете меня к морю?

— Любую сумму.

— Не хочу никакой суммы!

— Ловко, — сказал Гарин и повертелся на тюфяке. — А за модель моего аппарата согласитесь? (Шельга засопел.) Не верите? Обману, не отдам? Ну-ка, подумайте, — обману или нет? (Шельга дернул плечом.) То-то... Идея аппарата проста до глупости... Никакими силами я не смогу долго держать ее в секрете. Такова судьба гениальных изобретений. После двадцати восьмого во всех газетах будет описано действие инфракрасных лучей, и немцы, именно немцы, ровно через полгода построят точно такой же аппарат. Я ничем не рискую. Берите модель, везите ее в Россию. Да, кстати, у меня ваши паспорта и бумаги... Пожалуйста, они не нужны больше... Простите, что я в них порылся. Я страшно любопытен... Что это у вас за снимок татуированного мальчишка?

— Так, один беспризорный, — сейчас же ответил Шельга, понимая сквозь головную боль, что Гарин подбирается к самому главному, для чего и пришел в подвал.

— На обороте карточки помечено дванадцатое число прошлого месяца, значит, вы снимали мальчишку накануне отъезда?.. И фотографию взяли с собой, чтобы показать мне? В Ленинграде вы ее никому не показывали?

— Нет, — сквозь зубы ответил Шельга.

— А мальчишку куда дели? Так, так, я и не заметил, — тут даже имя поставлено: Иван Гусев. В гробном клубе, что ли, снимали, и на террасе? Унаю, места знакомые... Что же вам мальчишка рассказывал? Манцев жив?

— Жив.

— Он нашел то, что они там искали?

— Кажется, нашел.

— Вот видите, я всегда верил в Маицева.

Гарин рассчитал верно. У Шельга так устроена была голова, что врать он никак не мог — и по брезгливости и потому еще, что лгание считал дешевой и в игре и в борьбе. Через минуту Гарин узнал всю историю появления Ивана в гробном клубе и все, что он рассказывал о работах Маицева.

— Итак, — Гарин поднялся, весело потер руки, — если двадцать девятого ночью мы поедим на автомобиле, модель аппарата будет с нами, — вы укажете любое место, где мы аппаратик припрчем до времени... Так вот: достаточной будет для вас такая гарантия? Согласны?

— Согласен.

— Добиваться моей смерти не будете?

— В ближайшее время — не буду.

— Я прикажу перевести вас наверх, здесь слишком сыро, — поправляйтесь, пейте, кушайте всласть.

Гарин подмигнул и вышел.

63

— Ваше имя, фамилия?

— Ротмистр Кульневского полка Александр Иванович Волшин, — ответил широко-скулый офицер, вытягиваясь перед Гариним.

— На какие средства существуете?

— Поденная работа у генерала Субботина по разведению кроликов, двадцать су в день, харчи его. Был шофером, неплохо зарабатывал, однопольчане уговорили пойти делегатом на монархический съезд. На первом же заседании горячая въехал в морду полковнику Шерстобитову, кирилловцу. Лишен полномочий и потерял службу.

— Предлагаю опасную работу. Крупный гоморар. Согласны?

— Так точно.

— Вы поедете в Париж. Получите рекомендацию. Будете зачислены на службу. С бумагами и мандатом выедете в Ленинград... Там вот по этой фотографии отыщите одного мальчишку...

64

Прошло пять дней. Ничто не нарушало покоя приречной небольшой городка К., лежащего в зеленой и влажной долине вблизи знаменитых заводов Анилиновой компании.

На извилистых улицах с узкими тротуарами с утра весело постукивали деревянные подошвы школьников, раздавались тяжелые шаги рабочих, женщины катили детские коляски в тень лип к реке... Из парикмахерской выходил парикмахер в парусиновом жилете и ставил на тротуар стремянку. Подмастерье лез на нее чистить и без того сверкающую вывеску на штанге — медный тазик и белый конский хвост. В кофейне вытирали зеркальные стекла. Громыкала на огромных колесах телега с пустыми пивными бочками.

Это был старый, весь выметенный, опрятный городок, тихий в дневные часы, когда солнце греет горбатую плиточную мостовую, оживающий итеропливными голосами на закате, когда возгораются за заводов рабочие и работницы, загораются огни в кофейнях и старичок фонарик в коротком плаще, бог знает какой древности, идет, шаркая деревянными подошвами, зажигать фонари.

Из ворот рынка выходили жены рабочих и бюргеров с корзинами. Прежде в корзиночках лежали живность, овощи и фрукты, дорогие натурморта Снайдерса. Теперь — несколько картофелин, пучок лука, брюква и немного серого хлеба.

Странно. За четыре столетия черт знает как разбогатела Германия. Какую славу знали ее сыны. Какими надеждами светились голубые германские глаза. Сколько пива протекло по запрокинутым русым бородам. Сколько биллионов киловатт освободилось человеческого энегии...

И вот, все это напрасно. В кухоньках — пучок лука на изразцовой доске, и у женщины давнишняя тоска в голодных глазах.

Вольф и Хлынов, в пыльной обуви, с пиджаками, перекинутыми через руку, с мокрыми лбами, перешли горбатый мостик и стали подниматься по шоссе под липами в К.

Солнце уходило за невысокие горы. В золотистом вечернем свете еще дымилась труба Анилиновой компании. Корпуса, трубы, железнодорожные пути, черепицы амбаров подходили по склонам холмов к самому городу.

— Там, я уверен, — сказал Вольф и указал рукой на красноватые скалы в закате, — если выбрать лучший пункт для обстрела заводов, я бы выбрал только там.

— Хорошо, хорошо, но осталось только три дня, Вольф...

— Ну что ж, с южной стороны не может быть никакой опасности, — слишком отдаленно. Северный и восточный секторы обшарены до последнего камня. Три дня нам хватит.

Хлынов обернулся к заснеженным на севере лесистым холмам, глубокие тени лежали между ними. В той стороне Вольф и Хлынов облазили за эти пять дней и ночей каждую впадину, где могла бы прятаться постройка, — дача или барак, — с окнами на заводы.

Пять суток они не раздевались, спали в глухие часы ночи, привалившись где попало. Ноги перестали даже болеть. По каменистым дорогам, тропинкам, прямым через овраги и заборы, они исколесили кругом города по горам почти сто километров. Но нигде ни малейшего присутствия Гарина. Встречные крестьяне, фермеры, прислуга с дач, лесничие, сторожа — только разводили руками:

— Во всей округе нет никого из приезжих, здешние все нам известны.

65

Оставался западный сектор, наиболее тяжелый. По карте там находилась пешеходная дорога к скалистому плато, где лежали знаменитые развалины замка «Прикованного ске-

лета», рядом с ним, как и полагалось в таких случаях, находился пивной ресторан «К прикованному скелету».

В развалинах действительно показывали остатки подземелья и за железной решеткой — огромный скелет в ржавых цепях, в сидячем положении. Изображения его продавались повсюду на открытках, на разрезных ножках и пивных кружках. Можно было даже сфотографироваться за двадцать пфенигов рядом со скелетом и послать открытку знакомым или любимой девушке. По воскресеньям развалины пестрели отдыхающими обывателями, ресторан хорошо торговал. Бывали иностранцы.

Но после войны интерес к знаменитому скелету упал. Обыватели заудосочились и ленились в праздничные дни лазить на крутую гору, — предпочитали располагаться с бутербродами и полбутылками пива вне исторических воспоминаний — на берегу речки, под липами. Хозяин ресторана «К прикованному скелету» не мог уже со всем тщанием поддерживать порядок в развалинах. И бывало, что целыми неделями, не обеспокоенный ничьим присутствием, средневековый скелет глядел пустым впадинами черепа на зеленую долину, где некогда в роковой день его сбил с седла владетель замка, — глядел на кирпичи с пестухами и шпильями, на трубы заводов, где в мировом масштабе готовили нарывный газ, тетрил и прочие дьявольские фабрикаты, отбывавшие у населения охоту к историческим воспоминаниям, к открыткам с изображением скелета и, пожалуй, к самой жизни.

В эти места и направлялись сейчас Вольф и Хлынов. Они зашли подкрепиться в кофейню на городской площади и долго изучали карту местности, расспрашивали кельнера. Достопримечательностями в западной части долины оказались, кроме развалин ресторана, еще и вила разорившегося за последние годы фабриканта пишущих машин. Вила стояла на западных склонах, и со стороны города ее не было видно. Фабрикант жил в ней один, безвыездно.

66

Полная луна взошла перед рассветом. То, что казалось неясным нагромождением камней и скал, отчетливо выступало в лунном свете, легли бархатные тени от уцелевших сводов, потянулись вниз, в овраг, остатки крепостной стены, поросшей корявыми деревьями и путанней ежевики, ожила квадратная башня, старейшая часть замка, построенная норманнами, или, как ее называли на открытках, — «Башня пыток».

С восточной стороны к ней примыкали кирпичные своды, здесь, видимо, была когда-то галерея, соединявшая древнюю башню с жилым замком. От всего этого остались фундаменты, щебенка да разбросанные капители колонн из песчаника. У основания башни под крестовым сводом, образующим раковину, сидел «Прикованный скелет».

Вольф долго смотрел на него, навалившись локтями на решетку, затем повернулся к Хлынову и сказал:

— Теперь смотрите сюда.

Глубоко внизу под лунным светом лежала долина, подернутая дымок. Серебристая чешуя играла на реке в тех местах, где вода сквозила из-под древесных кущ. Городок казался игрушечным. Ни одного освещенного окна. За ним налево горели сотни огней Английской компании. Поднимались белые клубы дыма, розовый огонь вырывался из труб. Доносились свистки паровозов, какой-то грохот.

— Я прав, — сказал Вольф, — только с этого плато можно ударить лучом. Смотрите, вот то — склады сырья, там, за земляным валом — склады полуфабрикатов, они совсем открыты, там длинные корпуса производства серной кислоты по русскому способу — из серного колчедана. А вон те, в стороне, круглые крыши — производство антрацита и всех этих дьявольских веществ, которые взрываются иногда по собственному капризу.

— Хорошо, Вольф, если предположить, что Гарни поставит аппарат только в ночь на двадцать восьмое, все же должны быть какие-то признаки предварительной установки.

— Нужно осмотреть развалины. Я облазаю башню, вы — стены и своды... В сущности, лучше места, где сидит эта скелетина, не придумаешь.

— В семь часов сходимся в ресторане.

— Ладно.

67

В восьмом часу утра Вольф и Хлынов пили молоко на деревянной веранде ресторана «К прикованному скелету». Ночные поиски были безуспешны. Сидели молча, подперев головы. За эти дни они так изучили друг друга, что читали мысли. Хлынов, более впечатлительный и менее склонный доверять себе, много раз начинал пересматривать весь ход рассуждений, которые привели его и Вольфа из Парижа в эти, казалось, совсем безобидные места. На чем основано было это убеждение? На двух-трех строчках из газет.

— Не окажесь ли мы в дураках, Вольф?

На это Вольф отвечал:

— Человеческий ум ограничен. Но всегда для дела разумнее полагаться на него, чем сомневаться. К тому же, если мы ничего не найдем и дьявольское предприятие Гарни окажется ишей выдумкой, то и слава богу. Мы исполнили свой долг.

Кельнер принес яичницу и две кружки пива. Появился хозяин, багрово-румяный толстяк:

— Доброе утро, господа! — И, повсвистывая одышкой, он озабоченно ждал, когда гости утолят аппетит. Затем протянул руку к долине, еще голубоватой и сверкающей влагой: — Двадцать лет я наблюдаю... Дело идет к концу, — вот что я скажу, мои дорогие господа... Я видел мобилизацию. Вой по той дороге шли войска. Это были добрые германские колонны. (Хозяин выкинул, как пружину над голо-

вой, жирный указательный палец.) Это были зигфриды — те самые, о которых писал Тацит: могучие, наводившие ужас, в шлемах с крылышками. Обер, еще две кружки пива господам... В четырнадцатом году зигфриды шли покорять вселенную. Им не хватало только щитов, — вы помните старый германский обычай: издавать воинственные крики, прикладывая щит ко рту, чтобы голос казался страшнее. Да, я видел кавалерийские зады, плотно сидевшие на лошадках... Что случилось, я хочу спросить? Или мы разучились умирать в кровавом бою? Я видел, как войска проходили обратно. Кавалеристы все еще плотно, черт возьми, сидели на седлах... Германцы не были разбиты на поле. Их пронзили мечам в постелях, у их очагов...

Хозяин выпученными глазами обвел гостей, обернулся к развалинам, лицо его стало кирпичного цвета. Медленно он вытащил из кармана пачку открыток и хлопнул ею по ладони:

— Вы были в городе, я спрошу: видели вы хотя бы одного немца выше пяти с половиной футов росту? А когда эти пролетарии возвращаются с заводов, вы слышали; чтобы один хотя бы имел смелость громко сказать: «Дейчланд»? А вот о социализме эти пролетарии хрипят за пивными кружками.

Хозяин ловко бросил на стол пачку открыток, рассыпавшихся веером... Это были изображения скелета — просто скелета в германца с крылышками, скелета и вонна четырнадцатого года в полной амуниции.

— Двадцать пять пфеннигов штука, две марки пятьдесят пфеннигов за дюжину, — сказал хозяин с презрительной гордостью, — дешево никто не продает, это добрая довоенная работа, — цветная фотография, в глаза вставлена фольга, это производит неизгладимое впечатление... И вы думаете — эти трусы-буржуа, эти пяти с половиной футовые пролетарии покупают мои открытки? Пфуй... Вопрос поставлен так, чтобы я сиял Карла Либкнехта рядом со скелетом...

Он опять надулся кровью и вдруг захохотал:

— Подождут!.. Обер, положи в наши оригинальные конверты по дюжине открыток господам... Да, да, приходится изворачиваться... Я покажу вам мой патент... Гостиница «К прикованному скелету» будет продавать это сотнями... Здесь я иду в ногу с нашим временем и не отступаю от принципов.

Хозяин ушел и сейчас же вернулся с небольшим, в виде коробки от сигар, ящичком. На крышке его был выжжен по дереву все тот же скелет.

— Желаете испробовать? Действует не хуже, чем на катодных лампах. — Он живо приладил провод и слуховые трубки, включил радиоприемник в штепсель, пристроенный под столом. — Стонт три марки сьездесят пять пфеннигов, без слуховых трубок, разумеется. — Он протянул наушники Хлынову. — Можю слушать Берлин, Гамбург, Париж, если это доставит вам удовольствие. Я вас соединю с Кельйским собором, сейчас там обедня, вы услышите орган, это колоссально... По-

верните рычажок налево... В чем дело? Кажется, опять мешает проклятый Штуффер? Нет?

— Кто мешает? — спросил Вольф, нагибаясь к аппарату.

— Разорившийся фабрикант пишущих машин Штуффер, пьяница и сумасшедший... Два года тому назад он поставил у себя на вилле радиостанцию. Потом разорился. И вот недавно станция опять заработала...

Хлынов, странно блестя глазами, опустил трубку:

— Вольф, — платите и идите.

Когда через несколько минут, отъезжавший от говорливого хозяина, они вышли за калитку ресторана, Хлынов изо всей силы сжал руку Вольфа:

— Я слышал, я узнал голос Гарниа...

68

В это утро, часом раньше, на вилле Штуффера, расположенной на западном склоне тех же холмов, в полутемной столовой за столом сидел Штуффер и разговаривал с невидимым собеседником. Вернее, это были обрывки фраз и ругательств. На обсыпанном пеплом столе валялись пустые бутылки, окурок сигар, воротничок и галстук Штуффера. Он был в одном белье, чесал рыхлую грудь, пялился на электрическую лампочку, единственную горевшую в огромной железной люстре, н, сдерживая отрыжку, ругал вполголоса последними словами человеческие образы, выплывавшие в его пьяной памяти.

Торжественно башенным боем столовые часы пробил семь. Почти тотчас же послышался шум подъехавшего автомобиля. В столовую вошел Гарни, весь пронизанный утреним ветром, насмешливый, зубы оскалены, кожаный карзун на затылке:

— Опять всю ночь пьянствовали?

Штуффер покосился налитыми глазами. Гарни ему нравился. Он щедро платил за все. Не торгуясь, сиял на летние месяцы виллы вместе с винным погребом, предоставив Штуфферу расправляться самому со старыми рейнскими, французским шампанским и ликерами. Чем он занимался, черт его знает, видимо, спекулировал, но он ругательски ругал американцев, разоривших Штуффера два года тому назад, он презирал правительство и называл людей вообще сволочью, — это тоже было хорошо. Он привозил в автомобиле такую жратву, что даже в лучшие времена Штуффер не позволял себе и думать намазывать столовой ложкой драгоценные страсбургские пащеты, русскую икру, любительские камамберы, кишащие сверху белыми червяками. Могло даже показаться, что в его расчеты входило непрерывно держать Штуффера мертвецки пьяным.

— Как будто вы-то всю ночь богу молились, — прохрюпел Штуффер.

— Премило провел время с девочками в Келье и, видите, свеж и не сижу в подштаниках. Вы лагаете, Штуффер. Кстати, меня предупредили о не совсем приятной вещи... Оказывается, ваша вилла стонт слишком близ-

ко к химическим заводам... Как на пороховом погребе...

— Вздор, — заорал Штуфер, — опять какая-то сволочь подкапывается... На моей виле вы в полной безопасности...

— Тем лучше. Дайте-ка ключ от сарая.

Крутя за цепочку ключ, Гарин вышел в сад, где стоял небольшой застекленный сарай под маечами антенны. Кое-где на запущенных куртиках стояли керамиковые карлики, загнанные птицами. Гарин отомкнул стеклянную дверь, вошел, распахнул окна. Облокотился на подоконник и так стоял некоторое время, вдыхая утреннюю свежесть. Почти двадцать часов он провел в автомобиле, заканчивая дела с банками и заводами. Теперь все было в порядке перед двадцать восьмым числом.

Он не помнил, сколько времени так простоял у окна. Потянулся, закурил сигару, включил динамо, осмотрел и настроил аппараты. Затем встал перед микрофоном и заговорил громко и раздельно:

— Зоя, Зоя, Зоя, Зоя... Слушайте, слушайте, слушайте... Будет все так, как ты хочешь. Только умей хотеть. Ты мне нужна. Без тебя мое дело мертвое. На днях буду в Неаполе. Точно сообщу завтра. Не тревожься ни о чем. Все благоприятствует...

Он помолчал, затаился сигарой и снова начал: «Зоя, Зоя, Зоя...» Закрыв глаза. Мягко гудело динамо, и невнятные молнии срывались одна за другой с антенны.

Проезжий сейчас артиллерийский обоз — Гарин, наверное, не расслышал бы шума. И он не слышал, как в конце лужайки покатились камни под откос. Затем в пяти шагах от павильона раздвинулись кусты, и в них на уровень человеческого глаза поднялся вороненый ствол кольта.

69

Роллинг взял телефонную трубку:

— Да.

— Говорит Семенов. Только что перехвачено радио Гарина. Разрешите прочесть?..

— Да.

— «Будет все так, как ты хочешь, только умей хотеть», — начал читать Семенов, кое-как переводя с русского на французский. Роллинг слушал, не издавая ни звука.

— Все?

— Так точно, все.

— Запишите, — стал диктовать Роллинг: — немедленно настроить отправную станцию на длину волны четыреста двадцать один. Завтра десятью минутами раньше того времени, когда вы перехватили сегодняшнюю телеграмму, начнете отправлять радио: «Зоя, Зоя, Зоя...» Случилось неожиданное несчастье. Необходимо действовать. Если вам дорога жизнь вашего друга, высадитесь в пятницу в Неаполе, остановитесь в гостинице «Сплэндид», будьте известны до полудня субботы». Это вы будете повторять непрерывно, слышите ли, непрерывно громким и убедительным голосом. Все.

Роллинг позвонил

— Немедленно найти и привести ко мне Тыклинского, — сказал он вскочившему в кабинет секретарю. — Немедленно ступайте на аэродром. Арендуйте или купите — безразлично — закрытый пассажирский аэроплан. Наймите пилота и бортмеханика. К двадцати восьмому приготовьте все к отлету...

70

Весь остальной день Вольф и Хлынов провели в К. Бродили по улицам, болтали о разных пустяках с местными жителями, выдавая себя за туристов. Когда городок затих, Вольф и Хлынов пошли в горы. К полудню они уже поднимались по откосу в сад Штуфера. Было решено объявить себя заблудившимися туристами, если полиция обратит на них внимание. Если их задержат, — арест был безопасен: их албни мог установить весь город. После выстрела из кустов, когда ясно было видно, как у Гарина брызнули осколки черепа, Вольф и Хлынов меньше чем через сорок минут были уже в городе.

Они перелезли через низкую ограду, осторожно обогнали поляну за кустами и вышли к дому Штуфера. Остановились, переглянулись, ничего не понимая. В саду и в доме было спокойно и тихо. Несколько окон освещено. Большая дверь, ведущая прямо в сад, раскрыта. Мирный свет падал на каменные ступени, на карликов в густой траве. На крыльце, на верхней ступени, сидел толстый человек и тихо играл на флейте. Рядом с ним стояла оплетенная бутылка. Это был тот самый человек, который утром неожиданно появился на тропинке близ радиопавильона и, услышав выстрел, повернулся и шаткой рысью побегал к дому. Сейчас он благодушествовал, как будто ничего не случилось.

— Пойдем, — прошептал Хлынов, — нужно узнать.

Вольф проворчал:

— Я не могу промахиуться.

Они пошли к крыльцу. На подороге Хлынов проговорил негромко:

— Простите за беспокойство... Здесь нет собак?

Штуфер опустил флейту, повернулся на ступеньке, вытянул шею, вглядываясь в две неясные фигуры.

— Ну, нет, — протянул он, — собаки здесь злые.

Хлынов объяснил:

— Мы заблудились, хотели посетить развалины «Прикованного скелета»... Разрешите отдохнуть.

Штуфер ответил неопределенным мычанием. Вольф и Хлынов поклонились, сели на нижние ступени, — оба настороженные, взволнованные. Штуфер поглядывал на них сверху.

— Между прочим, — сказал он, — когда я был богат, в сад спускались ценные кобели. Я не любил нахалов и ночных посетителей. (Хлынов быстро пожал Вольфу руку, — молчите, мол.) Американцы меня разорили, и мой сад сделался проезжей дорогой для бездельни-

ков, хотя повсюду прибиты доски с предупреждением о тысяче марок штрафа. Но Германия перестала быть страной, где уважают закон и собственность. Я говорил человеку, арендовавшему у меня виллу: обнесите сад колючей проволокой и наймите сторожа. Он не послушался меня и сам виноват...

Подняв камешек и бросив его в темноту, Вольф спросил:

— Что-нибудь случилось неприятное у вас из-за этих посетителей?

— Сказать «неприятное» — слишком сильно, но — смешное. Не далее, как сегодня утром. Во всяком случае, мои экономические интересы не затронуты, и я буду предаваться моим развлечениям.

Он приложил флейту к губам и издал несколько пронзительных звуков.

В конце концов, какое мне дело, живет он здесь или пьянствует с девочками в Кельне? Он заплясал все до последнего фенинга... Никто не смеет бросить ему упрека. Но, видите ли, он оказался нервным господином. За время войны можно было привыкнуть к револьверным выстрелам, черт возьми... Уложился все нмущество, до свидания, до свидания... Что ж — скатертью дорога.

— Он уехал совсем? — внезапно громко спросил Хлынов.

Штуфер приподнялся, но снова сел. Видно было, как щека его, на которую падал свет из комнаты, расплылась, — маслянистая, ухмыляющаяся. Заколыхался толстый живот.

— Так и есть, он меня предупредил: непременно об его отъезде будут у меня спрашивать двое джентльменов. Уехал, уехал, дорогие джентльмены. Не верите, пойте мне, покажу его комнаты. Если вы его друзья, — пожалуйста, убедитесь... Это ваше право, — за комнаты заплачено...

Штуфер опять хотел встать, — ноги его никак не держали. Больше от него ничего нельзя было добиться путно. Вольф и Хлынов вернулись в город. За всю дорогу они не сказали друг другу ни слова. Только на мосту, над черной водой, где отражался фонарь, Вольф вдруг остановился, стиснул кулаки:

— Что за чертовщина! Я же видел, как у него разлетелся череп...

71

Небольшой и плотный человек с полуседыми волосами, пригладженными на гладкий пробор, в голубых очках, прикрывающих большие глаза, стоял у изразцовой печи и, опустив голову, слушал Хлынова.

Сначала Хлынов сидел на диване, затем пересел на подоконник, затем начал бегать по небольшой приемной комнате советского посольства.

Он рассказывал о Гариин и Роллинге. Рассказ был точен и последователен, но Хлынов и сам чувствовал невероятность всех нагроможденных событий.

— Предположим, мы с Вольфом ошибаемся... Прекрасно, — мы счастливы, если ошибаемся в выводах. Но все же пятьдесят про-

центов за то, что катастрофа будет. Нас должны интересовать только эти пятьдесят процентов. Вы, как посол, можете убедить, повлиять, раскрыть глаза... Все это ужасно серьезно. Аппарат существует. Шельга дотрагивался до него рукой. Действовать нужно немедленно, сию минуту. В вашем распоряжении не больше суток. Завтра в ночь все это должно разразиться. Вольф остался в К. Он делает, что может, чтобы предупредить рабочих, профсоюзы, городское население, администрацию заводов. Разумеется, ну, разумеется, — никто не верит... Вот даже вы...

Посол, не поднимая глаз, промолчал.

— В редакции местной газеты над нами смеялись до слез... В лучшем случае нас считали сумасшедшими.

Хлынов сжал голову, — нечесаные клоchy волос торчали между грязными пальцами. Лицо его было осунувшееся, пыльное. Побелевшие глаза остановились, как перед виденным ужасом. Посол осторожно, из-за края очков, взглянул на него:

— Почему вы раньше не обратились ко мне?

— У нас не было фактов... Предположения, выводы — все на грани фантастики, безумия... Мне и сейчас минутами сдается, — проснусь — и вздохну облегченно... Но уверяю вас — я в здравом уме. Восемь суток мы с Вольфом не разговаривали, не ложились спать.

После молчания посол сказал серьезно:

— Я уверен, что вы не мистификатор, товарищ Хлынов. Скорее всего вы поддались навязчивой идее, — он быстро поднял руку, останавливая отчаянное движение Хлынова, — но для меня убедительно прозвучал ваш пятьдесят процентов. Я поеду и сделаю все, что в моих силах...

72

Двадцать восьмого с утра на городской площади в К. собирались кучками обыватели и, оди с изумлением, другие с некоторым страхом, обсуждали странные прокламации, прилепленные жеваным хлебом к стенам домов на перекрестках.

«Ни власть, ни заводская администрация, ни рабочие союзы, — никто не пожелал внять нашему отчаянному призыву. Сегодня, — мы в этом уверены, — заводам, городу, всему населению грозит гибель. Мы старались предотвратить ее, но негодня, подкупленные американскими бакирами, оказались неуловимы. Спасайтесь, бегите из города на равнину. Верьте нам во имя вашей жизни, во имя ваших детей, во имя бога».

Полиция догадывалась, кто писал прокламации, и разыскивала Вольфа. Но он исчез. К середине дня городские власти выпустили афиши, предупреждения — ни в каком случае не покидать города и не устраивать паники, так как, видимо, шайка мошенников намерена похозяйничать этой ночью в покинутых домах.

«Граждане, вас дурачат. Обратитесь к здравому смыслу. Мошенники сегодня же бу-

дут обнаружены, схвачены, и с ними поступят по закону».

Власти попали в точку, пугающая тайна оказалась простой, как репа. Обыватели сразу успокоились и уже посмеивались: «А ловко было придумано, — похозяйничали бы эти ловкачи по магазинам, по квартирам, — ха-ха. А мы-то, дураки, всю бы ночь тряслись от страха на равнине».

Настал вечер, такой же, как тысячи вечеров, озаривший городские окна закатным светом. Успокоились птицы по деревьям. На реке, на сырых берегах, заквакали лягушки. Часы на кирпичной кирке проиграли «Вахт ам Рейн», на страх паршивым французам, и прозвонили восемь. Из окон кабачков мирно струился свет, завсегдатая не спеша мочили усы в пивной пене. Успокоился и хозяин загородного ресторана «К прикованному скелету», — походил по пустой террасе, проклял правительство, социалистов и евреев, приказал закрыть ставни и поехал на велосипеде в город к любовнице.

В этот час по западному склону холмов, по малопроезжей дороге, почти бесшумно и без огня, промчался автомобиль: Заря уже погасла, звезды были еще не яркие, за горами разливалось холодноватое сияние, — восходила луна. На равнине кое-где желтели огоньки. И только в стороне заводов не утихла жизнь.

Над обрывом, там, где кончились развалины замка, сидели Вольф и Хлынов. Они еще раз облазили все закоулки, поднялись на квадратную башню, — нигде ни малейшего намека на приготовления Гарина. Одно время им показалось, что вдалье промчался автомобиль. Они прислушивались, вглядывались. Вечер был тих, пахло древним покоем земли. Иногда движения воздушных струй доносили снизу сырость цветов.

— Смотрел по карте, — сказал Хлынов, — если мы спустимся в западном направлении, то пересечем железную дорогу на полустанке, где останавливается почтовый, в пять тридцать. Не думаю, чтобы там тоже дежурила полиция.

Вольф ответил:

— Смешно и глупо все это кончилось. Человек еще слишком недавно поднялся с четверенек на задние конечности, слишком еще тяготеет над ним миллионы веков непросветленного зверства. Страшная вещь — человеческая масса, не руководимая большой идеей. Людей нельзя оставлять без вожakov. Их тянет стать на четвереньки.

— Ну что это уж вы так, Вольф?..

— Я устал. — Вольф сидел на куче камней, подперев кулаками крепкий подбородок. — Разве хоть на секунду вам приходило в голову, что двадцать восьмого нас будут ловить, как мошенников и грабителей? Если бы вы видели, как эти представители власти перелаздили, когда я распинался перед ними... Ах, какой же я дурак! И они правы, — вот в чем дело. Они никогда не узнают, что им грозило...

— Если бы не ваш выстрел, Вольф...

— Черт!.. Если бы я не промахнулся... Я

готов десять лет просидеть в каторжной тюрьме, только бы доказать этим идиотам...

Голос Вольфа теперь гулко отдавался в развалинах. В тридцати шагах от разговаривающих, — совершенно так же, как охотник крадется под глухариное токанье, — в тени полуобвалившейся стены пробрался Гарин. Ему было ясно видны очертания двух людей над обрывом, слышно каждое слово. Открытое место между концом стены и башней он прополз. В том месте, где к подножию башни примыкала сводчатая пещера «Прикованного скелета», лежал осколок колонны из песчаника. Гарин скрылся за ним. Раздался хруст камня и скрип заржавленного железа. Вольф вскопчил:

— Вы слышали?

Хлынов глядел на кучу камней, где под землей исчез Гарин. Они побежали туда. Обошли кругом башни.

— Здесь водятся лисы, — сказал Вольф.

— Нет, скорее всего это крикнула ночная птица.

— Нужно уходить. Мы с вами начинаем галлюцинировать...

Когда они подошли к обрывистой тропинке, уводящей из развалин на горную дорогу, раздался второй шум, — будто что-то упало и покатилося. Вольф весь затрясся. Они долго слушали, не дыша. Сама тишина, казалось, звенела в ушах. «Сплю-сплю, сплю-сплю» — кротко и нежно то там, то вот — совсем низко — покрикивал, летая, невидимый козодой.

— Идем.

— Да, глупо.

На этот раз они решительно и не оборачиваясь зашагали вниз. Это спасло одному из них жизнь.

73

Вольф не совсем был неправ, когда уверял, что у Гарина брызнули осколки черепа. Когда Гарин, на секунду замолчав перед микрофоном, потянулся за сигарой, дымившейся на краю стола, слуховая чашечка из эбонита, которую он прижимал к уху, чтобы контролировать свой голос при передаче, внезапно разлетелся вдребезги. Одновременно с этим он услышал резкий выстрел и почувствовал короткую боль удара в левую сторону черепа. Он сейчас же упал на бок, перевалился ничком и замер. Он слышал, как завыв Штутгер, как зашуршали шаги убегающих людей.

«Кто — Ролинг или Шельга?» Эту загадку он решал, когда часа через два мчался на автомобиле в Кельн. Но только сейчас, услышав разговор двух людей на краю обрыва, разгадал. Молодчина Шельга... Но все-таки, ай-ай, — прибегать к недозволенным приемам...

Он отсунул осколок колонны, прикрывавшей ржавую крышку люка, проскользнул под землей и с электрическим фонариком поднялся по разрушенным ступеням в «каменный мешок» — одиночку, сделанную в толще стены нормандской башни. Это была глухая камера, шага по два с половиной в длину и шири-

ну. В стене еще сохранились бронзовые кольца и цепи. У противоположной стены на грубо сколоченных козлах стоял аппарат. Под ним лежали четыре жестянки с динамитом. Против дула аппарата стена была продолблена и отверстие с наружной стороны прикрыто костяком «Прикованного скелета».

Гарин погасил фонарь, отодвинул в сторону дуло и, просунув руку в отверстие, сбросил костяк. Череп отскочил и покатился. В отверстие были видны огни заводов. У Гарина были зоркие глаза. Он различал даже крошечные человеческие фигуры, двигающиеся между постройками. Все тело его дрожало. Зубы стиснуты. Он не предполагал, что так трудно будет подойти к этой минуте. Он снова направил аппарат дулом в отверстие, приладил. Откинул заднюю крышку, осмотрел пирамидки. Все это было приготовлено еще неделю тому назад. Второй аппарат и старая модель лежали у него внизу, в роше, в автомобиле.

Он захлопнул крышку и положил руку на рычажок магнето, которым автоматически зажигались пирамидки. Он дрожал с головы до ног. Не совесть (какая уж там совесть после мировой войны!), не страх (он был слишком легкомыслен), не жалость к обреченным (они были слишком далеко) обдавали его ознобом и жаром. Он с ужасающей ясностью понял, что вот от одного этого оборота рукоятки он становится врагом человечества. Это было чисто эстетическое переживание важности минуты.

Он даже сиял было руку с рычажка и полез в карман за папиросами. И тогда его взволнованный мозг ответил на движение руки: «Ты медлишь, ты наслаждаешься, это — сумасшествие...»

Гарин закрутил магнето. В аппарате вспыхнуло и зашипело пламя. Он медленно стал поворачивать микрометрический винт.

74

Хлынов первый обратил внимание на странный клубочек света высоко в небе.

— А вот еще один, — сказал он тихо. Они остановились на половине дороги над обрывом и глядели, подняв головы. Пониже первого, над очертаниями деревьев, возник второй огненный клубок и, роняя искры, как догорающая ракета, стал падать...

— Это горят птицы, — прошептал Вольф, — смотрите.

Над лесом на светлой полосе неба летел торопливо, неровным полетом, должно быть, козодой, кричавший давеча: «Сплю-сплю». Он вспыхнул, перевертываясь, и упал.

— Они задевают за проволоку.

— Какую проволоку?

— Разве не видите, Вольф?

Хлынов указал на светящуюся, прямую, как игла, нить. Она шла сверху от развалин по направлению заводов Анилиновой компании. Путь ее обозначался вспыхивающими личоточками, горящими клубками птиц. Теперь

она светилась ярко, — большой отрезок ее перерезывал черную стену сосен.

— Она опускается! — крикнул Вольф. И не окончил. Она поняла, что это была за нить. В оцепенении они могли следить только за ее направлением. Первый удар луча пришелся по заводской трубе, — она заколебалась, надломилась посередине и упала. Но это было очень далеко, и звук падения не был слышен.

Почти сейчас же влево от трубы поднялся столб пара над крышей длинного здания, порозовел, перемешался с черным дымом. Еще левее стоял пятиэтажный корпус. Внезапно все окна его погасли. Сверху вниз, по всему фасаду, побежал огненный зигзаг, еще и еще...

Хлынов закричал, как заяц... Здание осело, рухнуло, его костяк закутался облаками дыма.

Тогда только Вольф и Хлынов кинулись обратно в гору, к развалинам замка. Пересекая извивающуюся дорогу, лезли на крутизны по орешнику и мелколесью. Падали, соскальзывая вниз. Рычали, ругались, — один по-русски, другой по-немецки. И вот до них долетел глухой звук, точно вздохнула земля.

Они обернулись. Теперь был виден весь завод, раскинувшийся на много километров. Половина зданий его пылала, как картонные домики. Внизу, у самого города, грибом поднимался серо-желтый дым. Луч гиперболонада бешено плесал среди этого разрушения, нащупывая самое главное — склады взрывчатых полуфабрикатов. Зарево разливалось на полнеба. Тучи дыма, желтые, бурые, серебряно-белые снопы искр взвивались выше гор.

— Ах, поздно! — закричал Вольф.

Было видно, как по меловым лентам дорог ползет из города какая-то живая каша. Полоса реки, отражающая весь огромный пожар, казалась рябой от черных точек. Это спасалось население, — люди бежали на равнину.

— Поздно, поздно! — кричал Вольф. Пена и кровь текли по его подбородку.

Спасаться было поздно. Травянистое поле между городом и заводом, покрытое длинными рядами черепичных кровель, вдруг поднялось. Земля вспучилась. Это первое, что увидели глаза. Сейчас же из-под земли сквозь щели вырвались бешеные языки пламени. И сейчас же из пламени взвился ослепительный, никогда никем не виданной яркости столб огня и раскаленного газа. Небо точно улетело вверх над всей равниной. Пространства заполнились зелено-розовым светом. Выступили в нем, точно при солнечном затмении, каждый суточ, каждый клоч травы, камень и два окаменевших белых человеческих лица.

Ударило. Загрохотало. Поднялся рев развершей земли. Сотряслись горы. Ураган потряс и пригнул деревья. Полетели камни, головы. Тучи дыма застали и равнину.

Стало темно, и в темноте раздался второй, еще более страшный взрыв. Весь дымный воздух насытился мрачно-ржавым, гнойным светом.

Ветер, осколки камней, сучьев опрокинулы и увлекли под кручу Хлынова и Вольфа.

— Капитан Янсен, я хочу высадиться на берег.

— Есть.

— Я хочу, чтобы вы поехали со мной.

Янсен покраснел от удовольствия. Через минуту шестивесельная лакированная шлюпка легко упала с борта «Аризоны» в прозрачную воду. Три смугло-красных матроса соскльзнули по канату на банки. Подняли весла, замерли.

Янсен ждал у трапа. Зоя медлила, — все еще глядела рассеянным взором на зыбкие от зноя очертания Неаполя, уходящего вверх террасами, на терракотовые стены и башни древней крепости над городом, на лениво курящуюся вершину Везувия. Было безветренно, и море — зеркально.

Множество лодок лениво двинулось по заливу. В одной стоя греб кормовым веслом высокий старик, похожий на рисунки Микеланджело. Седая борода падала на изодранный, в заплатках, темный плащ, короной взлохмачены седые кудри. Через плечо — холщовая сума.

Это был известный всему свету Пеппо, нищий.

Он выезжал в собственной лодке просить милостыню. Вчера Зоя свирнула ему с борта стодолларовую бумажку. Сегодня он снова направлял лодку к «Аризоне». Пеппо был последним романтиком старой Италии, возлюбленной богам и музами. Все это ушло невозвратно. Никто уж больше не плакал, счастливыми глазами глядя на старые камин. Сгинули на полях войны те художники, кто, бывало, платил звонкий золотой, рисуя Пеппо среди развалин дома Цецилия Юкундуса в Помпее. Мир стал скучен.

Медленно поворачивая весло, Пеппо проплыл вдоль зеленоватого от отсветов борта «Аризоны», поднял великодушное, как медаль, морщинистое лицо с косматыми бровями и протянул руку. Он требовал жертвоприношения. Зоя, перегнувшись вниз, спросила его потальянски:

— Пеппо, отгадай, — чет или нечет?

— Чет, сньюора.

Зоя перегнувшись к нему в лодку пачку ювенокх ассигнаций.

— Благодарю, прекрасная сньюора, — величественно сказал Пеппо.

Больше нечего было медлить. Зоя загадала на Пеппо: приплывет к лодке старый нищий, ответит «чет», — все будет хорошо.

Все же мучили дурные предчувствия: а вдруг в отеле «Сплендид» засада. полиции? Но повелительный голос звучал в ушах: «...Если вам дорога жизнь вашего друга...» Выбор не было.

Зоя спустилась в шлюпку. Янсен сел на руль, весла взмахнули, и набережная Санта Лючия полетела навстречу, — дома с наружными лестницами, с белым и тряпьем на веревках, узкие улочки ступенями в гору, полуголые ребятишки, женщины у дверей, рыжие

козы, устричные палатки у самой воды и рыбачьи сети, раскинутые на граните.

Едва шлюпка коснулась зеленых свай набережной, сверху, по ступеням, полетела куча оборванцев, продавцов кораллов и брошек, агентов гостиниц. Размахивая бичами, орал парные взвозчики, полуголые мальчишки кувыркались под ногами, завывая, просили соли для у прекрасной форестьеры.

— «Сплендид», — сказала Зоя, садясь вместе с Янсеном в коляску.

У порты гостиницы Зоя спросила, нет ли корреспонденции на имя мадам Ламоль. Ей подали радиотелефонограмму без подписи: «Ждите до вечера субботы». Зоя пожалла плечами, заказала комнаты и поехала с Янсеном осматривать город. Янсен предложил — музей.

Зоя скользнула скучающим взором по застывшим навеки красавцам Возрождения, — они навьючивали на себя несгибающуюся парчу, не стригли волос, видимо, не каждый день брал ванну и гордились такими мощными плечами и бедрами, которых бы постыдилась любая рыночная торговка в Париже. Еще скучнее было смотреть на мраморные головы императоров, на лица позеленевшей бронзы — лежать бы им в земле... на детскую порнографию помпейских фресок. Нет, у древнего Рима и у Возрождения был дурной вкус. Они не понимали остроты цинизма. Довольствовались разведенным вниманием, неторопливо целовались с пышными и добродетельными женщинами, гордились мускулами и храбростью. Они с уважением волочили за собой прожитые века. Они не знали, что такое делать двести километров в час на гоночной машине. Или при помощи автомобилей, аэропланов, электричества, телефонов, радио, лифтов, модных портных и чековой книжки (в пятнадцать минут по чеку вы получаете золота столько, сколько не стоил весь древний Рим) выдавливать из каждой минуты жизни до последней капли все наслаждения.

— Янсен, — сказала Зоя. (Капитан шел на полшага сзади, прямой, медно-красный, весь в белом, выглаженный и готовый на любую глупость.) — Янсен, мы теряем время, мне скучно.

Они поехали в ресторан. Между блюдами Зоя вставала, закидывала на плечи Янсену голую прекрасную руку и танцевала с ним ничего не выражающим лицом, с полузакрытыми веками. На нее «бешено» обращали внимание. Танцы возбуждали аппетит и жажду. У капитана дрожали ноздри, он глядел в тарелку, боясь выдать блеск глаз. Теперь он знал, какие бывают любовницы у миллиардеров. Такой нежной, длинной, нервной спины ни разу еще не ощущала его рука во время танцев, ноздри никогда не вдыхали такого благоухания кожи и духов. А голос — певучий и насмешливый... А умна... А шикарна...

Когда выходили из ресторана, Янсен спросил:

— Где мне прикажете быть этой ночью — на яхте или в гостинице?

— Зоя взглянула на него быстро и странно и сейчас же отвернула голову, не ответила.

77

Зоя оцепенела от вина и танцев. «О-ла-ла, как будто я должна отдавать отчет». Входя в подъезд гостиницы, она оперлась о каменную руку Янсена. Портые, подавая ключ, скверно усмехнулся черномазо-неаполитанской рожей. Зоя вдруг насторожилась:

— Какне-нибудь новости?

— О, никаких, сеньора.

Зоя сказала Янсону:

— Пойдите в курительную, выкурите папиросу, если вам не надоело со мной болтать, — я позвоню...

Она легко пошла по красному ковру лестницы. Янсен стоял внизу. На повороте она обернулась, усмехнулась. Он, как пьяный, пошел в курительную и сел около телефона. Закурив, — так велела она. Откнувшись, — представлял:

...Она вошла к себе... Сняла шляпу, белый суконый плащ... Не спеша, ленивыми, слегка неумелыми, как у подростка, движениями начала раздеваться... Платье упало, она перешагнула через него. Остановилась перед зеркалом... Соблазнительная, всматривающаяся большими зрачками в свое отражение... Да, да, она не торопится, — таковы женщины... О, капитан Янсен умеет ждать... Ее телефон — на ночном столике... Стало быть, он увидит ее в постели... Она оперлась о локоть, протянула руку к аппарату...

Но телефон не звонил. Янсен закрыл глаза, чтобы не видеть проклятого аппарата... Фу, в самом деле, нельзя же быть влюбленным, как мальчишка... А вдруг она передумала? Янсен вскочил. Перед ним стоял Роллинг. У капитана вся кровь ударила в лицо.

— Капитан Янсен, — проговорил Роллинг скрипучим голосом, — благодарю вас за вашу заботу о мадам Ламоль, на сегодня она больше не нуждается в них. Предлагаю вам вернуться к вашим обязанностям...

— Есть, — одним губам произнес Янсен.

Роллинг сильно изменился за этот месяц, — лицо его потемнело, глаза ввалились, борода черно-рыжеватой щетинной расплзлась по щекам. Он был в теплом пиджаке, карманы на груди топорщились, набитые деньгами и чековыми книжками... «Левой в висок, — правой нанюхось, в скулу, и — дух вон из жабы...» — железные кулаки у капитана Янсена наливались злобой. Будь Зоя здесь в эту секунду, взгляни на капитана, от Роллинга остался бы мешок костей.

— Я буду через час на «Аризоне», — наморщившись, повелительно сказал Роллинг.

Янсен взял со стола фуражку, нагнувшись глубоко, вышел. Вскочил на извозчика: «На набережную!» Казалось, каждый прохожий усмехался, глядя на него: «Что, надавали по щекам!» Янсен сунул извозчику горсть мелочи и кинулся в шляпку: «Гребни, собачьи де-

тны». Вбежав по трапу на борт яхты, зарычал на помощника: «Хлеп на палубе!» Заперся на ключ у себя в каюте и, не снимая фуражки, упал на койку. Он тихо рычал.

Ровно через час послышался оклик вахтенного, и ему ответил с воды слабый голос. Заскрипел трап. Весело, звонко крикнул помощник капитана:

— Свистать всех наверх!

Приехал хозяин. Спасли остатки самолюбия можно было, только встретив Роллинга так, будто ничего не произошло на берегу. Янсен достоин и спокойно вышел на мостик. Роллинг поднялся к нему, принял рапорт об отличном состоянии судна и пожал руку. Официальная часть была кончена. Роллинг закурил сигару, — маленький, сухопутный, в теплом темном костюме, оскорбляющем извещество «Аризоны» и небо над Неаполем.

Была уже полночь. Между мачтами и реями горели созвездия. Огни города и судов отражались в черной, как базальт, воде залива. Взыла и замерла сирена буксирного пароходика. Закачались вдали маслянисто-огненные столбы.

Роллинг, казалось, был поглощен сигарой, — поноживал ее, пускал струйки дыма в сторону капитана. Янсен, опустив руки, официально стоял перед ним.

— Мадам Ламоль пожелала остаться на берегу, — сказал Роллинг, — это каприз, но мы, американцы, всегда уважаем волю женщины, будь это даже явное сумасбродство.

Капитан принужден был наклонить голову, согласиться с хозяином. Роллинг поднес к губам левую руку, пососал кожу на верхней стороне ладони.

— Я останусь на яхте до утра, быть может, весь завтрашний день... Чтобы мое пребывание не было истолковано как-нибудь вкривь и вкось... (Пососав, он поднес руку к свету из открытой двери каюты.) Э, так вот... вкривь и вкось... (Янсен глядел теперь на его руку, на ней были следы от ногтей.) Удовлетворяю ваше любопытство: я жду на яхту одного человека. Но он меня здесь не ждет. Он должен прибыть с часу на час. Распорядитесь немедленно донести мне, когда он поднимется на борт. Покойной ночи.

У Янсена пылала голова. Он силится что-нибудь понять. Мадам Ламоль осталась на берегу. Зачем? Каприз... Или она ждет его? Нет, — а свежие царапины на руке хозяина... Что-то случилось... А вдруг она лежит на кровати с перерезанным горлом? Или в мешке на дне залива? Миллиардеры не стесняются.

За ужином в кают-компании Янсен потребовал стакан виски без содовой, чтобы как-нибудь прояснило мозги. Помощник капитана рассказывал газетную сенсацию — чудовищный взрыв в германских заводах Англинской компании, разрушение близлежащего городка и гибель более чем двух тысяч человек.

Помощник капитана говорил:

— Нашему хозяину адски везет. На гнибел-ли англинских заводов он зарабатывает столько, что купит всю Германию вместе с

потрохами, Гогенцоллернам и социал-демократами. Пью за хозяина.

Янсей унес газеты к себе в каюту. Внимательно прочитал описание взрыва и разные, одно илелее другого, предположения о причинах его. Именем Роллинга пестрели столбцы. В отделе мод указывалось, что с будущего сезона в моде — борода, покрывающая щеки, и высокий котелок вместо мягкой шляпы. В «Экзельснор» на первой странице — фотография «Аризоны» и в овале — прелестная голова мадам Ламоль. Глядя на нее, Янсей потерял присутствие духа. Тревога его все росла.

В два часа ночи он вышел из каюты и увидел Роллинга на верхней палубе, в кресле. Янсей вернулся в каюту. Сбросил платье, на голое тело надел легкий костюм из тончайшей шерсти, фуражку, башмаки и бумажник завязал в резиновый мешок. Пробили склянки — три. Роллинг все еще сидел в кресле. В четыре он продолжал сидеть в кресле, но силует его с ушедшей в плечи головой казался неживым, — он спал. Через минуту Янсей неслышно спустился по якорной цепи в воду и поплыл к набережной.

78

— Мадам Зоя, не беспокойте себя напрасно: телефоны и звонки перерезаны.

Зоя опять присела на край постели. Злая усмешка дергала ее губы. Стась Тыклинский развалился посреди комнаты в кресле, — крутил усы, рассматривал свои лакированные полуботинки. Курить он все же не смел, — Зоя решительно запретила, а Роллинг строго наказал проявлять вежливость с дамой.

Он пробовал рассказывать о своих любовных похождениях в Варшаве и Париже, но Зоя с таким презрением смотрела в глаза, что у него деревенел язык. Приходилось помалкивать. Было уже около пяти утра. Все попытки Зои освободиться, обмануть, обольстить не привели ни к чему.

— Все равно, — сказала Зоя, — так или иначе я дам знать полиции.

— Прислуга в отеле подкуплена, дамы очень большие деньги.

— Я выбью окно и закричу, когда на улице будет много народа.

— Это тоже предусмотрено. И даже врач иняит, чтобы установить ваши нервные припадки. Мадам, вы, так сказать, для внешнего света на положеннн жены, пытающейся обмануть мужа. Вы — вне закона. Никто не поможет и не поверит. Сидите смирно.

Зоя хрустнула пальцами и сказала по-русски:

— Мерзавец. Полячишка. Лакей. Хам.

Тыклинский стал надвигаться, усы подливали дыбом. Но ввязываться в ругань не было приказано. Он проворчал:

— Э, знаем, как ругаются бабы, когда их хвалена красота не может поддействовать. Мне жалко вас, мадам. Но сутки, а то и двое, придется нам здесь просидеть в тет-а-тете. Лучше лягте, успокойте ваши нервы... Бай-бай, мадам.

К его удивлению, Зоя на этот раз послушалась. Сбросила туфельки, легла, устроилась на подушках, закрыла глаза.

Сквозь ресницы она видела толстое, сердитое, внимательно наблюдающее за ней лицо Тыклинского. Она зевнула раз, другой, положила руку под щеку.

— Устала, пусть будет что будет, — проговорила она тихо и опять зевнула.

Тыклинский удобнее устроился в кресле. Зоя ровнo дышала. Через некоторое время он стал тереть глаза. Встал, прошелся, — привалился к косяку. Видимо, решил бодрствовать стоя.

Тыклинский был глуп. Зоя выведала от него все, что было нужно, и теперь ждала, когда он заснет. Торчать у дверей было трудно. Он еще раз осмотрел замок и вериулся к креслу.

Через минуту у него отвалилась жириная челюсть. Тогда Зоя соскользнула с постели. Быстрым движением вытащила ключ у него из жилетного кармана. Подхватила туфельки. Вложила ключ, — тугой замок неожиданно закрипел.

Тыклинский вскрикнул, как в кошмаре: «Кто? Что?» Рванулся с кресла. Зоя распахнула дверь. Но он схватил ее за плечи. И сейчас же она впилась в его руку, с наслаждением прокусив кожу.

— Песья девка, курва! — заорал он по-польски. Ударил коленкой Зою в поясницу. Повалил. Отпихивая ее ногой в глубь комнаты, силится закрыть дверь. Но — что-то ему мешало. Зоя видела, как шея его налилась кровью.

— Кто там? — хрипло спросил он, наваливаясь плечом.

Но его ступни продолжали скользить по паркету, — дверь медленно растворялась. Он торопливо тасил из заднего кармана револьвер и вдруг отлетел на середину комнаты.

В двери стоял капитан Янсей. Мускулистое тело его облипала мокрая одежда. Секунду он глядел в глаза Тыклинскому. Стремительно, точно падая, киулся вперед. Удар, изначавшийся Роллингу, обрушился на поляка: двойной удар, — тяжестью корпуса на вытянутую левую — в переносицу — и со всем размахом плеча правой рукой снизу в челюсть. Тыклинский без крика опрокинулся на ковер. Лицо его было разбито и изломано.

Третьим движением Янсей повернулся к мадам Ламоль. Все мускулы его танцевали.

— Есть, мадам Ламоль.

— Янсей, как можно скорее, — на яхту.

— Есть на яхту.

Она закинула, как давеча в ресторане, локоть ему за шею. Не целуя, придвинула рот почти вплотную к его губам:

— Борьба только началась, Янсей. Самое опасное впереди.

— Есть самое опасное впереди.

79

— Извозчик, гоин, гоин вовсю... Я слушаю, мадам Ламоль... Итак... Покуда я ждал в курительной...

— Я поднялась к себе. Сняла шляпу и плащ.

Знаю.

— Откуда?

Рука Янсена задрожала за ее спиной. Зоя ответила ласковым движением.

— Я не заметила, что шкаф, которым была заставлена дверь в соседний номер, отодвинут. Не успела я подойти к зеркалу, открывается дверь, и — передо мной Роллинг... Но я ведь знала, что вчера еще он был в Париже. Я знала, что он до ужаса боится летать по воздуху... Но если он здесь, значит, для него действительно вопрос жизни или смерти... Теперь я поняла, что он задумал... Но тогда я просто пришла в ярость. Заманить, устроить мне ловушку... Я ему наговорила черт знает что... Он зажал уши и вышел...

— Он спустился в курительную и отослал меня на яхту...

— В том-то и дело... Какая я дура!.. А все эти таянцы, вино, глупости... Да, да, милый друг, когда хочешь бороться — глупости нужно оставить... Через две-три минуты он вернется. Я говорю: объяснимся... Он, — наглым голосом, каким никогда не смел со мной говорить: «Мне объяснять нечего, вы будете сидеть в этой комнате, пока я вас не освобожу...» Тогда я надавала ему пощечин...

— Вы настоящая женщина, — с восхищением сказал Янсен.

— Ну, милый друг, это была вторая моя глупость. Но какой трус!.. Снес четыре оплеухи... Стоял с трясушимися губами... Только попытался удержать мою руку, но это ему дорого обошлось. И, наконец, третья глупость: я заревела...

— О, негодай, негодай!..

— Подождите вы, Янсен... У Роллинга ндиосиризация к слезам, его корчит от слез... Он предпочел бы еще сорок пощечин... Тогда он позвал поляка, — тот стоял за дверью. У них все было условлено. Поляк сел в кресло. Роллинг сказал мне: «В виде крайней меры — ему приказано стрелять». И ушел. Я принялась за поляка. Через час мне был ясен во всех подробностях предательский план Роллинга. Янсен, милый, дело идет о моем счастье... Если вы мне не поможете, все пропало... Гоните, гоните извозчика...

Коляска пролетела по набережной, пустынной в этот час перед рассветом, и остановилась у гранитной лестницы, где внизу поскрипывало несколько лодок на черио-маслянистой воде.

Немного спустя Янсен, держа на руках драгоценную мадам Ламоле, неслышно поднялся по брошенной с кормы веревочной лестнице на борт «Арзона».

80

Роллинг проснулся от утреннего холода. Палуба была мокрая. Побледили огни на мачтах. Залив и город были еще в тенн, но дым над Везуном уже розовел.

Роллинг оглядывал сторожевые огни, очертания судов. Подошел к вахтенному, постоял

около него. Фыркнул носом. Поднялся на капитанский мостик. Сейчас же из каюты вышел Янсен, свежий, вымытый, выглаженный. Пожелал доброго утра. Роллинг фыркнул носом — несколько более вежливо, чем вахтенному.

Затем он долго молчал, крутил пуговицу на пиджаке. Это была дурная привычка, от которой его когда-то отучала Зоя. Но теперь ему было все равно. К тому же, наверно, в будущий сезон в Париже будет в моде — крутить пуговицы. Портные придумают даже специальные пуговицы для кручения.

Он спросил отрывисто:

— Утопленники всплывают?

— Если не привязывать груза, — спокойно ответил Янсен.

— Я спрашиваю: на море, если человек утонул, значит — утонул?

— Бывает, — неосторожное движение, или снесет волна, или такая случайность. Все это относится в разряд утонувших. Власть обычно не сует носа.

Роллинг дернул плечом.

— Это все, что я хотел знать об утопленниках. Я иду к себе в каюту. Если подойдет лодка, повторяю, не сообщать, что я на борту. Принять подъехавшего и доложить мне.

Он ушел. Янсен вернулся в каюту, где за синими задернутыми шторками на капитанской койке спала Зоя.

81

В девятом часу к «Аризоне» подошла лодка. Греб какой-то веселый оборванец, подняв весла, он крикнул:

— Алло... Яхта «Арзона»?

— Предположим, что так, — ответил датчанин-матрос, перегнувшись через фальшборт. — Имеется на вашей посудине некий Роллинг?

— Предположим.

Оборванец открыл улыбкой великолепные зубы:

— Держи.

Он ловко бросил на палубу письмо, матрос подхватил его, оборванец щелкнул языком:

— Матрос, солёные глаза, дай сигару.

И пока датчанин раздумывал, чем бы в него запустить с борта, тот уже отплыл и, приплясывая в лодке и кривляясь от неудержимой радости жизни в такое горячее утро, запел во все горло.

Матрос поднял письмо, понес его капитану. (Таков был приказ.) Янсен отодвинул шторку, наклонился над спящей Зоей. Она открыла глаза, еще полные сна.

— Он здесь?

Янсен подал письмо. Зоя прочла: «Я жестоко ранен. Будьте милосердны. Я боролся, как лев, за ваши интересы, но случилось невозможное: мадам Зоя на свободе. Припадаю к вашим...»

Не дожидаясь, Зоя разорвала письмо.

— Теперь мы можем ожидать его спокойно. (Она взглянула на Янсена, протянула ему

руку.) Янсен, милый, нам нужно уловиться. Вы мне нравитесь. Вы мне нужны. Стало быть, неизбежное должно случиться...

Она коротко вздохнула:

— Я чувствую, — с вами будет много хлопот. Милый друг, это все лишнее в жизни — любовь, ревность, верность... Я знаю — влечение. Это стихия. Я так же свободна отдавать себя, как и вы брать, — помните, Янсен. Заключим договор: либо я погибну, либо я буду властвовать над миром. (У Янсена поджались губы, Зоя понравилась это движение.) Вы будете орудием моей воли. Забудьте сейчас, что я — женщина. Я фантастка. Я авантюристка, — понимаете вы это? Я хочу, чтобы все было мое. (Она описала руками круг.) И тот человек, единственный, кто может мне дать это, должен сейчас прибыть из «Аризони». Я жду его, и ждет Роллинг...

Янсен поднял палец, оглянулся. Зоя задержала штормки. Янсен вышел на мостик. Там стоял, вцепившись в перила, Роллинг. Лицо его, с криво и плотно сложенным ртом, было искажено злобой. Он всматривался в еще дымную перспективу залива.

— Вот он, — с трудом проговорил Роллинг, протягивая руку, и палец его повис крючком над лазурным морем, — он в той лодке.

И он торопливо, наводя страх на матросов, кривоногий, похожий на краба, побежал по лестнице с капитанского мостика и скрылся у себя внизу. Оттуда по телефону он подтвердил Янсону давешний приказ — взять на борт человека, подплывающего на шестивесельной лодке.

82

Никогда не случалось, чтобы Роллинг отрывал пуговицы на пиджаке. Сейчас он открутил все три пуговицы. Он стоял посреди пышной, устланной широкими коврами, отделанной драгоценным деревом каюты и глядел на стениные часы.

Оборвав пуговицы, он принялся грызть ногти. С чудовищной быстротой он возвращался в первоначальное дикое состояние. Он слышал оклик вахтенного и ответ Гарина с лодки. У него вспотели руки от этого голоса.

Тяжелая лодка ударилась о борт. Раздалась дружная ругань матросов. Заскрипел трап, застучали шаги. «Бери, подхватывай... Осторожнее... Готово... Куда нести?» — Это грузили ящики с гиперболондами. Затем все утихло.

Гарин попался в ловушку. Наконец-то! Роллинг взялся холодными влажными пальцами за нос и издал шипящие, кашляющие звуки. Люди, знавшие его, утверждали, что он никогда в жизни не смеялся. Неправда! Роллинг любил посмеяться, но без свидетелей, наедине, после удач и именно так, беззвучно.

Затем по телефону он вызвал Янсена:

— Взял на борт?

— Да.

— Проведите его в нижнюю каюту и запирайте на ключ. Постарайтесь сделать это тихо, без шума.

— Есть, — бойко ответил Янсен. Что-то уж слишком бойко, Роллингу это не понравилось.

— Алло, Янсен?

— Да.

— Через час яхта должна быть в открытом море.

— Есть.

На яхте началась беготня. Загрохотала якорная цепь. Заработали моторы. За иллюминатором потекли струи зеленоватой воды. Стал поворачиваться берег. Влетел влажный ветер в каюту. И радостное чувство скорости разлилось по всему стройному корпусу «Аризони».

Разумеется, Роллинг понимал, что совершает большую глупость. Но не было прежнего Роллинга, холодного игрока, несокрушимого буйвола, непререкаемого посетителя воскресной проповеди. Он поступал теперь так или иначе не потому, что это было выгодно, а потому, что мука бессонных ночей, ненависть к Гарину, ревность искали выхода: растоптать Гарина и вернуть Зою.

Даже невероятная удача — гибель заводов Английской компании — прошла как во сне. Роллинг даже не поинтересовался, сколько сотен миллионов отсчитали ему двадцать девятую биржи всего мира.

В этот день он ждал Гарина в Париже, как было условлено. Гарин не приехал. Роллинг предвидел это и тридцатого бросился на аэроплане в Неаполь.

Теперь Зоя была убрана из игры. Между ним и Гариним инкто не стоял. Расправа продумана была до мелочей. Роллинг закурил сигару. Он нарочно несколько медлил. Он вышел из каюты в коридор. Отворил дверь на нижнюю палубу, — там стояли ящики с аппаратами. Два матроса, сидевшие на них, вскочили. Он отослал их в кубрик.

Захлопнув дверь на нижнюю палубу, он не спеша пошел к противоположной двери, в рубку. Взявшись за дверную ручку, заметил, что пепел на сигаре надломился. Роллинг самодовольно улыбнулся, мысли были ясны, давно он не ощущал такого удовлетворения.

Он распахнул дверь. В рубке, под хрустальным колпаком верхнего света, сидели, глядя на вошедшего, Зоя, Гарин и Шельга. Тогда Роллинг отступил в коридор. Он захохотался, мозг его будто мгновенно взболтали ложкой. Нос вспотел. И, что было уже совсем чудовищно, он улыбнулся жалко и глупо, совсем как служащий, накрытый за подчинением бухгалтерской книги (был с ним такой случай лет двадцать пять назад).

— Добрый день, Роллинг, — сказал Гарин, вставая, — вот и я, дружище.

83

Произошло самое страшное — Роллинг попал в смешное положение.

Что можно было сделать? Скрежетать зубами, бушевать, стрелять? Еще хуже, еще глупее... Капитан Янсен предал его, — ясно. Команда не надежна... Яхта в открытом море.

Уснем волн (у него даже скрипнуло что-то внутри). Роллинг согнал с лица проклятую улыбку.

— А! — Он поднял руку и помотал ею, приветствуя: — А, Гарин... Что же, захотели проветриться? Прошу, рад... Будем веселиться...

Зоя сказала резко:

— Вы скверный актер, Роллинг. Перестаньте потешать публику. Входите и садитесь. Здесь все свои, — смертельные враги. Сами виноваты, что приготовили себе такое веселеное общество для прогулки по Средиземному морю.

Роллинг оловянными глазами взглянул на нее.

— В больших делах, мадам Ламоль, нет личной вражды или дружбы.

И он сел к столу, точно на королевский трон, — между Зоей и Гариним. Положил руки на стол. Минуту длилось молчание. Он сказал:

— Хорошо, я проиграл игру. Сколько я должен заплатить?

Гарин ответил, блестя глазами, улыбкой, готовый, кажется, залиться самым добродушным смехом:

— Ровно половину, старый дружище, половину, как было условлено в Фонтенебло. Вот и свидетель. — Он махнул бородкой в сторону Шельги, вранчо барабанящего ногтями по столу. — В бухгалтерские книги ваши я залезать не стану. Но на глаз — миллиард в долларах, конечно, в окончательный расчет. Для вас эта операция пройдет безболезненно. Вы же загребли чертovsky деньги в Европе.

— Миллиард будет трудно выплатить сразу, — ответил Роллинг. — Я обдумую. Хорошо. Сегодня же я выеду в Париж. Надеюсь, в пятницу, скажем, в Марселе, я смогу выплатить большую часть этой суммы...

— Ай, ай, ай, — сказал Гарин, — но вы-то, старина, получите свободу только после уплаты.

Шельга быстро взглянул на него, промолчал. Роллинг поморщился, как от глупой бестактности:

— Я должен понять так, что вы меня намерены задержать на этом судне?

— Да.

— Напоминаю, что я, как гражданин Соединенных Штатов, неприкосновенен. Мою свободу и мои интересы будет защищать весь военный флот Америки.

— Тем лучше! — крикнула Зоя гневно и страстно. — Чем скорее, тем лучше!..

Она поднялась, протянула руки, сжала кулаки так, что побелели косточки.

— Пусть весь ваш флот — против нас, весь свет встанет против нас. Тем лучше!

Ее короткая юбка разлетелась от стремительного движения. Белая морская куртка с золотыми пуговичками, маленькая, по-юношески остриженная голова Зои и кулачки, в которых она собиралась стиснуть судьбу мира, серые глаза, потемневшие от волнения, взволнованное лицо — все это было и забавно и страшно.

— Должно быть, я плохо расслышал вас, сударыня, — Роллинг всем телом повернулся к ней, — вы собираетесь бороться с военным флотом Соединенных Штатов? Так вы изволили выразиться?

Шельга бросил барабанить ногтями. В первый раз за этот месяц ему стало весело. Он даже вытянул ноги и развалился, как в театре.

Зоя глядела на Гарина, взгляд ее темнел еще больше.

— Я сказала, Петр Петрович... Слово за вами...

Гарин заложил руки в карманы, встал на каблуки, покачиваясь и улыбаясь красным, точно накрашенным, ртом. Весь он казался фатоватым, несерьезным. Одна Зоя угадывала его стальную, играющую от перенасытка, преступную волю.

— Во-первых, — сказал он и поднялся на носки, — мы не питаем исключительной вражды именно к Америке. Мы постараемся потрепать любой из флотов, который попытается выступить с агрессивными действиями против меня. Во-вторых, — он перешел с носков на каблуки, — мы отнюдь не настаиваем на драке. Если военные силы Америки и Европы признают за нами священное право захвата любой территории, какая нам понадобится, право суверенности и так далее и так далее, — тогда мы оставим их в покое, по крайней мере, в военном отношении. В противном случае с морскими и сухопутными силами Америки и Европы, с крепостями, базами, военными складами, главными штабами и прочее и прочее будет поступлено беспощадно. Судьба анилиновых заводов, я надеюсь, убеждает вас, что я не говорю на ветер.

Он пошлепал Роллинга по плечу.

— Алло, старина, а ведь было время, когда я просил вас войти компаньоном в мое предприятие... Фантазии не хватало, а все от того, что высокой культуры у вас нет. Это что — раздвевать биржевиков да скупать заводы. Старинишка-матушка... А настоящего человека — прозевали... Настоящего организатора ваших дурацких миллиардов.

Роллинг начал походить на разлагающегося покойника. С трудом выдавливая слова, он прошипел:

— Вы анархист...

Тут Шельга, ухватившись здоровой рукой за волосы, принялся так хохотать, что наверху за стеклянным потолком появилось испуганное лицо капитана Янсена. Гарин повернулся на каблуках и опять — Роллингу:

— Нет, старина, у вас плохо стал варить котелок. Я — не анархист... Я тот самый великий организатор, которого вы в самом ближайшем времени начнете искать днем с фонарем... Об этом поговорим на досуге. Пишите чек... И полным ходом — в Марсель.

В ближайшие дни произошло следующее: «Аризона» бросила якорь на внешнем рейде в Марселе. Гарин предъявил в банке Люно-

ского кредита чек Роллинга на двадцать миллионов фунтов стерлингов. Директор банка в панике выехал в Париж.

На «Аризоне» было объявлено, что Роллинг болен. Он сидел под замком у себя в каюте, и Зоя неуспешно следила за его изоляцией. В продолжение трех суток «Аризона» грузилась жидким топливом, водой, консервами, вином и прочим. Матросы и зеваки на набережной немало дивились, когда к «шкарной кокотке» пошла шаланда, груженная мешками с песком. Говорили, будто яхта идет на Соломоновы острова, кишащие людоедами. Капитаном Янсеном было закуплено оружие — двадцать карабинов, револьверы, газовые маски.

В назначенный день Гарин и Янсен снова явились в банк. Их встретил товарищ министра финансов, экстренно прибывший из Парижа. Рассыпаясь в любезностях и не сомневаясь в подлинности чека, он все же пожелал видеть самого Роллинга. Его отвезли на «Аризону».

Роллинг встретил его совсем больной, с провалившимися глазами. Он едва мог подняться с кресла. Он подтвердил, что чек выдан им, что он уходит на яхте в далекое путешествие и просит поскорее кончить все формальности.

Товарищ министра финансов, взявшись за спинку стула и жестикулируя наподобие Камилла Демулена, произнес речь о великом братстве народов, о культурной сокровищнице Франции и попросил отсрочку платежа.

Роллинг, закрыв усталю глаза, покачал головой. Покончив на том, что Ллоисский кредит выплатит треть суммы в фунтах, остальные — во франках по курсу.

Деньги привезены были к вечеру на военном катере. Затем, когда посторонние были удалены, на капитанском мостике появились Гарин и Янсен.

— Свистать всех наверх.

Команда выстроилась на шканцах, и Янсен сказал твердым и суровым голосом:

— Матросы, яхта, называемая «Аризона», отправляется в чрезвычайно опасное и рискованное плавание. Будь я проклят, если я поручусь за чью-либо жизнь, за жизнь владельцев и целостность самого судна. Вы меня знаете, акулы дельфин... Жалованье я увеличиваю вдвое, так же удваиваются обычные премии. Всем, кто вернется на родину, будет дана пожизненная пенсия. Даю срок на размышление до захода солнца. Не желающие рисковать могут унести свои подошвы.

Вечером восемь человек из команды сошли на берег. В ту же ночь команду пополнили восемью отчаянными негодоями, которых капитан Янсен сам разыскал в портовых кабаках.

Через пять дней яхта легла на рейде в Соутгемптоне, и Гарин и Янсен предъявили в Английском королевском банке чек Роллинга на двадцать миллионов фунтов. (В палате по этому поводу был сделан мягкий запрос лидером рабочей партии.) Деньги выдали. Газеты взвыли. Во многих городах произошли ра-

бочные демонстрации. Журналисты рванулись в Соутгемптон. Роллинг не принял никого. «Аризона» взяла жидкого топлива и пошла через океан.

Через двенадцать дней яхта стала в Панамском канале и послала радио, вызывая к аппарату главного директора «Англии Роллинга» — Мак Линнея. В назначенный час Роллинг, сидя в радиорубке под дулом револьвера, отдал приказ Мак Линнею выплатить подателю чека, мистру Гарину, сто миллионов долларов. Гарин выехал в Нью-Йорк и возвратился с деньгами и самим Мак Линнеем. Это была ошибка. Роллинг говорил с директором ровно пять минут в присутствии Зои, Гарина и Янсена. Мак Линней уехал с глубоким убеждением, что дело нечисто.

Затем «Аризона» стала крейсировать в пустынном Карибском море. Гарин разезжал по Америке по заводам, зафрахтовывал пароходы, закупал машины, приборы, инструменты, сталь, цемент, стекло. В Сан-Франциско происходила погрузка. Доверенный Гарина заключал контракты с инженерами, техниками, рабочими. Другой доверенный выехал в Европу и вербовал средн остатков русской белой армии пятьсот человек для несения полной службы.

Так прошло около месяца. Роллинг ежедневно разговаривал по радио с Нью-Йорком, Парижем, Берлином. Его приказы были суровы и неумолимы. После гибели английских заводов европейская химическая промышленность перестала сопротивляться. «Англии Роллинг» — значилось на всех фабриках. Это было клеймо — желтый круг с тремя черными полосками и надписью: наверху — «Мир», внизу — «Англии Роллинг Компани». Началось походить на то, что каждый европеец должен быть проштампован этим желтым кружочком. Так «Англии Роллинг» шел на приступ сквозь дымящиеся развалины заводов Английской компании.

Колониальным, жутким запахом тянуло по всей Европе. Гасли надежды. Не возвращались веселье и радость. Гинли бесчисленные сокровища духа в пыльных библиотеках. Желтое солнце с тремя черными полосками озаряло неживым светом громады городов, трубы и дым, рекламы, рекламы, рекламы, выпивающие кровь у людей, и в кирпичных проплеванных улицах и переулках, между витрин, реклам, желтых кругов и кружочков — человеческие лица, искаженные гримасой голода, скуки и отчаяния.

Валюты падали. Налоги поднимались. Долги росли. И священной законности, повелевавшей чтить долг и право, ударило в лоб желтое клеймо. Плати.

Деньги текли ручейками, ручьями, реками в кассы «Англии Роллинга». Директора «Англии Роллинг» вмешивались во внутренние дела государств, в международную политику. Они составляли как бы орден тайных правителей.

Гарин носился из конца в конец по Соединенным Штатам с двумя секретарями, инженерами, пишущими барышнями и сворой рас-

сильных. Он работал двадцать часов в сутки. Никогда не спрашивал цен и не торговался.

Мак Линней с тревогой и изумлением следил за ним. Он не понимал, для чего все это покупается и грузится и зачем с таким безрассудством расшвыриваются миллионы Роллинга. Секретарь Гарина, одна из пишущих барышень и двое рассыльных были агентами Мак Линнея. Они ежедневно посылали ему в Нью-Йорк подробный отчет. Но все же трудно было что-либо понять в этом вихре закупок, заказов и контрактов.

В начале сентября «Аризона» опять появилась в Паиамском канале, взяла на борт Гарина и, выйдя в Тихий океан, исчезла в направлении на юго-запад.

В том же направлении, двумя неделями позже, вышли десять груженых кораблей с запечатанными приказами.

85

Океан был беспокойен. «Аризона» шла под парусами. Были поставлены гроты и кливера, — все паруса, кроме марселей. Узкий корпус яхты, — скорлупка с парусами, напоявляемый ветром, со звенящими, поющим вантам, — то скрывался до верхушек мачт между волнами, то взмывал на гребне, отряхивая пену.

Теит был убран. Люки задраены. Шлюпки подняты на палубу и закреплены. Мешки с песком, положенные вдоль обоих бортов, увязаны проволокой. На баке и на юте установлены две решетчатые башин с круглыми, как котлы, камерами на верхних площадках. Башин эти, покрытые брезентами, придавали «Аризоне» странный профиль полувоенного судна.

На капитанском мостике, куда долетали только брызги волн, стояли Гарин и Шельга. На обоих — кожаные плащи и шляпы. Рука Шельги была освобождена от гипса, но пока еще годилась только иа то, чтобы взять коробку спичек да вылку за столом.

— Вот океан, — сказал Гарин, — и ничтожное суденышко, кристаллик человеческого гения и волн... Летим, товарищ Шельга, хоть ты что... Боремся... А волны какие... Гляди-те — горы.

Огромная волна шла с правого борта. Кипящий гребень ее рос и пенился. Под ним все круче выгибалась стеклянно-зеленая вогнутая поверхность в жгутах пены. Гребень закручивался. «Аризона» ложилась на левый борт. Пел дикий ветер между парусами, вынося корабль из бездны. И он, совсем ложась, показывая красное днище до киля, наконец, по вогнутой поверхности вылетел на гребень волны и скрылся в шумящей пене. Исчезнул палуба, и шлюпки, и бак, погрузились до купола решетчатая мачта на баке. Вода кипела кругом капитанского мостика.

— Здорово! — крикнул Гарин.

«Аризона» выпрямилась, вода схлынула с палубы, кливера плеснули, и она понеслась вниз по уклону волны.

— Так и человек, товарищ Шельга, так и че-

ловек в человеческом океане... Я вот страстно полюбил это суденышко... Разве мы не похожи?... У обоих грудь полна ветром... А?

Шельга пожал плечами, не ответил. Не спорить же с этим — влюбленным в себя до восторга... Пусть упивается — сверхчеловек, да и только. Недаром он и Роллинг нашли на земле друг друга: лютые враги, а одному без другого не дыхнуть. Химический король порождает из своего чрева этого воспаленного преступными идеями человечка, — тот, в свою очередь, оплодотворяет чудовищной фантазией Роллингов пустыню. Кол им обоим в глотку!

Действительно, трудно было понять, почему до сих пор Роллинг не жрут акулы. Дело свое он сделал, — ие миллиард, но трста миллионов долларов Гарин получил. Теперь бы и концы в воду. Но нет, что-то еще более прочное связывало этих людей.

Не понимал Шельга также, почему и его не спихнули за борт в Тихом океане. Тогда, в Неаполе, он был иужеи Гариу как третье лицо и свидетель. Явись Гарин один в Неаполе на «Аризону», могли случиться неожиданные неприятности. Но устранить сразу двоих Роллингу было бы гораздо труднее. Все это ясно. Гарин выиграл партию.

Зачем же ему теперь Шельга? Во время крейсества в Караибском море были еще строгости. Здесь же, в океане, за Шельгой никто не следил, и он делал, что хотел. Присматривался. Прислушивался. И ему начинали мерещиться кое-какие выходы из скверного положения.

Перегон по океану был похож на увеселительную прогулку. Завтраки, обеды и ужины обставлены с роскошью. За стол садилась Гарин, мадам Ламоль, Роллинг, капитан Янсен, помощник капитана, Шельга, инженер Чермак — чех (помощник Гарина), шупленький, вздерженный, болезненный человек, с бледными пристальными глазами и реденькой бородкой, и второй помощник — хиник, немец Шефер, костлявый, застесливый молодой человек, еще недавно умиравший с голоду в Сан-Франциско.

В этой странной компании смертельных врагов, убийц, грабителей, авантюристов и голдных ученых — во фраках, с бутоньерками в петлицах, — Шельга, как и все, — во фраке, с бутоньеркой, спокойно помалкивал, ел и пил со вкусом.

Сосед справа однажды пустил в него четыре пули, сосед слева — убийца трех тысяч человек, напротив — красавица, бесовка, какой еще не видал свет.

После ужина Шефер садился за пианино, мадам Ламоль танцевала с Янсом. Роллинг оставался обычно у стола и глядел на танцующих. Остальные поднимались в курительный салон. Шельга шел курить трубку на палубу. Его никто не удерживал, никто не замечал. Дни проходили одиозно. Суровому океану не было конца. Катились волны так же, как миллионы лет тому назад.

Сегодня Гарин, сверх обыкновения, вышел вслед за Шельгой на мостик и заговорил с

ним по-приятельски, будто ничего и не произошло с тех пор, как они сидели на скамеечке на бульваре Профсоюзов в Ленинграде. Шельга насторожился. Гарию восхищался яхтой, самим собой, океаном, но, видимо, куда-то клонил.

Со смехом сказал, отряхивая брызги с бордки:

— У меня к вам предложение, Шельга.

— Ну?

— Помните, мы условились играть честную партию?

— Так.

— Кстати... Ай, ай... Это ваш подручный угостил меня из-за кустов? На волосок ближе — и череп вдребезги.

— Ничего не знаю...

Гарин рассказал о выстреле на даче Штутфера. Шельга замотал головой.

— Я ни при чем. А жаль, что промахнулся...

— Значит — судьба?

— Да, судьба.

— Шельга, предлагаю вам на выбор, — глаза Гарины, неумолимые и колючие, приблизились, лишь сразу стало злым, — либо вы бросьте разыгрывать из себя принципиального человека... либо я вас вышвырну за борт. Погляди?

— Понял.

— Вы мне нужны. Вы мне нужны для больших дел... Мы можем договориться... Единственный человек, кому я верю, — это вам.

Он не договорил, гребень огромной волны, выше прежних, обрушился на яхту. Кипящая пена покрыла капитанский мостик. Шельгу бросило на перила, его выкаченные глаза, разинутый рот, рука с растопыренными пальцами показались и исчезли под водой... Гарин кинулся в водоворот.

86

Шельга не раз впоследствии припоминал этот случай.

Рискуя жизнью, Гарин схватил его за край плаща и боролся с волнами, покада они не пронеслись через яхту. Шельга оказался висющим за перилами мостика. Легкие его были полны воды. Он тяжело упал на палубу. Матросы с трудом откачали его и унесли в каюту.

Туда же вскоре пришел и Гарин, переодетый и веселый. Приказал подать два стакачика грога и, раскурив трубку, продолжал прерванный разговор.

Шельга рассматривал его насмешливое лицо, локвое тело, развалившееся в кожаном кресле. Станный, противоречивый человек. Бандит, негодяй, темный авантюрист... Но от грога лн, или от перенесенного потрясения Шельге приятно было, что Гарин вот так сидит перед ним, задрал ногу на колено, и курит и рассуждает о разных вещах, как будто не трещат бока «Аризоны» от ударов волн, не проносятся кипящие струи за стеклом иллюминатора, не уносятся, как на качелях, вниз

и вверх, то Шельга на койке, то Гарин в кресле.

Гарин сильно изменился после Ленинграда, — весь стал уверенный, смеющийся, весь благорасположенный и добродушный, какими только бывають очень умиые, убежденные эгоисты.

— Зачем вы пропустили удобный случай? — спросил его Шельга. — Или вам до зарезу нужна моя жизнь? Не понимаю.

Гарин закинул голову и засмеялся весело:

— Чудак вы, Шельга... Зачем же я должен поступать логично?.. Я не учитель математики... До чего ведь дожили... Простое проявление человечности — и непонятно. Какая мне выгода была тащить за волосы утопающего? Да никакая... Чувство симпатии к вам... Человечество...

— Когда взрывали анилиновые заводы, как-жестя, не думали о человечности.

— Нет! — крикнул Гарин. — Нет, не думал. Вы все еще никак не можете выкарабкаться из-под обломков морали... Ах, Шельга, Шельга... Что это за полочки: на этой полочке — хорошее, на этой — плохое... Я понимаю, дегустатор: пробует, плюет, жует корочку, — это, говорит, вино хорошее, это плохое. Но ведь руководится он вкусом, пупырешками на языке. Это реальность. А где ваш дегустатор моральных марок? Какими пупырешками он это пробует?

— Все, что ведет к установлению на земле советской власти, — хорошо, — проговорил Шельга, — все, что мешает, — плохо.

— Превосходно, чудю, знаю... Ну, а вам-то до этого какое дело? Чем вы связаны с Советской республикой? Экономически? Вздор... Я вам предлагаю жалование в пятьдесят тысяч долларов... Говорю совершенно серьезно. Пойдете?

— Нет, — спокойно сказал Шельга.

— То-то что нет... Значит, связаны вы не экономически, а идеей, честностью: словом, материей высшего порядка. И вы злостный моралист, что я и хотел вам доказать... Хотите мир перевернуть... Расчисляете от тысячелетнего мусора экономические законы, взрываете империалистические крепости. Ладно. Я тоже хочу мир перевернуть, но по-своему. И переверну одной силой моего гения.

— Орел!

— Наперекор всему, заметьте, Шельга. Слушайте, да что же такое человек в конце концов? Ничтожнейший микроорганизм, вцепившийся в неказуемом ужасе смерти в глиняный шарик земли и летящий с ниею в ледяной тьме? Или это — мозг, божественный аппарат для выработки особой, таинственной материи — мысли, — материи, один микрон которой вмещает в себя всю вселенную... Ну? Вот — то-то...

Гарин усеялся глубже, поджал ноги. Всегда бледные щеки его зарумянились.

— Я предлагаю другое. Враг мой, слушайте... Я овладеваю всей полнотой власти на земле. Ни одна труба не задымит без моего приказа, ни один корабль не выйдет из гавани, ни один молоток не стукнет. Все подчинен-

по — вплоть до права дышать — центру. В центре — я. Мне принадлежит все. Я откачиваю свой профиль на кружочках: с бородкой, в венушке, а на обратной стороне профиль мадам Ламоль. Затем я отбираю «первую тысячу», — скажем, это будет что-нибудь около двух-трех миллионов пар. Это патрици. Они предаются высшим наслаждениям и творчеству. Для них мы установим, по примеру древней Спарты, особый режим, чтобы они не вырождались в алкоголиков и импотентов. Затем мы установим, сколько нужно рабочих рук для полного обслуживания культуры. Здесь также сделаем отбор. Этих назовем для вежливости — трудовиками...

— Ну, разумеется...

— Хинхат, друг мой, будете по окончании разговора... Они не избутиются, нет, дорогой товарищ. Возможность революций будет истреблена в корне. Каждому трудовику после классификации и перед выдачей трудовой книжки будет сделана маленькая операция. Совершенно незаметно, под нечаянным наркозом... Небольшой прокол сквозь черепную кость. Ну, просто закружилась голова, — очнулся, и он уже раб. И, наконец, отдельную группу мы изолируем где-нибудь на прекрасном острове исключительно для размножения. Все остальное придется убрать за ненадобностью. Вот вам структура будущего человечества по Петру Гарину. Эти трудовики работают и служат безропотно за пшцу, как лошади. Они уже не люди, у них нет иной тревоги, кроме голода. Они будут счастливы, превращая пшцу. А избранные патрици — это уже полубожества. Хотя я презираю, вообще-то говоря, людей, но принятие находится в хорошем обществе. Уверяю вас, дружище, это и будет самый настоящий золотой век, о котором мечтали поэты. Впечатление ужасов очистки земли от лишнего населения слгдятся очень скоро. Зато какие перспективы для гения! Земля превращается в райский сад. Рождение регулируется. Производит отбор лучших. Борьбы за существование нет: она — в туманах варварского прошлого. Вырабатывается красивая и утонченная раса — новые органы мышления и чувств. Покуда коммунизм будет волочить на себе все человечество на вершины культуры, я это сделаю в десять лет... К черту! — скорее, чем в десять лет... Для немногих... Но дело не в числе...

— Фашинский утопизм, довольно любопытно, — сказал Шельга. — Роллингу вы об этом рассказывали?

— Не утопия, — вот в чем весь курьез. Я только логичен... Роллингу я, разумеется, ничего не говорил, потому что он просто животное... Хотя Роллинг и все Роллинги на свете вслепую делают то, что я развиваю в законченную и четкую программу. Но делают это варварски, громоздко и медленно. Завтра, надеюсь, мы будем уже на острове... Увидите, что я не шушу...

— С чего же начнете-то? Деньги с бородкой чеканить?

— Ишь ты, как эта бородка вас задела. Нет. Я начну с обороны. Укреплять остров. И

одновременно бешеным темпом пробиваться сквозь Оливинный пояс. Первая угроза миру будет, когда я повалою золотой парнтет¹. Я смогу добывать золото в любом количестве. Затем перейду в наступление. Будет война — страшнее четырнадцатого года. Моя победа обеспечена. Затем — отбор оставшегося после войны и моей победы населения, уничтоженные непригодных элементов, и мною избранная раса начинает жить, как боги, а «трудовики» начинают работать не за страх, а за совесть, довольные, как первые люди в раю. Ловко? А? Не нравится?

Гарин снова расхохотался. Шельга закрыл глаза, чтобы не глядеть на него. Игра, начатая на бульваре Профсоюзов, разворачивалась в серьезную партию. Он лежал и думал. Оставался опасный, но единственный ход, который только и мог привести к победе. Во всяком случае, самое неверное было бы сейчас ответить Гарину отказом. Шельга потянулся за папиросами, Гарин с усмешкой наблюдал за ним.

— Решили?

— Да, решил.

— Великолечно. Я раскрываю карты: вы мне нужны, как камень для огнива. Шельга, я окружен тупым зверьем. Людям без фантазии. Мы будем с вами ссориться, но я добьюсь, что вы будете работать со мной. Хотя бы в первой половине, когда мы будем бить роллингов... Кстати, предупреждаю, бойтесь Роллинга, он упрям, и если решил вас убить, — убьет.

— Меня давно удивляло, почему вы его не скормили акулам.

— Мне нужен заложник... Но, во всяком случае, он-то не попадет в список «первой тысячи»...

Шельга помолчал. Спросил спокойно:

— Сидишь у вас не было, Гарин?

— Представьте — не было. Мне тоже иногда думалось, все ли в порядке в черепушке... Ходил даже к врачу. Рефлексы повышены, только. Ну, одевайтесь, идем ужинать.

87

Грозовые тучи утонули на северо-востоке. Синий океан был необъятно ласков. Мягкие гребни волн сверкали стеклом. Гнались дельфины за водяным следом яхты, перегоняя, кувыркались, маслянистые и веселые. Гортанно кричали большие чайки, плывя над парусами. Вдали из океана подымались голубоватые, как мираж, очертания скалистого острова.

Сверху — в бочке — матрос крикнул: «Земля». И стоявшие на палубе вздрогнули. Это была земля неведомого будущего. Она была похожа на длинное облачко, лежащее на горизонте. К нему несли «Аризону» полные ветра паруса.

Матросы мыли палубу, шлепая босыми но-

¹ Постоянная стоимость золота во всем мире. Задача Гарина обесценить золото, чтобы внести хаос среди денежных магнатов буржуазного мира и овладеть властью. (Примеч. А. Н. Толстого.)

гами. Косматое солнце пылало в бездонных просторах неба и океана. Гарин, пощипывая бородку, силится проникнуть в плену будущего, окутавшую остров. О, если бы знать!..

88

В далеких перспективах Васильевского острова пылал осенний закат. Багровым и мрачным светом были озарены баржи с дровами, буксиры, лодки рыбаков, дымы, запутавшиеся между решетчатыми кранами эллингов. Пожаром горели стекла пустынных двorcов.

С запада, из-за дымов, по лилово-черной Неве подходил пароход. Он заревел, приветствуя Ленинград и конец пути. Огни его иллюминаторов озарили колонны Горного института, Морского училища, лица гуляющих, и он стал отшвартовываться у плавающей, красной, с белыми колонками, таможи. Началась обычная суета досмотра.

Пассажир первого класса, смуглый, широкоскулый человек, по паспорту научный сотрудник Французского географического общества, стоял у борта. Он глядел на город, затянутый вечерним туманом. Еще остался свет на куполе Исаакия, на золотых иглах Адмиралтейства и Петропавловского собора. Казалось, этот шпиль, пронзающий небо, задуман был Петром как меч, грозивший на морском рубеже России.

Широкоскулый человек вытянул шею, глядя на иглу собора. Казалось, он был потрясен и взволнован, как путник, увидевший после многолетней разлуки кровлю родного дома. И вот по темной Неве от крепости долетел торжественный звон: на Петропавловском соборе, где догорал свет на узком мече, над могилками императоров куранты играли «Интернационал».

Человек стиснул перла, из горла его вырвалось что-то вроде рычания, он повернулся спиной к крепости.

В таможне он предъявил паспорт на имя Артура Левн и во все время осмотра стоял, хмуро опустив голову, чтобы не выдать злого блеска глаз.

Затем, положив клетчатый плед на плечо, с небольшим чемоданчиком, он сошел на набережную Васильевского острова. Снял осенние звезды. Он выпрямился с долго сдерживаемым вздохом. Оглянул спящие дома, пароход, на котором горели два огня на мачтах да тихо постукивал мотор динамо, и зашагал к мосту.

Какой-то высокий человек в парусиновой блузе медленно шел навстречу. Минув, взглянул в лицо, прошептал: «Батюшки», — и вдруг спросил вдогонку:

— Волшин, Александр Иванович?

Человек, назвавший себя в таможне Артуром Леви, споткнулся, но, не оборачиваясь, еще быстрее зашагал по мосту.

89

Иван Гусев жил у Тарашкина, был ему не то сыном, не то младшим братом. Тарашкин учил его грамоте и уму-разуму.

Мальчишка оказался до того понятливый, упорный, — сердце радовалось. По вечерам напьются чаю с ситником и чайной колбасой, Тарашкин полезет в карман за папиросами, вспомнит, что дал коллективу клуба обещание не курить, — крикнет, взъерошит волосы и начинается разговор:

— Знаешь, что такое капитализм?

— Нет, Василий Иванович, не знаю.

— Объясню тебе в самой упрощенной форме. Девять человек работают, десятый у них все берет, они голодают, он лопається от жира. Это — капитализм. Понял?

— Нет, Василий Иванович, не понял.

— Чего ты не понял?

— Зачем онн ему дают?

— Он заставляет, он эксплуататор...

— Как заставляет? Их девять, он один...

— Он вооружен, он безоружные...

— Оружие всегда можно отнять, Василий Иванович. Это, значит, они нерасторопные...

Тарашкин с восхищением, приоткрывая рот, глядел на Ивана.

— Правильно, брат... Рассуждаешь по-большевистски... Мы в Советской России так и сделали — оружие отняли, эксплуататоров прогнали, и у нас все десять человек работают и все сытые...

— Все от жира лопаемся...

— Нет, брат, лопаться от жира не надо, мы не свиньи, а люди. Мы жир должны перегонять в умственную энергию.

— Это чего это?

— А то, что ты в кратчайший срок должен стать самым умным, самым образованным народом на свете... Понятно? Теперь давай арифметику, — говорил Иван, доставая тетрадь и карандаш.

— Нельзя муслить чернильными карандаш — это некультурно... Понятно?

Так они занимались каждый вечер, далеко за полночь, пока у обоих не начинали слипаться глаза.

90

У калитки гребного клуба стоял скуластый, хорошо одетый гражданин и тростью ковырял землю. Он поднял голову и так странно поглядел на подходивших Тарашкина и Ивана, что Тарашкин ошетинился. Иван прижался к нему. Человек сказал:

— Я жду здесь с утра. Этот мальчик и есть Иван Гусев?

— А вам какое дело? — засопев, спросил Тарашкин.

— Виноват, прежде всего вежливость, товарищ. Моя фамилия Артур Левн.

Он вынул карточку, развернул перед носом у Тарашкина:

— Я сотрудник советского полпредства в Париже. Вам этого довольно, товарищ?

Тарашкин проворчал неопределенное. Артур Левн достал из бумажника фотографию, взятую Гаринным у Шельги.

— Вы можете подтвердить, что снимок сделан именно с этого самого мальчонка?

Тарашкину пришлось согласиться. Иван по-

пытался было улизнуть, но Артур Левин жестко, взяв его за плечо.

— Фотографию мне передал Шельга. Мне давно секретное поручение отвезти мальчику по указанному адресу. В случае сопротивления должен его арестовать. Вы намерены подчиниться?

— Мандат? — спросил Тарашкин.

Артур Левин показал мандат с бланком советского посольства в Париже, со всеми подписями и печатами. Тарашкин долго читал его. Вздохи, сложил четверо.

— Черт его разберет, будто бы все правильно. А может, кому бы другому вместо него поехать? Мальчишке учиться надо...

Артур Левин зубасто усмехнулся:

— Не бойтесь. Мальчику со мной будет плохо...

91

Тарашкин наказал Ивану посылать вести с дороги. Тревога его немного улеглась, когда он получил из Челябинска открытку:

«Дорогой товарищ Тарашкин, слава тебе, — едем мы ничего себе, в первом классе. Пшча хорошая, а также обращение. В Москве Артур Артурович купил мне шапку, новый пиджак на вате и сапоги. Одно — скука заедает: Артур Артурович целый день молчит. Между прочим, в Самаре на вокзале встретил я одного беспризорного, бывшего товарища. Я ему дал, извините, ваш адрес, наверно, придет, ждите».

92

Александр Иванович Волшин прибыл в СССР с паспортом на имя Артура Леви и бумагами от Французского географического общества. Все документы были в порядке (в свое время это стоило Гарину немало хлопот), — сфабрикованы были лишь мандат и удостоверение из подпредства. Но эти бумажки Волшин показал только Тарашкину. Официально же Артур Левин приехал для исследования вулканической деятельности камчатских гигантских огнедышащих гор — сопок по местному названию.

В середине сентября он выехал вместе с Иваном во Владивосток. Ящики со всеми инструментами и вещами, нужными для экспедиции, прибыли туда еще заранее морем из Сан-Франциско. Артур Левин торопился. В несколько дней собрал партию, и двадцать восьмого сентября экспедиция отплыла из Владивостока на советском пароходе в Петропавловск. Переход был тяжелый. Северный ветер гнал тучи, сеющие снежной крупой в свищевые волны Охотского моря. Пароход тяжело скрипел, ныряя в грозной водяной пустыне. В Петропавловск прибыли только на одиннадцатый день. Выгрузили ящики, лошадей и на другие сутки уже двинулись через леса и горы, тропами, руслами ручьев, через болота и лесные чащобы.

Экспедицию вел Иван, — у мальчишки

были хорошая память и собачье чутье. Артур Левин торопился; трогались в путь на утренней заре и шли до темноты, без привалов. Лошади выбивались из сил, люди роптали: Артур Левин был неумолим, — он не щадил никого, но хорошо платил.

Погода портилась. Мрачно шумели вершины кедров, иногда слышался тяжелый треск повалившегося столетнего дерева или грохот каменной лавины. Камнями убило двух лошадей, две другие вместе с вьюками утонули в трясине зыбучего болота.

Иван обычно шел впереди, карабкался на сопки, влезая на деревья, чтобы разглядеть одному ему известные приметы. Однажды он закричал, раскачиваясь на кедровой ветке:

— Вот он! Артур Артурович, вот он!!

На отвесной скале, вневшей над горной речкой, было видно древнее, высеченное на камне, полустертое временем изображение воина в конусообразной шапке, со стрелой в луком в руках...

— Отсюда теперь на восток, прямо по стреле до Шайтан-камня, а там недалеко лагерь! — кричал Иван.

Здесь стали привалом. Перепаковали вьюки. Зажгли большой костер. Утомленные люди заснули. В темноте сквозь шум кедров доносились отдельные глухие взрывы, вздрагивала земля. И когда огонь костра начал угасать, на востоке под тучами обозначилось зарево, будто какой-то великан раздувал угли между гор и их мрачный отсвет мигал под тучами...

Чуть свет Артур Левин, не отнимавший руки от кобуры маузера, уже расталкивал пинками людей. Он не дал развестись огню, вскипятить чай. «Вперед, вперед!..» Измученные люди побрели через непролазный лес, загромаженный осколками камней. Деревья здесь были необыкновенной высоты. В папоротнике лошади скрывались с головой. У всех ноги были в крови. Еще двух лошадей пришлось бросить. Артур Левин шел сзади, держа руку на маузере. Казалось, еще несколько шагов, — и хоть убивай на месте — никто не сдвинется с места...

По ветру донесся звонкий голос Ивана:

— Сюда, сюда, товарищи, вот он, Шайтан-камень...

Это была огромная глыба в форме человеческой головы, окутанная клубами пара. У ее подножия из земли била, пульсируя, струя горячей воды. С незапамятных времен люди, оставившие путевые знаки на скалах, купались в этом источнике, восстанавливающим силы. Это была та самая «живая вода», которую в сказках приносил ворон, — вода, богатая радиоактивными солями.

93

Весь этот день дул северный ветер, ползли тучи низко над лесом. Печально шумели высокие сосны, гиулись темные вершины кедров, облетали лиственницы. Сыпало крупно из туч, сыло ледяным дождем. Тайга была пустыня. На тысячу верст шумела хвоя над болотами, над каменистыми сопками. С каж-

дым днем студнее, страшнее дышал север с беспросветного неба.

Казалось, ничего, кроме важного шума вершины да посвистывания ветра, не услышишь в этой пустыне. Птицы улетели, зверь ушел, попрятался. Человек разве только за смертью забрел бы в эти места.

Но человек появился. Он был в рыжей рваной дохе, низко подпоясанный веревкой, в разбухших от дождя пимах. Лицо заросло космами не чесанной уже несколько лет бороды, седые волосы падали на плечи. Он с трудом передвигался, опираясь на ружье, огибал косогор, скрываясь иногда за корневищами. Останавливался, согнувшись, и начинал посвистывать:

— Фють, Машка, Машка... Фють...

Из бурьяна поднялась голова лесного козла с обрывком веревки на вытертой шее. Человек поднял ружье, но козел снова скрылся в бурьяне. Человек зарычал, опустился на камень. Ружье дрожало у него между колен, он уронил голову. Долго спустя, опять стал звать:

— Машка, Машка...

Мутные глаза его искали среди бурьяна эту единственную надежду — ручного козла: убить его последним оставшимся зарядом, высушить мясо и протянуть еще несколько месяцев, быть может, даже до весны.

Семь лет тому назад он искал применения своим гениальным замыслам. Он был молод, силен и беден. В роковой день он встретил Гарина, развернувшего перед ним такие грандиозные планы, что он, бросив все, очутился здесь, у подножия вулкана. Семь лет тому назад здесь был вырублен лес, поставлено зимовище, лаборатория, радиоустановка от маленькой гидростанции. Земляные крыши поселка, просевшие и провалившиеся, виднелись среди огромных камней, некогда выброшенных вулканом, у стены шумящего вершинами мачтового леса.

Люди, с которыми он пришел сюда, — одни умерли, другие убежали. Постройки пришли в негодность, плотину маленькой гидростанции снесло весенней водой. Весь труд семи лет, все удивительные выводы — исследования глубоких слоев земли — Оливинового пояса — должны были погибнуть вместе с ним из-за такой глупости, как Машка — козел, не желающий подходить на ружейный выстрел, сколько его, проклятого, ни зови.

Прежде шуткой бы показалось — пройти в тайге километров триста до человеческого поселения. Теперь ноги и руки изломаны ревматизмом, зубы вывалились от цинги. Последней надеждой был ручной козел, — старик готовил его на зиму. Проклятое животное перерезало веревку и удало из клетки.

Старик взял ружье с последним зарядом и ходил, подманивая Машку. Близился вечер, темнели гряды туч, злее шумел ветер, раскачивая огромные сосны. Надвигалась зима — смерть. Сжималось сердце... Неужели никогда больше ему не увидеть человеческого лица, не погнестъ у огня печи, вдыхая запах хлеба, запах жизни? Старик молча заплакал.

Долго спустя — еще раз позвал:

— Машка, Машка...

Нет, сегодня не убить... Старик, кряхтя, поднялся, побрел к зимовищу. Остановился. Поднял голову, — снежная крупа ударила в лицо, ветер трепал бороду... Ему показалось... Нет, нет, — это ветер, должно быть, заскрипел сосной о сосну... Старик все же долго стоял, стараясь, чтобы не так громко стучало сердце...

— Э-э-э-эй, — слабо долетел человеческий голос со стороны Шайтан-камня.

Старик ахнул. Глаза застало слезами. В разинутой рот било крупой. В нагнувшихся сумерках уже ничего нельзя было различить на поляне...

— Э-э-э-эй, Маицев, — снова долетел слышимый ветром мальчишеский звонкий голос. Из бурьяна поднялась козлиная голова, — Машка подошла к старику и, наставив ушки, тоже прислушивалась к необычайным голосам, потревожившим эту пустыню... Справа, слева приближались, звали.

— Э-эй... Где вы там, Маицев? Живы?

У старика тряслась борода, тряслись губы, он разводил руками и повторял беззвучно:

— Да, да, я жив... Это я, Маицев.

Прокопченные бревна зимовища никогда еще не видели такого великолетия. В очаге, сложенном из вулканических камней, пылал огонь, в котелках кипела вода. Маицев тягивал изюрами давно забытые запахи чая, хлеба, сала.

Входили и выходили громкогласные люди, вносил и распаковывал ящики. Какой-то скуластый человек подал ему кружку с дымящимся чаем, кусок хлеба... Хлеб. Маицев задрожал, торопливо пережевывая его деснами. Какой-то мальчик, присев на корточки, сочувственно глядел, как Маицев то откусит хлеб, то прижмет его к косматой бороде, будто бонтя: не сон ли вся эта жизнь, воровавшаяся в его полудразнящее зимовище.

— Николай Христофорович, вы меня не узнаете, что ли?

— Нет, нет, я отвык от людей, — бормотал Маицев, — я очень давно не ел хлеба.

— Я же Иван Гусев... Николай Христофорович, ведь я все сделал, как вы наказывали. Помните, еще грозилась мне голову оторвать.

Маицев ничего не помнил, только тарачился на озаренные пламенем незнакомые лица. Иван стал ему рассказывать про то, как тогда шел тайгой к Петропавловску, прятался от медведей, видел рыжую кошку величиной с теленка, слыно ее испугался, но кошка и за ней еще три кошки прошли мимо; питался кедровыми орехами, разыскивая их в беличьих гнездах; в Петропавловске наеялся па пароход чистить картошку; приплыл во Владивосток и еще семь тысяч километров трясся под вагонами в угольных ящиках.

— Я свое слово сдержал, Николай Христофорович, привел за вами людей. Только вы тогда напрасно мне на спине чернильным карандашом писали. Надо было просто сказать: «Иван, даешь слово?» — «Даю». А вы мне на спине написали, может, что-нибудь против советской власти. Разве это красиво? Теперь

вы на меня больше не рассчитывайте, я — пионер.

Наклонившись к нему, Манцев спросил, выворачивая губы, хриплым шепотом.

— Кто эти люди?

— Французская ученая экспедиция, говорю вам. Специально меня разыскали в Ленинграде, чтобы вести ее сюда, за вами...

Манцев больно схватил его за плечо:

— Ты видел Гарина?

— Николай Христофорович, бросьте запугивать, у меня теперь за плечами советская власть... Ваша записка на моем горбу попала в надежные руки... Гарин мне ни к чему.

— Зачем они здесь? Что они от меня хотят?.. Я им ничего не скажу. Я им ничего не покажу.

Лицо Манцева багровело, он возбужденно озирался. Рядом с ним на нары сел Артур Левин.

— Надо успокоиться, Николай Христофорович. Кушайте, отдыхайте... Времени у нас будет много, раньше ноября вас отсюда не увезем...

Манцев слез с нар, руки его тряслись...

— Я хочу с вами говорить с глазу на глаз.

Он проковылял к двери, сколоченной из нетесаных, наполовину стгнивших горбылей. Толкнул ее. Ночной ветер подхватил его седые космы. Артур Левин шагнул за ним в темноту, где крутился мокрый снег.

— В моей винтовке последний заряд... Я вас убью! Вы пришли меня ограбить! — закричал Манцев, трясаясь от злобы.

— Пойдемте, станем за ветром. — Артур Левин потащил его, прислонил к бревенчатой стене. — Перестаньте беспокоиться. Меня прислал за вами Петр Петрович Гарин.

Манцев судорожно схватился за руку Левина. Распухшее лицо его, с вывороченными веками, тряслось, беззубый рот всхлипывал:

— Гарин жив?.. Он не забыл меня? Вместе голодали, вместе строили великие планы... Но все это чепуха, бредни... Что я здесь открыл?.. Я прощупал земную кору... Я подтвердил все мои теоретические предположения... Я не ждал таких блестящих выводов... Оливин здесь, — Манцев затопал мокрыми пимами, — ртуть и золото можно брать в неограниченном количестве... Слушайте, короткими волнами я прощупал земное ядро... Там черт знает что делается... Я перевернул мировую науку... Если бы Гарин смог достать сто тысяч долларов, — что бы мы натворили!..

— Гарин располагает миллиардами, о Гарине кричат газеты всего мира, — сказал Левин, — ему удалось построить гиперболюид, он завладел островом в Тихом океане и готовится к большим делам. Он ждет только ваших исследований земной коры. За вами пришлют дирижабль. Если не помешает погода, через месяц мы сможем поставить причальную мачту.

Манцев привалился к стене, долго молчал, уронив голову.

— Гарин, Гарин, — повторил он с душевнораздирающей укоризной. — Я дал ему идею гиперболюида. Я навел его на мысль об Оливиновом поясе. Про остров в Тихом океане

сказал ему я. Он обокрал мой мозг, сгноил меня в проклятой тайге... Что теперь я возмем от жизни? — постель, врача, манную кашу... Гарин, Гарин... Пожиратель чужих идей!..

Манцев поднял лицо к бушующей непогоде:

— Цинга съела мои зубы, лишен источник моей кожи, я почти слеп, мой мозг отупел... Поздно, поздно вспомнил обо мне Гарин...

94

Гарин послал в газеты Старого и Нового Света радио о том, что им, Пьером Гарри, занят в Тихом океане, под сто тридцатым градусом западной долготы и двадцать четвертым градусом южной широты, остров площадью в пятьдесят пять квадратных километров, с прилегающими островками и мелями, что этот остров он считает своим владением и готов до последней капли крови защищать свои суверенные права.

Впечатление получилось смехотворное. Островишко в южных широтах Тихого океана был необитаем и ничем, кроме животноности, не отличался. Даже произошла путаница, — кому, собственно, он принадлежит: Америке, Голландии или Испании? Но с американцами долго спорить не приходилось, — поворчали и отступились.

Остров не стоил того угля, который нужно было затратить, чтобы долететь к нему, но принцип прежде всего, и из Сан-Франциско вышел легкий крейсер, чтобы арестовать этого Пьера Гарри и на острове поставить на вечные времена железную мачту с прорезанным звездным флагом Соединенных Штатов.

Крейсер ушел. Про смехотворную историю с Гаринским был сочинен фокстрот «Бедный Гарри», где говорилось о том, как маленький, бедный Пьер Гарри полюбил креолку, и так ее полюбил, что захотел сделать ее королевой. Он увез ее на маленький остров, и там они танцевали фокстрот, король с королевой вдвоем. И королева просила: «Бедный Гарри, я хочу завтракать, я голодна». В ответ Гарри только вздыхал и продолжал танцевать, — увы, кроме раковин и цветов, у него ничего не было. Но вот пришел корабль. Красавец капитан предложил королеве руку и повел к великолепному завтраку. Королева смеялась и кушала. А бедному Гарри оставалось только танцевать одному... И так далее... Словом, все это были шуточки.

Дней через десять пришло радио с крейсера:

«Стою в виду острова. Высадиться не пришлось, так как получил предупреждение, что остров укреплен. Послал ультиматум Пьеру Гарри, называющему себя владельцем острова. Срок завтра в семь утра. После чего высаживаю десант».

Это было уже забавно, — бедный Гарри грозит кулаком «шестиштыковым пушчам... Но ни назавтра, ни в ближайшие дни никаких известий с крейсера больше не поступало.

На последний запрос он не отвечал! Ого!

Кое-кто нахмурил брови в военном министерстве.

Затем в газетах появилось сенсационное интервью с Мак Линнеем. Он утверждал, что Пьер Гарри не кто иной, как известный русский авантюрист инженер Гарни, с которым связаны слухи о целом ряде преступлений, в том числе о загадочном убийстве в Вилье Давре, близ Парижа. История с захватом острова тем более удивляет Мак Линнея, что на борту яхты, доставившей на остров Гарни, находился не кто иной, как сам Роллинг, глава и распорядитель треста «Анилин Роллинг». На его средства были произведены огромные закупки в Америке и Европе и зафрахтованы корабли для перевозки материалов на остров. Пока все происходило в законном порядке, Мак Линней молчал, но сейчас он утверждает, что отличительная черта химического короля Роллинга — это исключительное уважение к законам. Поэтому несомненно, что наглый захват острова сделан вне воли Роллинга и доказывает только, что Роллинг содержится в плену на острове и что миллиардером пользуются в целях неслыханного шантажа.

Тут уже шутки кончились. Попиралось святое святых. Агенты полиции собрали сведения о закупках Гарни за август месяц. Получились ошеломляющие цифры. В то же время военное министерство напрасно разыскивало крейсер, — он исчез. И, ко всему, в газетах было опубликовано описание взрыва анилиновых заводов, рассказанное свидетелем катастрофы, русским ученым Хлыновым.

Начинался скандал. Действительно, под игом у правительства какой-то авантюрист прозвонил колоссальные военные закупки, захватил остров, лишил свободы величайшего из граждан Америки, и, ко всему, это был безнравственный негодяй, массовый убийца, гнусный зверь.

Телеграф принес еще одно ошеломляющее известие: тантенный дирижабль, новейшего типа, пролетел над Гавайскими островами, опустился в порте Гило, взял бензин и воду, проплыл над Курильскими островами, снизился над Сахалином, в порте Александровском взял бензин и воду, после чего исчез в северо-западном направлении. На металлическом борту корабля были замечены буквы П. и Г.

Тогда всем стало ясно: Гарни московский агент. Вот тебе и «бедный Гарри». Палата вотировала самые решительные меры. Флот из восьми линейных крейсеров вышел к острову Негодяев», как его теперь называли в американских газетах.

В тот же день радиостанции всего мира приняли коротковолновую радиogramму, чудовищную по наглости и дурному стилю:

«Алло! Алло! Говорит станция Золотого острова, именуемого по неосведомленности островом Негодяев. Алло! Пьер Гарри искренне советует правительствам всех стран не совать носа в его внутренние дела. Пьер Гарри будет обороняться, и всякий военный корабль или флот, вошедший в воды Золотого острова, будет подвергнут участи американского легкого крейсера, пущенного ко дну менее чем в

пятнадцать секунд. Пьер Гарри искренне советует всему населению земного шара бросить политику и беззаботно танцевать фокстрот его имени».

95

Плотина в овраге около зимовища была восстановлена. Электростанция заработала. Артур Левн ежедневно принимал нетерпеливые запросы с Золотого острова: готова ли причальная мачта?

Электромагнитные волны, равнодушные к тому, что вызвало их из космического покоя, неслись в эфир, чтобы устремиться в радиоприемники и там, прохрипев в микрофоны бешеным голосом Гарни: «Если через неделю причал не будет готов, я пошлю дирижабль и прикажу расстрелять вас, слышите, Волшин?» — прохрипев это, электромагнитные волны по проводам заземления возвращались в первоначальный покой.

В зимовье у подножия вулкана шла торопливая работа: очищали от порослей большую площадь, валили мачтовые сосны, ставили сужающуюся вверх двадцатипятиметровую башню на трех ногах, глубоко зарытых в землю.

Работали все, выбиваясь из сил, но больше всех сутелся и воливался Манцев. Он отъехал за это время, немного окреп, но разум его, видимо, был тронут безумием. Бывали дни, когда он будто забывал обо всем, равнодушный, обхватив руками косматую голову, сидел на ирах. Или, отъезав козла Машку, говорил Ивану:

— Хочешь, я покажу тебе то, чего еще ни один человек никогда не видел.

Держа козла Машку за веревку (козел помогал ему взбираться на скалы), Манцев и за ним Иван начинали восхождение к кратеру вулкана.

Мачтовый лес кончился, выше — между каменными глыбами — рос корявый кустарник, еще выше — только черные камни, покрытые лишаями и кое-где снегом.

Края кратера поднимались отвесными зубцами, будто полуразрушенные стены гигантского цирка. Но Манцев знал здесь каждую щель и, кряхтя, часто присаживаясь, пробирался зигзагами с уступа на уступ. Все же только раз — в тихий солнечный день — им удалось взобраться на самый край кратера. Причудливые зубцы его окружали рыже-медное озеро застывшей лавы. Низкое солнце бросало от зубцов резкие тени на металлические лепешки лавы. Ближе к западной стороне на поверхности лавы возвышался конус, вершина его курнулась беловатым дымом.

— Там, — сказал Манцев, указывая скрытыми пальцами на курящийся конус, — там — свист или, если хочешь, бездна в недра земли, куда не заглядывал человек... Я бросал туда пироксилиновые шашки, — когда на дне вспыхивал разрыв, включал секундомер и считывал глубину по скорости прохождения звука. Я исследовал выходящие газы, набирал их в стеклянную реторту, пропускал через нее свет электрической лампы и прошедшие через

газ лучи разлагал на призме спектроскопа... В спектре вулканического газа я обнаружил линии сурьмы, ртути, золота и еще многих тяжелых металлов... Тебе понятно, Иван?

— Понятно, ваялите дальше...

— Думаю, что ты все-таки понимаешь больше, чем козел Машка... Однажды, во время особенно бурной деятельности вулкана, когда он плевал и харкал из чудовищно глубоких недр, мне удалось с опасностью для жизни набрать немного газа в реторту... Когда я спустился вниз, к становищу, вулкан начал швырять под облака пепел и камини величиной с бочку. Земля тряслась, будто спина проснувшегося чудовища. Не обращая внимания на эти мелочи, я кинулся в лабораторию и поставил газ под спектроскоп... Иван и ты, Машка, слушайте...

Глаза у Манцева блеснули, беззубый рот кривился:

— Я обнаружил следы тяжелого металла, которого нет в таблице Менделеева. Через несколько часов в колбе началось его распадение, — колба начала светиться желтым светом, потом голубым и, наконец, произительно красным... Из предосторожности я отошел, — раздался взрыв, колба и половина моей лаборатории разлетелись к черту... Я назвал этот таинственный металл буквой М, так как мое имя начинается на М и имя этого козла тоже начинается на М. Честь открытия принадлежит нам обоим — козлу и мне... Ты понимаешь что-нибудь?

— Ваялите дальше, Николай Христофорович...

— Металл М находится в самых глубоких слоях Оливниного пояса. Он распадается и освобождает чудовищные запасы тепла... Я утверждаю дальше: ядро земли состоит из металла М. Но, так как средняя плотность ядра земли всего восемь единиц, приблизительно — плотность железа, а металл М вдвое тяжелее его, то, стало быть, в самом центре земли — пустота.

Манцев поднял палец и, поглядев на Ивана и на козла, дико рассмеялся.

— Идем заглинем...

Они, вдвоем, спустились со скалистого гребня на металлическое озеро и, скользя по металлическим лепешкам, пошли к дымящемуся конусу. Сквозь трещины вырывался горячий воздух. Кое-где чернели под ногами дыры без дна.

— Машку надо оставить внизу, — сказал Манцев, щелкнув козла в яс, и полез вместе с Иваном на конус, цепляясь за осыпающийся горячий щебен.

— Ложись на живот и гляди.

Они легли на краю конуса, с той стороны, откуда относилось клубы дыма, и опустили головы. Внутри конуса было углубление и посреди него — овальная дыра метров семи диаметром. Оттуда доносились тяжелые вздохи, отдаленный грохот, будто где-то, черт знает на какой глубине, перекачивались камни.

Присмотревшись, Иван различил красноватый свет, он шел из непостижимой глубины. Свет, то помрачаясь, то вспыхивая вновь, разгорался все ярче, — становился малиновым,

произительным... Тяжелее вздыхала земля, грознее принимались грохотать камни.

— Начинается прилив, надо уходить, — проговорил Манцев. — Этот свет идет из глубины семи тысяч метров. Там распадается металл М, там кипит и испаряются золото и ртуть...

Он схватил Ивана за кушак, потащил вниз. Конус дрожал, осыпался, плотные клубы дыма вырывались теперь, как пар из лопнувшего котла, ослепительно алый свет бил из бездн, окрашивая низкие облака...

Манцев схватил веревку от Машкиного ошейника.

— Бегом, бегом, ребята!.. Сейчас полетят камни...

Раздался тяжелый грохот, отдавшийся по всему скалистому амфитеатру, — вулкан выстрелил каменной глыбой... Манцев и Иван бежали, прикрыв головы руками, впереди скакал козел, волоча веревку...

96

Причальная мачта была готова. С Золотого острова сообщили, что дирижабль вылетел, несмотря на угрожающие показания барометра.

Все эти последние дни Артур вызывал Манцева на откровенный разговор об его замечательных открытиях. Усевшись на иары, подалеже от рабочих, он вытащил фляжку со спиртом и подливал Манцеву в чай.

Рабочие лежали на полу на подстилках из хвои. Иногда кто-нибудь из них вставал и подбрасывал в очаг кедровое коровище. Огонь озарял прокопченные стены, усталые, обросшие бородами лица. Ветер бушевал над крышей.

Артур Леви старался говорить тихо, ласково, успокаивающе. Но Манцев, казалось, совсем сошел с ума...

— Слушайте, Артур Артурович, или как вас там... Бросьте хитрить. Мои бумаги, мои формулы, мои проекты глубокого бурения, мои дневники запаяны в жестяную коробку и спрятаны надежно... Я улечу, они останутся здесь, — их не получит никто, даже Гарин. Не отдам даже под пыткой...

— Успокойтесь, Николай Христофорович, вы же имеете дело с порядочными людьми.

— Я не настолько глуп. Гарину нужны мои формулы... А мне нужна моя жизнь... Я хочу каждый день мыться в душевой ванне, курить дорогой табак, пить хорошее вино... Я вставлю зубы и буду жевать трюфели... Я тоже хочу славы! Я ее заслужил!.. Черт вас всех возьми вместе с Гаринным...

— Николай Христофорович, на Золотом острове вы будете обставлены по-царски...

— Бросьте. Я знаю Гарина... Он меня ненавидит, потому что весь Гарин выдуман мной... Без меня из него получился бы просто мелкий жулик... Вы повезете на дирижабле мой живой мозг, а не тетрадки с моими формулами.

Иван Гусев, наставив ухо, слушал обрывки этих разговоров. В ночь, когда была готова

причальная мачта, он подполз по нарам к Манцеву, лежавшему с открытыми глазами, и зашептал в самое его ухо:

— Николай Христофорович, плюнь на них. Поедем лучше в Ленинград... Мы с Тарашкиным за вами, как за малым ребенком, будем ходить... Зубы вставим... Найдём хорошую жилплощадь, — чего вам связываться с буржуями...

— Нет, Ванька, я погибший человек, у меня слишком необузданные желания, — отвечал Манцев, глядя на потолок, откуда между бревен свешивались ключья закопченного мха. — Семь лет под этой проклятой крышей бушевала моя фантазия... Я не хочу ждать больше ни одного дня...

Иван Гусев давно понял, какова была эта «французская экспедиция», — он внимательно слушал, наблюдал и делал свои выводы.

За Манцевым он теперь ходил, как привязанный, и эту последнюю ночь не спал: когда начинали слиться глаза, он совал в нос птичье перо или щипал себя где больнее.

На рассвете Артур Леви, сердито надев полубубок, обмотав горло шарфом, пошел на радиостанцию — она помещалась рядом с землянкой. Иван не спускал глаз с Манцева. Едва Артур Леви вышел, Манцев оглянулся, — все ли спят, — осторожно слез с нар, пробрался в темный угол зимовища, поднял голову. Но, должно быть, глаза его плохо видели, — он вернувшись, подбросил в очаг смолья. Когда огонь разгорелся, опять пошел в угол.

Иван догадался, на что он смотрит, — в углу, там, где скрещивались балки сруба, в потоке чернела щель между балками наката, — мох был содран. Это и беспокоило Манцева... Поднявшись на цыпочки, он сорвал с низкого потолка космы черного мха и, крихтая, заткнул ими щель.

Иван бросил перышко, которым щекотал нос, повернулся на бок, прикрылся с головой одеялом и сейчас же заснул.

Снежная буря не утихала. Вторые сутки огромный дирижабль висел над поляной, пришвартованный носом к причальной мачте. Мачта гуляла и трещала. Сигарообразное тело раскачивалось, и снизу казалось, что в воздухе повисло днище железной баржи. Экипаж едва успевал очищать от снега его борта.

Капитан, перегнувшись с гондолы, кричал стоящему внизу Артуру Леви:

— Алло! Артур Артурович, какого черта! Нужно сниматься... Люди выбились из сил.

Леви ответил сквозь зубы:

— Я еще раз говорил с островом. Мальчишку приказано привести во что бы то ни стало.

— Мачта не выдержит...

Леви только пожал плечами. Дело было, конечно, не в мальчишке, Иван пропал этой ночью. О нем никто и не спохватился. Пришвартовывали дирижабль, появившийся на рассвете и долго кружившийся над поляной в снежных облаках. Выгружали продовольствие. (Рабочие экспедиции Артура Леви заявили, что, если не получат вдоволь продовольствия и наградных, распорядит дирижабль брехом пи-

роксидной шашкой.) Узнав, что мальчишка пропал, Артур Леви махнул рукой:

— Неважно.

Но дело обернулось гораздо серьезнее.

Манцев первый влез в гондолу воздушного корабля. Через минуту, чем-то обеспокоенный, спустился на землю по алюминиевой лесенке и заковылял к зимовищу. Сейчас же оттуда доносился его отчаянный вопль. Манцев, как бешеный, выскочил из облаков снега, размахивая руками:

— Где моя жестяная коробка? Кто взял мои бумаги?... Ты, ты украл, подлец!

Он схватил Леви за воротник, затряс с такой силой, — у того слетела шапка...

Было ясно: бесценные формулы, то, за чем прилетел сюда дирижабль, унесены проклятым мальчишкой. Манцев обезумел:

— Мои бумаги! Мои формулы! Человеческий мозг не в силах снова создать это!.. Что я передам Гарниру? Я все забыл!..

Леви немедленно сгрудил погоню за мальчишкой. Люди заворчали. Все же несколько человек согласились. Манцев повел их в сторону Шайтан-камия. Леви остался у гондолы, грызя ногти. Прошло много времени. Двое из ушедших в погоню вернулись.

— Там такое крутит — шагу не ступить...

— Куда вы дели Манцева? — закричал Леви.

— Кто его знает... Отбился...

— Найдите Манцева. Найдите мальчишку... За того и другого по десяти тысяч золотом.

Тучи мрачели. Надвигалась ночь. Ветер усиливался. Капитан опять начал грозиться — перерезать причал и улететь к черту.

Наконец со стороны Шайтан-камия показался высокий человек в забитой снегом дохе. Он нес на руках Ивана Гусева. Леви кинулся к нему, сорвав перчатку, залез мальчишке под шубежку. Иван будто спал, застывшие руки его плотно прижимали к груди небольшую жестяную коробку с драгоценными формулами Манцева.

— Живой, живой, только застыл маленький, — проговорил высокий человек, раздвигая широкой улыбкой набитую снегом бороду. — Отойдет. Наверх его, что ли? — И, не дожидаясь ответа, понес Ивана в гондолу.

— Ну, что? — крикнул сверху капитан. — Летим?

Артур Леви нерешительно взглянул на него.

— Вы готовы к отлету?

— Есть, — ответил капитан.

Леви еще раз обернулся в сторону Шайтан-камия, где сплошной завесой из помрачневших облаков летел, крутился снег. В конце концов главное — формулы были бы на борту.

— Летим! — сказал он, вскакивая на алюминиевую лесенку. — Ребятка, отдавай концы...

Он отворил горбатую дверцу и влез в гондолу. Наверх причальной мачты начали перерезать пеньковый трос, удерживающий корабль. Застучали, стреляя, моторы. Закрутились винты.

В это время, гонимый метелью, из снежных вихрей выскочил Манцев. Ветер дыбом

вздыхал его волосы. Протянутые руки хватали улетающие очертания корабля...

— Стойте!.. Стойте!.. — крило вскрикивал он. Когда алюминиевая лесенка гондолы поднялась уже на метр над землей, он схватился за нижнюю ступеньку. Несколько человек поймали его за дохи, чтобы отодрать. Он отпихнул их ногами. Металлическое днище корабля раскачивалось. Стреляли моторы. Сердито ревели винты. Корабль шел вверх — в крутящиеся снежные облака.

Манцев вцепился, как клещ, в нижнюю ступеньку. Его быстро поднимало... Снизу было видно, как растопыренные ноги его, развевающиеся полы дохи понеслись в небо.

Далеко ли он улетел, на какой высоте сохранился и упал, — этого уже не видели стоявшие внизу люди.

97

Перегнувшись через окно алюминиевой гондолы, мадам Ламоль глядела в бинокль. Диржабль еле двигался, описывая круг в лучезарном небе. Под ним, на глубине тысячи метров, расстилался на необъятную ширину прозрачный сине-зеленый океан. В центре его лежал остров неправильной формы. Сверху он походил на очертания Африки в крошечном масштабе. С юга, востока и северо-востока, как брызги около него, темнели окаймленные пеной каменные островки и мели. С запада океан был чист.

Здесь в глубоком заливе, невдалеке от прибрежной полосы песка, лежали грузовые корабли. Зоя насчитала их двадцать четыре, — они походили на жуков, спящих на воде.

Остров был прорезан иголочками дорог, — они сходились у северо-восточной скалистой части его, где сверкали стеклянные крыши. Это достраивался дворец, опускавшийся тремя террасами к волнам маленькой песчаной бухты.

С южной стороны острова виднелись сооружения, похожие сверху на путаницу детского меккан: фермы, крепления, решетчатые краны, рельсы, бегающие вагонетки. Крутились десятки ветряных двигателей. Попыхивали трубы электростанций и водокочек.

В центре этих сооружений чернело круглое отверстие шахты. От нее к берегу двигались широкие железные транспортеры, относящие вынутую породу, и дальше в море уходили червяками красные поитоны землечерпалок. Облачко пара, не переставая, курилось над отверстием шахты.

День и ночь — в шесть смен — шли работы в шахте: Гарин пробивал гранитную броню земной коры. Дерзость этого человека граничила с безумием. Мадам Ламоль глядела на облачко над шахтой, бинокль дрожал в ее руке, золотистой от загара.

По низкому берегу залива тянулись правильными рядами крыши складов и жилых строений. Муравьиные фигурки людей двигались по дорогам. Катились автомобили и мотоциклы. В центре острова синело озеро, из него к югу вытекала извилистая речка. По ее берегам лежали полосы полей и огородов.

Весь восточный склон зеленел изумрудным покровом, — здесь, за изгородами, паслись стада. На северо-востоке перед дворцом, среди скал, пестрели причудливые фигуры цветников и древесных насаждений.

Еще полгода тому назад здесь была пустыня — колючая трава, да камни, серые от морской соли, да чахлый кустарник. Корабли выбросили на остров тысячи тонн химических удобрений, были вырыты артезианские колодцы, привезены растения, целые деревья.

С высоты гондолы Зоя глядела на заброшенный в океан клочок земли, пышный и сверкающий, омываемый снежной пеной прибоя, любовалась им, как женщиной, держащая в руке драгоценность.

98

Было семь чудес на свете. Народная память донесла до нас только три: храм Дианы Эфесской¹, сады Семирамиды² и медного колосса³ в Родосе. Об остальных воспоминаниях погружено на дно Атлантического океана.

Восьмым чудом, как это ежедневно повторяла мадам Ламоль, нужно было считать шахту на Золотом острове. За ужинком в только что отделанном зале дворца, с огромными окнами, раскрытыми дуновению океана, мадам Ламоль поднимала бокал:

— За чудо, за гений, за дерзость!

Все избранное общество острова вставало и приветствовало мадам Ламоль и Гарина. Все были охвачены лихорадкой работы и фантастическими замыслами. Пусть там, на материках, вопят о нарушении прав. Плевать. Здесь день и ночь гудит подземным гулом шахта, гремят черпаки элеваторов, забираясь все глубже, глубже к неисчерпаемым запасам золота. Сибирские россыпи, овраги Калифорнии, снежные пустыни Клоидайк — чушь, кустарный промысел. Золото здесь под ногами, в любом месте, только прорвись сквозь граниты и кипящий оливин.

В дневниках несчастного Манцева Гарин нашел такую запись:

«В настоящее время, то есть когда закончился четвертый ледниковый период и с чрезвычайной быстротой начала развиваться одна из пород животных, лишенных волосного покрова, способных передвигаться на задних конечностях и снабженных удачным устройством ротовой полости для произношения разнообразных звуков, — земной шар представляет следующую картину:

Верхний его покров состоит из застывших гранитов и диоритов, толщиной от пяти до двадцати пяти километров. Эта корка снаружи покрыта морскими отложениями и слогами погибшей растительности (уголь) и погибших животных (нефть). Кора лежит на второй

¹ Знаменитый храм Дианы, древнегреческой богини охоты и луны, в городе Эфесе, сожженный в 356 г. до нашего летосчисления.

² Семирамида — легендарная царица, будто бы основавшая Вавилон.

³ Колосс Родосский — исполинская статуя Гелиоса, древнегреческого бога солнца, стоявшая у входа в гавань острова Родоса. (Примеч. А. Н. Толстого.)

оболочке земного шара, — из расплавленных металлов, — на Оливиновом поясе.

Расплавленный Оливиновый пояс местами, как, например, в некоторых районах Тихого океана, подходит близко к поверхности земли, до глубины пяти километров.

Толщина этой второй расплавленной оболочки достигает в настоящее время свыше ста километров и увеличивается на километр в каждые сто тысяч лет.

В расплавленном Оливиновом поясе нужно различать три слоя: ближайший к земной коре — это шлаки, лава, выбрасываемая вулканами; средний слой — оливин, железо, никель, то есть то, из чего состоят метеориты, падающие в виде звезд на землю в осенние ночи, и, наконец, третий — нижний слой — золото, платина, цирконий, свинец, ртуть.

Эти три слоя Оливинового пояса покоятся, как на подушке, на слое сгущенного, до жидкого состояния, газа гелия, получающегося как продукт атомного пространства.

И, наконец, под оболочкой жидкого газа находится земное ядро. Оно твердое, металлическое, температура его около двухсот семидесяти трех градусов ниже нуля, то есть температуры мирового пространства.

Земное ядро состоит из тяжелых радиоактивных металлов. Нам известны два из них, находящиеся в конце таблицы Менделеева, — это уран и торий. Но они сами являются продуктом распада основного, неизвестного до сих пор в природе сверхтяжелого металла.

Я обнаружил его следы в вулканических газах. Это металл М. Он в одиннадцать раз тяжелее платины. Он обладает чудовищной силой радиоактивности. Если один килограмм этого металла извлечь на поверхность земли, — все живое на несколько километров в окружности будет убито, все предметы, покрытые его эманацией¹, будут светиться.

Так как удельный вес земного ядра составляет всего восемь единиц (удельный вес железа), что всегда наводило на ошибочную мысль, будто ядро железное, и так как нельзя предположить, что металл М находится в ядре земли под давлением в миллион атмосфер, в пористом состоянии, то нужно сделать единственный вывод:

Ядро земли представляет пустотелый шар, или бомбу, из металла М, наполненную гелием, находящимся вследствие чудовищного давления в кристаллическом состоянии.

В разрезе земной шар таков:



¹ Излучением. (Примеч. А. Н. Толстого.)

Металл М, составляющий ядро земли, непрерывно распадаясь и превращаясь в другие легкие металлы, освобождает чудовищное количество тепла. Ядро земли прогревается. Через несколько миллиардов лет земля должна прогреться настолько, взорваться, как бомба, вспыхнуть, превратиться в газовый шар, диаметром с орбиту, которую описывает луна вокруг земли, засиять, как маленькая звезда, и затем начать охлаждаться и снова сжиматься до размеров земного шара. Тогда снова возникнет на земле жизнь, через миллиарды лет появится человек, начнется стремительное развитие человечества, борьба за высшее социальное устройство мира.

Земля снова будет, не переставая, прогреваться атомным распадом, чтобы снова вспыхнуть маленькой звездой.

Это круговорот земной жизни. Их было бесчисленно много и бесчисленно много будет впереди. Смерти нет. Есть вечное обновление...

Вот что прочел Гарин в дневнике Манцева.

99

Верхние края шахты были одеты стальной броней. Массивные цилиндры из тугоплавкой стали опускались в нее по мере ее углубления. Они доходили до того места, где температура в шахте поднималась до трехсот градусов. Это случилось неожиданно, скачком, на глубине пяти километров от поверхности. Смена рабочих и два гиперболоида погибли на дне шахты.

Гарин был недоволен. Опускание и клепка цилиндров тормозили работу. Теперь, когда стены шахты были раскалены, их охлаждажали сжатым воздухом, и они, застывая, сами образовывали мощную броню. Их распирала по диагоналям решетчатыми фермами.

Диаметр шахты был невелик — двадцать метров. Внутренность ее представляла сложную систему воздухопроводных и отводных труб, креплений, сети проводов, дюралюминиевых колодцев, внутри которых двигались черпаки элеваторов, шкивов, площадок для элеваторной передачи и площадок, где стояли машины жидкого воздуха и гиперболоиды.

Все приводилось в движение электричеством: подъемные лифты, элеваторы, машины. С боков шахты пробивались пещеры для складывания машин и отдыха рабочих. Чтобы разгрузить главную шахту, Гарин повел параллельно ей вторую в шесть метров диаметром, — она соединяла пещеры электрическими лифтами, двигающимися со скоростью пневматического ядра.

Важнейшая часть работ — бурение — происходила согласованием действием лучей гиперболоидов, охлаждения жидким воздухом и отчерпывания породы элеваторами. Двенадцать гиперболоидов особого устройства, берущих энергию от вольтовых дуг с углами из шамотита, пронизывали и расплавляли породу, струи жидкого воздуха мгновенно

охлаждали ее, и она, распадаясь на мельчайшие частицы, попадала в черпаки элеваторов. Продукты горения и пары уносились вентиляторами.

100

Дворец с северо-восточной части Золотого острова был построен по фантастическим планам мадам Ламоль.

Это было огромное сооружение из стекла, стали, темно-красного камня и мрамора. В нем помещалось пятьсот зал и комнат. Главный фасад с двумя широкими мраморными лестницами вырастал из моря. Волны разбивались о ступени и цоколи по сторонам лестниц, где вместо обычных статуй или ваз стояли четыре бронзовые решетчатые башенки, поддерживающие золоченые шары, — в них находились заряженные гиперболюиды, угрожающе подступав с океана.

Лестницы поднимались до открытой террасы, — с нее два глубоких входа, укрепленных квадратными колоннами, вели внутрь дома. Весь каменный фасад, слегка наклоненный, как на египетских постройках, скупо украшенный, с высокими, узкими окнами и плоской крышей, казался суровым и мрачным. Зато фасады, выходившие во внутренний двор, в цветники ползучих роз, вербены, орхидей, цветущей сирени, миндаля и лилевых деревьев, были построены пышно; даже кокетливо.

Две бронзовых ворот вели внутрь острова. Это был дом-крепость. Сбоку его на скале возвышалась на сто пятьдесят метров решетчатая башня, соединенная подземным ходом со спальней Гарина. На верхней площадке ее стояли мощные гиперболюиды. Бронированный лифт взлетал к ним от земли на несколько секунд. Всем, даже мадам Ламоль, было запрещено под страхом смерти подходить к основанию башни. Это был первый закон Золотого острова.

В левом крыле дома помещались комнаты мадам Ламоль, в правом — Гарина и Роллинга. Больше здесь никто не жил. Дом предназначался для того времени, когда величайшим счастьем для смертного будет получить приглашение на Золотой остров и увидеть ослепительное лицо властительницы мира.

Мадам Ламоль готовилась к этой роли. Дела у нее было по горло. Создавался этикет утреннего вставания, выходов, малых и больших приемов, обедов, ужинов, маскарадов и развлечений. Широко развернулось ее актерский темперамент. Она любила повторять, что рождена для мировой сцены. Хранителем этикета был назначен знаменитый балетный постановщик — русский эмигрант. С ним заключили контракт в Европе, пожаловали золотой, с бриллиантами на белой ленте, орден «Божественной Зои» и возвели в древнерусское звание постельничего (Chevalier de lit).

Кроме этих внутренних — дворцовых — законов, ею создавались, совместно с Гаринем, «Заповеди Золотого века» — законы бу-

дущего человечества. Но это были скорее общие проекты и основные идеи, подлежащие впоследствии обработке юрстов. Гарни был бешено занят, — ей приходилось выкраивать время. День и ночь в ее кабинете дежурили две стенографистки.

Гарни приходил прямо из шахты, измученный, грязный, пропахший землей и машинным маслом. Он торопливо ел, бавился с ногами на атласный диван и закутывался дымом трубки (он был объявлен выше этикета, его привычки — священные и вне подражания). Зоя ходила по ковру, перебирая в худых пальцах огромные жемчужины ожерелья, и вызывала Гарина на беседу. Ему нужно было несколько минут мертвого покоя, чтобы мозг снова мог начать лихорадочную работу. В своих планах он не был ни зол, ни добр, ни жесток, ни милосерд. Его забавляло только остроумие в разрешении вопроса. Эта «прохладность» возмущала Зою. Большие ее глаза темнели, по нервной спине пробежала дрожь, низким, ненавидящим голосом она говорила (по-русски, чтобы не понял стенографистки):

— Вы фат. Вы страшный человек, Гарин. Я понимаю, как можно хотеть содрать с вас живую кожу, — посмотреть, как вы в первый раз в жизни станете мучиться. Неужели вы никого не ненавидите, никого не любите?

— Кроме вас, — скаля зубы, отвечал Гарин, — но ваша головка набита сумасшедшим вздором... А у меня считаны секунды. Я подожду, когда ваше честолюбие насытится до отвала. Но вы все же правы в одном, любовь моя: я слишком академичен. Идея, не насыщенная влагой жизни, рассеивается в пространстве. Влага жизни — это страсть. У вас ее переизбыток.

Он покосился на Зою, — она стояла перед ним, бледная, неподвижная.

— Страсть и кровь. Старый рецепт. Только зачем же именно с меня драть кожу? Можно с кого-нибудь другого. А вам, видимо, очень нужно для здоровья омочить платочки в этой жидкости.

— Я многого не могу простить людям.

— Например, коротеньких молодчиков с волосатыми пальцами?

— Да. Зачем вы вспоминаете об этом?

— Не можете простить самой себе... За пятьсот франков несбось вызывали вас по телефону. Было. Чулочки шелковые штопали успешно, откусывали итинки вот этими божественными зубками, когда торопились в ресторан. А бессонные ночи, когда в сумочке — два су, и ужас, что будет завтра, и ужас — пасть еще ниже... А собачий нос Роллинга — чего-нибудь да стонет.

С длинной усмешкой глядя ему в глаза, Зоя сказала:

— Этого разговора я тоже не забуду до смерти...

— Боже мой, только что вы меня упрекали в академичности...

— Будет моя власть, повешу вас на башне гиперболюида...

Гарин быстро поднялся, схватил Зою за

локти, силой привлек к себе на колени и целовал ее закинутое лицо, стиснутые губы. Обе стенографистки, светловолосые, завитые, равнодушные, как куклы, отвернулись.

— Глупая, смешная женщина, пойми, — такой только тебя люблю... Единственное существо на земле... Если бы ты двадцать раз не умирала во внешних вагонах, если бы тебя не покупали как девуку, — разве бы ты постигла всю остроту дерзости человеческой... Разве бы ты ходила по коврам такой повелительницей... Разве бы я положил к твоим ногам самого себя...

Зоя молча освободилась, движением плеч оправив платье, отошла на середину комнаты и оттуда все еще дико глядела на Гарина. Он сказал:

— Итак, на чем же мы остановились?

Стенографистки записывали мысли. За иочь отпечатывали их и подавали поутру в постель мадам Ламоль.

Для экспертизы по некоторым вопросам приглашали Роллинга. Он жил в великолепных, но совсем еще законченных апартаментах. Выходил из них только к столу. Его воля и гордость были сломлены. Он сильно сдал за эти полгода. Гарина он боялся. С Зоей избегал оставаться с глазу на глаз. Никто не знал (и не интересовался), что он делает целыми днями. Книг он отроду не читал. Записок, кажется, не вел. Говорили, что будто бы он пристрастился коллекционировать курительные трубки. Однажды вечером Зоя видела из окна, как на предпоследней ступени мраморной лестницы у воды сидел Роллинг и, пригорюнясь, глядел на океан, откуда сто миллионов лет тому назад вышел его предок в виде человекообразной ящерицы. Это было все, что осталось от великого химического короля.

Ни потеря трехсот миллионов долларов, ни плен на Золотом острове, ни даже измена Зои не сломили бы его. Двадцать пять лет тому назад он торговал ваксой на улице. Он умел, он любил бороться. Сколько приложено было усилий, талаита и воли, чтобы заставить людей платить ему, Роллингу, золотые кружочки. Европейская война, разорение Европы — вот какие силы были подняты для того, чтобы золото потекло в кассы «Анилин Роллинг».

И вдруг это золото, эквивалент силы и счастья, будут черпать из шахты, как глину, как грязь, элеваторными черпаками в *любом количестве*. Вот тут-то подошвы Роллинга повисли в пустоте, он перестал ощущать себя царем природы — «гомо сапиенсом». Оставалось только — коллекционировать трубки.

Но он все еще, по настоянию Гарина, ежедневно диктовал по радио свою волю директорам «Анилин Роллинг». Ответы их были неопределенны. Становилось ясным, что директора не верят в добровольное уединение Роллинга на Золотом острове. Его спрашивали:

«Что предпринять для вашего возвращения на континент?»

Роллинг отвечал:

«Курс первого лечения проходит благоприятно».

По его приказу были получены еще пять миллионов фунтов стерлингов. Когда же через две недели он вновь приказал выдать такую же сумму, агенты Гарина, предъявившие чек Роллинга, были арестованы. Это было первым сигналом атаки континента на Золотой остров. Флот из восьми линейных судов, крейсировавший в Тихом океане, близ двадцать второго градуса южной широты и сто тридцатого градуса западной долготы, ожидал только боевого приказа атаковать остров Негодаев.

101

Шесть тысяч рабочих и служащих Золотого острова были набраны со всех концов света. Первый помощник Гарина, инженер Чермак, носивший звание губернатора, разместил рабочую силу по национальностям на пятнадцать участков, отгороженных друг от друга колючей проволокой.

На каждом участке были построены бараки и молельни по возможности в национальном вкусе. Консервы, бисквиты, мармелад, бочонки с капустой, рисом, маринованными медузами, сельдями, сосисками, и прочее, и прочее заказывались (американским заводам) также с национальными этикетками.

Два раза в месяц выдавалась прозежда, выдержанная в национальном духе, и раз в полгода — праздничные национальные костюмы: славянам — поддевки и свитки, китайцам — сыровые кофты, немцам — сюртуки и цилиндры, итальянцам — шелковое белье и лакированные ботинки, неграм — набедренники, украшенные крокодильими зубами и бусами, и т. д.

Чтобы оправдать в глазах населения эти колючие границы, инженер Чермак организовал штат провокаторов. Их было пятнадцать человек. Они раздували национальную вражду: в будни умеренно, по праздникам вплоть до кулачной потасовки.

Полиция острова из бывших врангелевских офицеров, носивших мунир орден Зои — белого сукия короткую куртку с золотым шитьем и канарецие штаны в обтяжку, — поддерживала порядок, не допуская национальности до взаимного истребления.

Рабочие получали огромное в сравнении с континентом жалование. Иные посылали его на родину с ближайшим пароходом, иные сдавали на хранение. Расходовать было негде, так как только по праздникам в уединенном ущелье на юго-восточном берегу острова бывали открыты кабаки и Луна-парк. Там же функционировали пятнадцать домов терпимости, выдержанные также в национальном вкусе.

Рабочим было известно, для какой цели пробивается в глубь земли гигантская шахта. Гарин объявил всем, что при расчете он разрешит каждому взять с собой столько золота, сколько можно унести на спине. И не было

человека на острове, кто бы без волнения не смотрел на стальные ленты, уносящие породу из земных недр в океан, кого бы не опьянял желтоватый дымок над жерлом шахты.

102

— Господа, наступил наиболее тревожный момент в нашей работе. Я ждал его и приготовился, но это, разумеется, не уменьшает опасности. Мы блокированы. Только что получено радио: два наших корабля, груженные фигурным железом для крепления шахты, консервам и мороженой бараньей, захвачены американским крейсером и объявлены призом. Это значит — война началась. С часу на час нужно ждать ее официального объявления. Одна из ближайших моих целей — война. Но она начинается раньше, чем мне нужно. На континенте слишком нервничают. Я предвижу их план: они боятся нас, они будут стараться умерить нас голодом. Справка: продовольствия на острове хватит на две недели, не считая живого скота. В эти четырнадцать дней мы должны будем прорвать блокаду и подвезти консервы. Задача трудная, но выполнимая. Кроме того, мои агенты, предьявившие чекн Роллинга, арестованы. Денег у нас в кассе нет. Триста пятьдесят миллионов долларов израсходованы до последнего цента. Через неделю мы должны платить жалованье, и, если расплатимся чеками, рабочие взбунтуются и остановят гиперболонд. Стало быть, в продолжение семи дней мы обязаны достать деньги.

Заседание происходило в сумерки в еще не оконченном кабинете Гарина. Присутствовали Чермак, инженер Шефер, Зоя, Шельга и Роллинг. Гарин, как всегда в минуты опасности и умственного напряжения, разговаривал, с умышленной покачиваясь на каблуках, засунув руки в карманы. Зоя председательствовала, держа в руке молоточек. Чермак, маленький, нервный, с воспаленными глазами, покашлял, сказал:

— Второй закон Золотого острова гласит: никто не должен пытаться проникнуть в тайну конструкции гиперболона. Всякий, прикоснувшийся хотя бы к верхнему кожуху гиперболона, подлежит смертной казни.

— Так, — подтвердил Гарин, — таков закон.

— Для успешного завершения указанных вами предприятий понадобится, по крайней мере, одновременная работа трех гиперболонов: один для добычи денег, другой для прорыва блокады, третий для обороны острова. Вам придется сделать исключение из закона для двух помощников.

Наступило молчанье. Мужчины следили за дымом сгара. Роллинг сосредоточенно нюхал трубку. Зоя повернула голову к Гарину. Он сказал:

— Хорошо. (Легкомысленный жест.) Оупубликуйте. Исключение из второго закона делается для двух людей на острове: для мадам Ламоль и...

Он весело перегнулся через стол и хлопнул Шельгу по плечу:

— Эму, Шельге, второму человеку доверяю тайну аппарата...

— Ошиблись, товарищ, — ответил Шельга, снимая с плеча руку, — отказываюсь.

— Основание?

— Не обязан объяснять. Подумайте, — сам догадаетесь,

— Я поручаю вам уничтожить американский флот.

— Дело малое, что и говорить. Не могу.

— Почему, черт возьми?

— Как почему?.. Потому что путь скользкий...

— Смотрите, Шельга...

— Смотрю...

У Гарина торчком встала борода, блеснули зубы. Он сдержался. Спросил тихо:

— Вы что-нибудь задумали?

— Моя линия, Петр Петрович, открытая. Я ничего не скрываю.

Короткий этот разговор был веден по-русски. Никто, кроме Зон, его не понял. Шельга снова принялся чертить завитушки на бумаге. Гарин сказал:

— Итак, помощником при гиперболонах назначаю одного человека — мадам Ламоль. Если вы согласны, сударыня, — «Арizona» стоит под парами, — утром вы выходите в океан...

— Что я должна делать в океане? — спросила Зоя.

— Грабить все суда, которые попадутся на линиях Транспасифик. Через неделю мы должны заплатить рабочим.

103

В двадцать третьем часу с флагманского линейного корабля эскадры североамериканского флота было замечено постороннее тело над созвездием Южного Креста.

Голубоватые, как хвосты кометы, лучи прожекторов, омывающие звездный небосвод, заметались и уперлись в постороннее тело. Оно засветилось. Сотни подозрных труб рассмотрели металлическую гондолу, прозрачные круги винтов и на борту дирижабля буквы П. и Г.

Зашелкали огненные сигналы на судах. С флагманского корабля снялись четыре гидроплана и, рыча, стали круто загибать к звездам. Эскадра, увеличивая скорость, шла в кильватерном строе.

Гул самолетов становился все прозрачнее, все слабее. И вдруг воздушный корабль, к которому звывались они, исчез из поля зрения. Много подозрных труб было протерто носовыми платками. Корабль пропал в ночном небе, сколько ни щупали прожекторы.

Но вот suddenly донеслось туканье палубы: нащупали. Туканье оборвалось. В небе, перевертываясь, понеслась отвесно вниз блестящая мушка. Смотревшие в трубы ахнули, — это падал гидроплан и где-то рухнул в черные волны. Что случилось?

И снова, — так-так-так-так, — застучали в небе пулеметы, и так же оборвался их стук, и, один за другим, все три самолета пролетели сквозь лучи прожекторов, кубарем, штопорами бухнулись в океан. Запыхавшиеся огненные сигналы с флагманского судна. Замыгали до самого горизонта огни: что случилось?

Потом все увидели совсем близко бегущее против ветра — поперек кильватерной линии — черное равное облако. Это снижался воздушный корабль, окутанный дымовой завесой. На флагмане дали сигнал: «Берегись, газ, Берегись, газ». Рывнули зенитные орудия. И сейчас же на палубу, на мостики, на бронированные башни упали, разорвались газовые бомбы.

Первым погиб адмирал, двадцативосьмилетний красавец, из гордости не надевший маски: схватился за горло и опрокинулся со вздутым, посиневшим лицом. В несколько секунд отравлены были все, кто находился на палубе, — противогазы оказались малодействительны. Флагманский корабль был атакован неизвестным газом.

Командование перешло к вице-адмиралу. Крейсера легли на правый галс и открыли зенитный огонь. Три залпа потрясли ночь. Три зарницы, вырвавшиеся из орудий, окровавили океан. Три роя стальных дьяволов, визжа слепыми головками, пронеслись черт знает куда и, лопнув, озарили звездное небо.

Вслед за залпами с крейсеров сиялись шесть гидропланов, — все экипажи в масках. Было очевидно, что первые четыре аппарата погибли, налетев на отравленную дымовую завесу воздушного корабля. Вопрос теперь касался чести американского флота. На судах погасили огни. Остались только звезды. В темноте слышно было, как бились волны о стальные борта да пели в вышине самолеты.

Наконец-то!.. Так-так-так-так — из сербистого тумана Млечного Пути долетело таканье пулеметов... Затем — будто там откупоривали бутылки. Это началась атака гранатами. В зените засветилось буро-черным светом клубящееся облачко: из него выскользила, наклонив тупой нос, металлическая сигара. По верхнему гребню ее плыли огненные язычки. Она неслась наклонно вниз, оставляя за собой светящийся хвост, и, вся охваченная пламенем, упала за горизонтом.

Через полчаса один из гидропланов донес, что снизился около горевшего дирижабля и расстрелял из пулемета все, что на нем и около него оставалось живого.

Победа дорого обошлась американской эскадре: погибли четыре самолета со всем экипажем. Отравлено газами насмерть двадцать восемь офицеров, в том числе адмирал эскадры, и сто тридцать два матроса. Обиднее всего при таких потерях было то, что великолепные линейные крейсера с могучей артиллерией оказались на положении бескрылых пингвинов: противник бил их сверху каким-то неизвестным газом, как хотел. Необходимо было взять реванш, показать действительную мощь морской артиллерии.

В этом духе контр-адмирал в ту же ночь послал в Вашингтон донесение о всех происшествиях морского боя. Он настаивал на бомбардировке острова Негодяев.

Ответ морского министра пришел через сутки идти к указанному острову и сровнять его с волнами океана.

104

— Ну, что? — вызывающе спросил Гарри, кладя на письменный стол научники радиоприемника. (Заседание происходило в том же составе, кроме мадам Ламоль.) — Ну, что, милостивые государи?... Могу поздравить... Блокады больше не существует... Американскому флоту отдай приказ о бомбардировке острова.

Роллинг сотрясся, поднялся с кресла, трубка вывалилась у него изо рта, лиловые губы искривились, точно он хотел и не мог произнести какое-то слово.

— Что с вами, старина? — спросил Гарри. — Вас так волнует приближение родного флота? Не терпится повесить меня на мачте? Или струслили бомбардировки?... Глупо вам, разумеется, разлететься на мокрые кусочки от американского снаряда. Или совесть, черт возьми, у вас зашевелилась... Ведь как-никак воюем на ваши денежки.

Гарри коротко засмеялся, отвернулся от старика. Роллинг, так и не сказав ничего, опустился на место, прикрыл землистое лицо дрожащими руками.

— Нет, господа... Без риска можно наживать только три цента на доллар. Мы идем сейчас на огромный риск. Наш разведочный дирижабль отлично выполнил задачу... Прошу почтить вставанием двенадцать погибших, в том числе командира дирижабля Александра Ивановича. Волшина. Дирижабль успел протелефонировать подробно состав эскадры. Восемь линейных крейсеров новейшего типа, вооруженных четырьмя броневыми башнями, по три орудия в каждой. После боя у них должно остаться не менее двенадцати гидропланов. Кроме того, легкие крейсера, эсминцы и подводные лодки. Если считать удар каждого снаряда в семьдесят пять миллионов килограммов живой силы, залп всей эскадры по острову, в круглых цифрах, будет равен миллиарду килограммов живой силы.

— Тем лучше, тем лучше, — прошептал, наконец, Роллинг.

— Перестаньте хныкать, дедуля, стыдно... Я и забыл, господа, — мы должны поблагодарить мистера Роллинга за любезно предоставленное нам новейшее и пока еще секретнейшее изобретение: газ, под названием «Черный крест». Посредством его наши пилоты опрокинули в воду четыре гидроплана и вывели из строя флагманский корабль...

— Нет, я не предоставлял вам любезно «Черный крест», мистер Гарри! — хрипло крикнул Роллинг. — Под дулом револьвера у меня вырвали приказание послать на остров баллоны с «Черным крестом».

Он задохнулся и, шатаясь, вышел. Гарин стал развешивать план защиты острова. Нападения эскадры нужно было ожидать на третьи сутки.

105

«Аризона» подняла пиратский флаг.

Это совсем не означало, что на ней звислось черное с черепом и берцовыми костями романтическое знамя морских разбойников. Теперь разве только на бутылочках с сулемой изображались подобные ужасы.

Флага, собственно, на «Аризоне» не было поднято никакого. Две решетчатые башни с гиперболамидами слишком отличали ее профиль от всех судов на свете. Командовал судном Янсен, подчиненный мадам Ламоль.

Великолепное помещение Зон — спальня, ванная, туалетная, салон — заперто было на ключ. Зоя помещалась наверху, в капитанской рубке, вместе с Янсеном. Прежняя роскошь — синие шелковые тенты, ковры, подушки, кресла — все было убрано. Команда, взятая еще в Марселе, была вооружена кольтами и короткими винтовками. Команде объявлена цель выхода в море и призы с каждого захваченного судна.

Все свободное помещение на яхте было заполнено бидонами с бензином и пресной водой. При боковом ветре, под всеми парусами, с полной нагрузкой изумительных моторов рольс-ройс, «Аризона» летела, как альбатрос, — с гребня на гребень по взволнованному океану.

106

- Ветер подходит к семи баллам, капитан.
- Убрать марселя.
- Есть, капитан.
- Сменять каждый час вахты. Дозорного в бочку на грот.
- Есть, капитан.
- Будут замечены огни, — немедленно будить меня.

Янсен прищурился на непроглядную пустыню океана. Луна еще не восходила. Звезды были затянуты пеленой. За все эти пять суток пути на северо-запад у него не проходило ощущение восторженной легкой дрожи во всем теле. Что ж — пиратством жил и прадеды. Он кивком простился с помощником и вошел в каюту.

Когда он вошел, мускулы его тела испытали знакомое сотрясение, обессиливающую отраву. Он неподвижно стоял под матовым полшарием потолочной лампы. Низкая комфортабельная, отделанная кожей и лакированными деревом капитанская каюта — строгое жилище одинокого моряка — была насыщена присутствием молодой женщины.

Прежде всего здесь пахло духами. Тысяча дьяволов... Предводительница пиратов душилась так, что у мертвого бы заходила селезенка. На спинку стула небрежно кинула флаanelевую юбку и золотистый свитер. На пол,

прямо на коврик, сброшены чулки вместе с подвязками, — один чулок как будто еще хранил форму ноги.

Мадам Ламоль спала на его койке. (Янсен все эти пять дней, не раздеваясь, ложился на кожаный диванчик.) Она лежала на боку. Губы ее были приоткрыты. Лицо, осмугленное морским ветром, казалось спокойным, невинным. Голая рука закинута за голову. Пиратка!

Тяжелым испытанием было для Янсена это воинственное решение мадам Ламоль поселиться вместе с ним в капитанской каюте. С боевой точки зрения — правильно. Шли на разбой, быть может, — на смерть. Во всяком случае, если бы их поймали, обоих повесили бы рядом на мачте. Это его не смущало, это его даже вдохновляло. Он был подданным мадам Ламоль, королевы Золотого острова. Он любил ее.

Сколько там ни объясняй, любовь — темная история. Янсен выдвигал и девчонку из портовых кабаков, и великопленных леди на пароходах, от скуки и любопытства падавших в его морские объятия. Иных он забыл, как пустую страницу пустой книжонки, иных приятно было вспоминать в часы спокойной вахты, похаживая на мостике под теплыми звездами.

Так и в Неаполе, когда Янсен дожидался в курительной звонка мадам Ламоль, было еще что-то похожее на его прежние похождения. Но то, что должно было случиться тогда — после ужина и танцев, не случилось. Прошло полгода, и Янсону теперь даже было трудно вспомнить, — неужели вот этой рукой он когда-то в здравой памяти держал спину танцующей мадам Ламоль? Неужели как-то несколько минут, половина выкуренной папирсы, отделили его от немислмого счастья. Теперь, услышав с другого конца яхты ее голос, он медленно вздрагивал, точно в нем разражалась тихая гроза. Когда он видел на палубе в плетеном кресле королеву Золотого острова, с глазами, блуждающими по краю неба и воды, у него где-то — за границами разумного — все пело и тосковало от преданности, от влюбленности.

Может быть, причиной всему были викинги, морские разбойники, предки Янсена, — те, которые плавали далеко от родной земли по морям в красных ладьях с поднятой кормой и носом в виде петушиного гребня, с повешенными по бортам щитам, с прямыми парусом на ясеневой мачте. У такой мачты Янсен-пращур и пел о синих волнах, о грозových тучах, о светловолосой деве, о той далекой, что ждет у берега моря и глядит вдаль, — проходят годы, и глаза ее как синее море, как грозвые тучи. Вот из какой давности иалетала мечтательность на бедного Янсена.

Стоя в каюте, пахнувшей кожей и духами, он с отчаянием и восторгом глядел на милое лицо, на свою любовь. Он боялся, что она протретса. Неслышно подошел к дивану, лег. Закрыв глаза. Шумели волны за бортом. Шумел океан. Пращур пел древнюю песню о прекрасной деве. Янсен закнул руки за голову, и сон и счастье прикрыли его.

— Капитан!.. (Стук в дверь.) Капитан!

— Янсен! — Встревоженный голос мадам Ламоль иглой прошел через мозг. Капитан Янсен вскочил, — вынырнул с одичавшими глазами из сповивдений. Мадам Ламоль торопливо натягивала чулки. Рубашка ее спустилась, оголив плечо.

— Тревога, — сказала мадам Ламоль, — а вы спите...

В дверь опять стукнули, и — голос помощника:

— Капитан, огни с левого борта.

Янсен растворил дверь. Сырой ветер рванулся ему в легкие. Он закашлялся, вышел на мостик. Ночь была непроглядная. С левого борта, вдаль, над волнами покачивались два огня.

Не сводя глаз с огней, Янсен пошарил на груди свисток. Свистнул. Ответили боцмана. Янсен командовал отчетливо:

— Аврал! Встать! всех наверх! Убрать паруса!

Раздались свистки, крики команды. С бака, с юта повысыпали матросы. Они, как кошки, полезли на матчы, закачались на реях. Заскрипели блоки. Задрал голову, боцман проклял все святое, что есть на свете. Паруса упали. Янсен командовал:

— Право руля! Вперед — полный! Гаси огни!

Идя теперь на одних моторах, «Аризона» сделала крутой поворот. С правого борта взвился гребень волны и покатылся по палубе. Огни погасли. В полной темноте корпус яхты задрожал, развивая предельную скорость.

Замеченные огни быстро вырастали из-за горизонта. Скоро темным очертанием показалось сильно дымившее судно — двухтрубный пакетбот.

Мадам Ламоль вышла на капитанский мостик. На голову она надвинула визаный колпачок с помпоичком, на шею — мохнатый шарф, выходящий за спину. Янсен подал ей бинокль. Она поднесла его к глазам, но так как сильно качало, пришлось положить руку с биноклем на плечо Янсону. Он слушал, как бежит ее сердце под теплым свитером.

— Нападем! — сказала она и близко, твердо посмотрела ему в глаза.

Метрах в пятистах «Аризона» была замечена с пакетбота. На нем со штурвального мостика замахали фонарем, затем низко завывала сирена. «Аризона» без огней, не отвечая на сигналы, мчалась под прямым углом к освещенному кораблю. Он замедлил ход, начал поворачивать, стараясь избежать столкновения...

Вот как описывал неделю спустя корреспондент «Нью-Йорк-Геральд» это неслыханное дело:

«...Было без четверти пять, когда нас разбудил тревожный рев сирены. Пассажиры высыпали на палубу. После света каюты ночь казалась похожей на чернила. Мы заметили тревогу на капитанском мостике и шарили бинок-

лями в темноте. Никто толком не знал, что случилось. Наше судно замедленно ход. И вдруг мы увидели это... на нас мчался какой-то невиданный корабль. Узкий и длинный, с тремя высокими мачтами, похожий очертаниями на быстроходный клипер, на корме и носу его возвышались странные решетчатые башни. Кто-то в шутку крикнул, что это — «Летучий голландец»... На мигнутах всех охватила паника. В ста метрах от нас таинственный корабль остановился, и резкий голос оттуда прокричал в мегафон по-английски:

«Остановить машины. Погасить топки».

Наш капитан ответил:

«Раньше чем исполнить приказание, нужно знать, кто приказывает».

С корабля крикнули:

«Приказывает королева Золотого острова».

Мы были ошеломлены, — что это — шутка? Новая наглость Пьера Гарри?

Капитан ответил:

«Предлагаю королеве свободную каюту и сытный завтрак, если она голодна».

Это были слова из фокстрота «Бедный Гарри». На палубе раздался дружный хохот. И сейчас же на таинственном корабле, на носовой башне, появился луч. Он был тонок, как вязальная игла, ослепительно белый, и шел из купола башни, не расширяясь. Никому в ту минуту не приходило в голову, что перед нами самое страшное оружие, когда-либо выдуманное человечеством. Мы были весело настроены.

Луч описал петлю в воздухе и упал на носовую часть нашего пакетбота. Послышалось ужасающее шипение, вспыхнуло зеленоватое пламя разрезаемой стали. Дико закричал матрос, стоявший на юте. Носовая надводная часть пакетбота обрушилась в море. Луч поднялся, задрожал в вышине и, снова опустившись, прошел параллельно над нами. С грохотом на палубу повалились верхушки обеих мачт. В панике пассажиры кинулись к трапам. Капитан был ранен обломком.

Остальное известно. Пираты подъехали на шлюпке, вооруженные короткими карабинами, поднялись на борт пакетбота и потребовали денег. Они взяли десять миллионов долларов, — все, что находилось в почтовых переводах и в карманах у пассажиров.

Когда шлюпка с награбленным вернулась к пиратскому кораблю, на нем ярко осветилась палуба. Мы видели, как с решетчатой башни спустилась высокая худощавая женщина в визаном колпачке, стремительно вошла на капитанский мостик и приложила ко рту мегафон. Откинувшись, она крикнула нам:

«Можете свободно продолжать путь».

Пиратский корабль сделал поворот и с необычайной быстротой скрылся за горизонтом».

События последних дней — нападение на американскую эскадру дирижабля «П. Г.» и приказ по флоту о бомбардировке — взбудоражили все население Золотого острова.

В контору посыпались заявления о расчете. Из сберегательной кассы брали вклады. Рабочие совещались за проволоками, не обращая внимания на желто-белых гвардейцев, с мрачными и решительными лицами шагавших по полицейским тропинкам. Поселок был похож на потревоженный улей. Напрасно завывали медные трубы и бухали турецкие барабаны в овраге перед публичными домами. Луна-парк и бары были пусты. Напрасно пятнадцать провокаторов прилагали нечеловеческие усилия, чтобы разрядить дурное настроение в национальную потасовку. Никто никому в эти дни не хотел сворачивать скул за то только, что он живет за другой проволокой.

Инженер Чермак расклевил по острову правительственное сообщение. Объявлялось военное положение, запрещались сборища и митинги, до особого распоряжения никто не имел права требовать расчета. Население предостерегалось от критики правительства. Работы в шахте должны продолжаться без перебоя день и ночь. «Тех, кто грубую поддержку в эти дни Гарина, — говорилось в сообщении, — тех ожидает сказочное богатство. Малодушных мы сами вышвырнем с острова. Помните, мы боремся против тех, кто мешает нам разбогатеть».

Несмотря на решительный дух этого сообщения, утром, накануне дня, в который ожидалось нападение флота, шахтовые рабочие заявили, что они остаются гиперболенды и машины жидкого воздуха, если сегодня до полудня не будет выплачено жалование (это был день получки) и до полудня же не будет послано американскому правительству заявление о миролюбии и о прекращении всяких военных действий.

Остановить машины жидкого воздуха — значило взорвать шахту, быть может, вызвать извержение расплавленной магмы. Угроза была сильна. Инженер Чермак горяча пригрозил расстрелом. У шахты стали сосредотачиваться бело-желтые. Тогда сто человек рабочих спустились в шахту, в боковые пещеры и по телефону сообщили в контору:

«Нам не оставляют иного выхода, кроме смерти, к четырем часам взрываемся вместе с островом».

Все же это была отсрочка на четыре часа. Инженер Чермак убрал из района шахты гвардию и на мотоциклете помчался во дворец. Он застал за беседой Гарина и Шельгу. Обоих — красных и встрепанных. Гарин вскопчил, как бензены, увидев Чермака.

— У кого вы учились административной глупости?

— Но...

— Молчать... Вы отставлены. Отправляйтесь в лабораторию, к черту или куда хотите... Вы — осел...

Гарин распахнул дверь и вытолкнул Чермака. Вернулся к столу, на углу которого сидел Шельга с сигарой в зубах.

— Шельга, инастал час, я его предвидел, — один вы можете овладеть движением, спасти дело... То, что началось на острове, опаснее десяти американских флотов.

— Н-да, — сказал Шельга, — давно бы пора понять...

— К черту с вашей политграмотой... Я значаю вас губернатором острова с чрезвычайными полномочиями... Попробуйте откатиться, — торопливо забрав на самые верхи, закричал Гарин, кинулся к столу, вытащил револьвер. — Коротко: если иет — я стреляю... Да или иет?

— Нет, — сказал Шельга, косясь на револьвер.

Гарин выстрелил. Шельга поднес руку, державшую сигару, к виску:

— Дермо собачье, сволочь...

— Ага, значит, согласны?

— Положите эту штуку.

— Хорошо. (Гарин швырнул револьвер в ящик.)

— Что вам нужно? Чтобы рабочие не взорвали шахты? Ладно. Не взорвут. Но — условие...

— Заранее согласен.

— Как я был частным лицом на острове, так я и остаюсь. Я вам ие слуга и не иаежник. Это первое. Все национальные границы сегодня же уиичтожить, чтобы ии одной проволоки. Это второе...

— Согласен.

— Шапку ваших провокаторов...

— У меня иет провокаторов, — быстро сказал Гарин.

— Врете...

— Ладно, — вру. Что с ними? Утопить?

— Сегодня же ночью.

— Сделаю. Считайте их утопленными. (Гарин быстро помечал карандашом на блокноте.)

— Последнее, — сказал Шельга, — полное невместительство в мои отношения с рабочими.

— Ой ли? (Шельга сморщился, стал слезать со стола. Гарин схватил его за руку). Согласен. Придет время, — я вам все равню обломлю бока. Что еще?

Шельга, сощуриая, раскуривал сигару, так что за дымом не стало видно его лукавого обветренного лица с короткими светлыми усиками, с приподнятым носом. В это время зазвонил телефон. Гарин взял трубку.

— Я. Что? Радио?

Гарин швырнул трубку и надел наушники. Слушал, кусал ноготь. Рот его пополз вкось усмешкой.

— Можете успокоить рабочих. Завтра мы платим. Мадам Ламоль достала десять миллионов долларов. Сейчас посылаю за деньгами прогулочный дирижабль. «Арзона» всего в четырехстах милях на северо-западе.

— Ну что же, это упрощает, — сказал Шельга. Засуиув руки в карманы, он вышел.

Повиснув на поточных ремнях так, чтобы иогн не касались пола, зажмурившись и на секунду задержав дыхание, Шельга рухнул вниз в стальной коробке лифта.

Охлаждение параллельной шахты было ие-

равионеры, и от пещеры к пещере приходилось пролетать горячие пояса,—спасала только скорость падения.

На глубине восьми километров, глядя на красную стрелку указателя, Шельга включил реостаты и остановил лифт. Это была пещера номер тридцать семь. В трехстах метрах глубже нее на дне шахты гудели гиперболоиды и раздавались короткие, непрерывные взрывы раскаленной почвы, охлаждаемой сжатым воздухом. Позвякивали, шуршали черпаки элеваторов, уносящие породу на поверхность земли.

Пещера номер тридцать семь, как и все пещеры сбоку главной шахты, представляла собой внутренность железного клепаного куба. За стенками его испарился жидкий воздух, охлаждающая гранитную толщу. Пояс кипящей магмы, видимо, был неглубоко, ближе, чем это предполагалось по данным электромагнитных и сейсмографических разведок. Гранит был накален до пятисот градусов. Остановись хотя бы на несколько минут охлаждающие приборы жидкого воздуха, все живое мгновению превратилось бы в пепел.

Внутри железного куба стояли койки, лавки, ведра с водой. На четырехчасовой смене рабочие приходили в такое состояние, что их полуживыми укладывали на койки, прежде чем поднять на поверхность земли. Шумели вентиляторы и воздуходувные трубы. Лампочка под клепаным потолком резко освещала мрачные, нездоровые, отечные лица двадцати пяти человек. Семьдесят пять рабочих находились в пещерах выше, соединенные телефонами.

Шельга вышел из лифта. Кое-кто обернулся к нему, но не поздоровались, — молчали. Очевидно, решение взорвать шахту было твердое.

— Переводчика. Я буду говорить по-русски, — сказал Шельга, садясь к столу и отодвигая локтем банки с мармеладом, с английской солью, недопитые стаканы вина. (Всем этим правительство острова щедро снабжало шахтеров.)

К столу подошел синева-бледный, под щетиной бороды, сутулый, костлявый еврей.

— Я переводчик.

Шельга начал говорить:

— Гарин и его предприятие — не что иное, как крайняя точка капиталистического сознания. Дальше Гарина идти некуда: насильственное превращение трудящейся части человечества в животных путем мозгового операции, отбор избранных — «царей жизни», остановка хода цивилизации. Буржуа пока еще не понимают Гарина, — да он и сам не торопится, чтобы его поняли. Его считают бандитом и захватчиком. Но они в конце концов поймут, что империализм упирается в систему Гарина... Товарищи, мы должны предупредить самый опасный момент: чтобы Гарин с ними не сговорился. Тогда вам придется туго, товарищи. А вы в этой коробке решили умереть за то, чтобы Гарин не ссорился с американским правительством. Как же теперь быть, подумайте? Одолеет Гарин — плохо, одолеют капиталисты — плохо. Гарин с ними

сговорится — тогда уже хуже некуда. Вы еще не знаете себе цены, товарищи, — сила на вашей стороне. И через месяц, когда черпаки погонят золото на поверхность земли, это будет на руку не Гарину, а вам, тому делу, которое мы должны совершить на земле. Если вы мне верите, но как верите, — до конца, свирепо, — тогда я — ваш вождь... Выбирайте единогласно... А если не верите...

Шельга приостановился, оглянул угрюмые лица рабочих, устремленные на него немигающие глаза, — сильно почесал в затылке...

— Если не верите, — еще буду разговаривать.

К столу подошел голый по пояс, весь в саже, плечистый юноша. Нагнувшись, посмотрел на Шельгу синими глазами. Поддернул штаны, повернулся к товарищам:

— Я верю.

— Верим, — сказали остальные. Через многоверстную гранитную толщину долетело по телефонам: «Верим, верим».

— Ну, верите, так ладно, — сказал Шельга, — теперь по пунктам: национальные границы к вечеру уберут. Зарплату получите завтра. Гвардейцы пусть охраняют дворцы, — мы без них обойдемся. Пятнадцать душ провокаторов утопим, — это я первым условием поставил. Теперь задача — как можно скорее пробиться к золоту. Правильно, товарищи?

110

Ночью на северо-западе появился блуждающий свет прожекторов. В гавани тревожно завывали сирены. На рассвете, когда море еще лежало в тени, появились первые вестники приближающейся эскадры: высоко над островом кружились самолеты, поблескивая в розовой заре.

Гвардейцы открыли было по ним стрельбу из карабинов, но скоро перестали. Кучками собирались жители острова. Над шахтой продолжал куриться дымок. Били склянки на судах. На большом транспорте шла разгрузка — береговой край выбрасывал на берег накрест перевязанные тюки.

Океан был спокоен в туманном мареве. В небѣ пели воздушные винты.

Поднялась солище туманным шаром. И тогда все увидели на горизонте дымы. Они ложжились длинной и плоской тучей, тянувшейся на юго-восток. Это приближалась смерть.

На острове все затихло, как будто перестали даже петь птицы, привезенные с континента. В одном месте кучка людей побежала к лодкам в гавани, и лодки, нагруженные до бортов, торопливо пошли в открытое море. Но лодок было мало, остров — как на ладони, укрыться нигде. И жители стояли в столбике, молча. Иные ложжились лицом в песок.

Во дворце не было заметно движения. Бронзовые ворота заперты. Вдоль красноватых наклонных стен шагали, с карабинами за спиной, гвардейцы в широкополых высоких шляпах, в белых куртках, расшитых золотом. В стороне возвышалась прозрачная, как кружево, башня большого гиперболоида. Восхо-

дающая пелена тумана скрывала от глаз ее верхушку. Но мало кто надеялся на эту защиту: буро-черное облако на горизонте было слишком вещественно и угрожающе.

Многие с испугом обернулись в сторону шахты. Там заревел гудок третьей смены. Наше время работы! Будь проклято золото! Затем часы на крыше замка пробили восемь. И тогда по океану покатались грохот — тяжелые, возрастающие громовые раскаты. Первый залп эскадры. Секунды ожидания, казалось, растянулись в пространстве, в звуках налетающих снарядов.

111

Когда раздался залп эскадры, Роллинг стоял на террасе, наверху лестницы, спускающейся к воде. Он вынул изо рта трубку и слушал рев налетающих снарядов: не менее девяноста стальных дьяволов, начиненных мелезитом и иррыным газом, мчались к острову прямо в мозг Роллингу. Они победоносно ревели. Сердце, казалось, не выдержит этих звуков. Роллинг попытился к двери в гранитной стене. (Он давно приготовил себе убежище в подвале на случай бомбардировки.) Снаряды разорвались в море, взлетев водяными столбами. Громыкнули. Недолго.

Тогда Роллинг стал смотреть на вершину сквозной башни. Там со вчерашнего вечера сидел Гарин. Круглый купол на башне вращался, — это было заметно по движениям меридиональных щелей. Роллинг надел пенсне и всматривался, задрал голову. Купол вращался очень быстро — направо и налево. При движении направо видно было, как по меридиональной щели ходит вверх и вниз блестящий ствол гиперболоида.

Самым страшным была та торопливость, с которой Гарин работал аппаратом. И — тишина. Ни звука на острове.

Но вот с океана долетел широкий и глухой звук, будто в небе лопнул пузырь. Роллинг поправил пенсне на взмохом носу и глядел теперь в сторону эскадры. Там распылились грибами три кучи бело-желтого дыма. Левее их вспучивались лохматые клубы, озарились кроваво, поднялись, и вырос, расплылся четвертый гриб. Докатился четвертый раскат грома.

Пенсне все сваливалось с носа Роллинга. Но он мужественно стоял и смотрел, как за горизонтом вырастали дымные грибы, как все восемь линейных кораблей американской эскадры взлетели на воздух.

Снова стало тихо на острове, на море и в небе. В сквозной башне сверху вниз мелькнул лифт. Хлопнули двери в доме, послышалось фальшивое насвистывание фокстрота, на террасу выбежал Гарин. Лицо у него было измученное, измятое, волосы — торчком.

Не замечая Роллинга, он стал раздеваться. Сошел по лестнице к самой воде, стащил подштаники цвета семги, шелковую рубашку. Глядя на море, где еще таял дым над местом погибшей эскадры, Гарин скреб себя под мыш-

ками. Он был, как женщина, белый телом, сытенный, в его наготе было что-то постыдное и отвратительное.

Он поприобавил ногой воду, присел по-бабьи навстречу волне, поплыл, но сейчас же вылез и только тогда увидел Роллинга.

— А, — протянул он, — а вы что, тоже купаться собрались? Холодно, черт его дер!

Он вдруг рассмеялся дребезжащим смешком, захватил одежду и, помахивая подштаниками и не прикрываясь, во всей срамоте пошел в дом. Такого унижения Роллинг еще не переживал. От ненависти, от омерзения сердце его оледенело. Он был безоружен, беззащитен. В эту минуту слабости он почувствовал, как на него легло прошлое, — вся тяжесть истраченных сил, бычьей борьбы за первое место в жизни... И все для того, чтобы мимо него торжествуящее прошествовал этот его победитель — голый бесстыдник.

Открывая огромные бронзовые двери, Гарин обернулся:

— Дядя, идем завтракать. Раздавим бутылочку шампанского.

112

Самое страшное в дальнейшем поведении Роллинга было то, что он покорию пошелся завтракать. За столом, кроме них, сидела только мадам Ламоль, бледная и молчаливая от пережитого волнения. Когда она подносила ко рту стакан, — стекло дребезжало об ее ровные ослепительные зубы.

Роллинг, точно боясь потерять равновесие, напряженно глядел в одну точку — на золотую бутылочную пробку, сделанную в форме того самого проклятого аппарата, которым в несколько минут были уничтожены все прежние понятия Роллинга о мощи и могуществе.

Гарин, с мокрыми непричесанными волосами, без воротничка, в помятом и прожженным пиджаке, болтал какой-то вздор, жуя устрицы, — залпом выпил несколько стаканов вина: — Вот теперь только понимаю, до чего голодался.

— Вы хорошо поработали, мой друг, — тихо сказала Зоя.

— Да. Признаться, одну минуту было страшно, когда горизонт окутался пушечным дымом... Они меня все-таки опередили... Черти... Возьми они на один кабельтов дальше — от этого дома, чего там — от всего острова остались бы пух и перья...

Он выпил еще стакан вина и, хотя сказал, что голоден, локтем оттолкнул ливрейного лакея, поднесшего блюдо.

— Ну как, дядя? — он неожиданно повернулся к Роллингу и уже без смеха впился в него глазами. — Пора бы нам поговорить серьезно. Или будете ждать еще более потрясающих эффектов?

Роллинг без стука положил на тарелку вилку и серебряный крючок для омаров, опустил глаза:

— Говорите, я вас слушаю.

— Давно бы так... Я вам уже два раза предлагал сотрудничество. Надеюсь — помните?

Впрочем, я вас не виню: вы не мыслитель, вы из породы буйволов. Сейчас еще раз предлагаю. Удивляетесь? Объясню. Я — организатор. Я перестраиваю всю вашу тяжеловесную, набитую глупейшими предассудками капиталистическую систему. Понятно? Если я не сделаю этого — коммунисты вас съедят с маслом и еще сплюнут и без удовольствия. Коммунизм — это то единственное в жизни, что я ненавижу... Почему? Он уничтожает меня, Петра Гарина, целую вселенную замыслов в моем мозгу... Вы вправе спросить, для чего же мне нужны вы, Роллинг, когда у меня под ногтями неисчерпаемое золото?

— Да, спрошу, — хрипло проговорил Роллинг.

— Дядя, выпейте стакан джиу с кайенским перцем, это оживит ваше воображение. Неужели вы хотя на минуту могли подумать, что я намерен превратить золото в навоз? Действительно, я устрою несколько горячих денечков человечеству. Я подведу людей к самому краю страшной пропасти, когда они будут держать в руках килограмм золота, стоящий пять центов¹.

Роллинг вдруг поднял голову, тусклые глаза молло блеснули, рот раздвинулся кривой усмешкой...

— Ага! — каркнул он.

— То-то — ага. Поняли, наконец?.. И тогда, в эти дни величайшей паники, мы, то есть я, вы и еще треста таких же буйволов, или мировых негодяев, или финансовых королей, — выбирайте название по своему вкусу, — возьмем мир за глотку... Мы покупаем все предприятия, все заводы, все железные дороги, весь воздушный и морской флот... Все, что нам нужно и что пригодится, — будет наше. Тогда мы взрываем этот остров вместе с шахтой и объявляем, что мировой запас золота ограничен, золото в наших руках и золоту возвращено его прежнее значение — быть единой мерой стоимости.

Роллинг слушал, откинувшись на спинку стула, рот его с золотыми зубами раздвинулся, как у акулы, лицом побавровело.

Так он сидел неподвижно, поскрекивая маленькими глазами. Мадом Ламоль на минуту даже подумала: не хватит ли старика удр.

— Ага! — снова каркнул он. — Идея смела... Вы можете рассчитывать на успех... Но вы не учитываете опасности всяких забастовок, бунтов...

— Это учитываю в первую голову, — резко сказал Гарин. — Для начала мы построим громадные концентрационные лагеря. Всех недовольных нашим режимом — за проволоку. Затем — проведем закон о мозговой кастрации... Итак, дорогой друг, вы избираете меня вождем?.. Ха! (Он неожиданно подмигнул, и это было почти страшно.)

Роллинг опустил лоб, наисупился. Его спрашивали, он обязан был подумать.

— Вы принуждаете меня к этому, мистер Гарин?

— А вы как думали, дядя? На колених, что

ли, прошу? Принуждаю, если вы сами еще не поняли, что уже давно ждете меня, как спасителя.

— Очень хорошо, — сквозь зубы сказал Роллинг и через стол протянул Гарину ливовую шершавую руку.

— Очень хорошо, — повторил Гарин. «События развиваются стремительно. Нужно, чтобы на континенте было подготовлено мнение трехсот королей. Вы напишете ли письмо о всем безумии правительства, посылающего флот расстреливать мой остров. Вы постараетесь пригласить их к «золотой панике». (Он щелкнул пальцами; подскочил ливрейный лакей.) Налей-ка еще шампанского. Итак, Роллинг, выпьем за великий исторический переворот... Ну что, брат, а Муссолини какой-нибудь — шенок...

Петр Гарин договорился с мистером Роллингом... История была прищиплена, история понеслась вскачь, звеня золотыми подковами по черепам дураков.

113

Впечатление, произведенное в Америке и Европе гибелью тихоокеанской эскадры, было потрясающее, небывалое. Североамериканские Соединенные Штаты получили удар, отдавшийся по всей земле. Правительства Германии, Франции, Англии, Италии неожиданно с нездоровой нервною восприимчивостью: по-казалось, — а вдруг в нынешнем году (а вдруг и совсем) не нужно будет платить процентов распухшей от золота Америке? «Колосс оказался на глиняных ногах», — писали в газетах, — не так-то просто завоевывать мир...»

Кроме того, сообщения о пиратских похождениях «Арзонны» внесли перебой в морскую торговлю. Владельцы пароходов отказывались от погрузок, капитаны боялись идти через океан, страховые общества подняли цены, в банковских переводах произошел хаос, начались протесты векселей, лопнули несколько торговых домов, Япония последила просунуть на американские колоннальные рынки свои дешевые и скверные товары.

Плачевный морской бой обошелся Америке в большие деньги. Пострадал престиж, или, как его называли, «национальная гордость». Промышленники требовали мобилизации всего морского и воздушного флотов, — войны до победного конца, чего бы это ни стоило. Американские газеты грозились, что «не снимут траура» (названия газет были обведены траурной рамкой, — это на многих производило впечатление, хотя типографски стоило недорого), покада Пьер Гарин не будет привезен в железной клетке в Нью-Йорк и казнен на электрическом стуле. В города, в обывательскую толщу, проникали жуткие слухи об агентах Гарина, снабженных будто бы карманным инфракрасным лучом. Были случаи избивания неизвестных личностей и мгновенных паник на улицах, в кино, в ресторанах. Вашингтонское правительство гремело словами, но по существу показывало ужасную рас-

¹ Около шести копеек. (Примеч. А. Н. Толстого.)

терянность. Единственное из всей эскадры судно, миноносец, уцелевший от гибели под Золотым островом, привез военному министру донесение о бое, — подробности настолько страшные, что их побоялись опубликовать. Семнадцатидюймовые орудия были бессильны против световой башни острова Негодаев.

Все эти неприятности заставили правительство Соединенных Штатов созвать в Вашингтоне конференцию. Ее лозунгом было: «Все люди суть дети одного бога, подумаем о мире — процветании человечества».

Когда был опубликован день конференции, редакции газет, радиостанций всего мира получили извещение о том, что инженер Гарин лично будет присутствовать на открытии.

114

Гарин, Чермак и инженер Шефер опускались в лифте в глубину главной шахты. За слюдяными окшками проходили бесконечные ряды труб, проводов, креплений, элеваторных колодезев, площадок, железных дверей.

Миновали восемнадцать поясов земной коры — восемнадцать слоев, по которым, как по стволу дерева, отмечались эпохи жизни планеты. Органическая жизнь начиналась с четвертого «от огня» слоя, образованного палеозойским океаном. Девственные воды его были насыщены неведомой нам жизненной силой. Они содержали радиоактивные соли и большое количество углекислоты. Это была «вода жизни».

На заре последующей — мезозойской — эры из вод его вышли гигантские чудовища. Миллионы лет они потыкали землю криками жадности и похоти. Еще выше, в слоях шахты, находили остатки птиц, еще выше — млекопитающих. А там уже близился ледниковый период — суровое снежное утро человечества.

Лифт опускался через последний, девятнадцатый, слой, произошедший из пламени и хаоса извержений. Это была земля архейской эры — сплошной черно-багровый, мелкозернистый гранит.

Гарин кусал ногти от нетерпения. Все трое молчали. Было тяжело дышать. На спине у каждого висел кислородный аппарат. Слышался рев гиперболюдов и взрывы.

Лифт вошел в полосу яркого света электрических ламп и остановился над огромной воронкой, собирающей газы. Гарин и Шефер надели резиновые круглые, как у водолазов, шлемы и проникли через один из люков воронки на узкую железную лестницу, которая вела отвесно вниз на глубину пятнадцатого дома. Они начали спускаться. Лестница окончилась кольцевой площадкой. На ней несколько голых по пояс рабочих, в круглых шлемах, с кислородными аппаратами за спиной, сидели на корточках над кожурами гиперболюдов. Глядя вниз, в гудящую пропасть, рабочие контролировали и направляли лучи.

Такие же отвесные, с круглыми прутьями-ступенями лестницы соединяли эту площадку с нижним кольцом. Там стояли охладители с жидким воздухом. Рабочие, одетые с ног до

головы в прорезиненный войлок, в кислородных шлемах, руководили с нижней площадки охладителями и черпаками элеваторов. Это было наиболее опасное место работ. Неловкое движение, и человек попадал под режущий луч гиперболюда. Внизу раскаленная порода лопалась и взрывалась в струях жидкого воздуха. Снизу летели осколки породы и клубы газов.

Элеваторы вынимали в час до пятидесяти тонн. Работа шла споро. Вместе с углублением черпаков опускалась вся система — «железный крот», — построенная по чертежам Манцева, верхнее кольцо с гиперболюдами и наверху газовая воронка. Крепления шахты начинались уже выше «кратовой» системы.

Шефер взял с пролетающего черпака горсть серой пыли. Гарин растер ее между пальцами. Нетерпеливым движением потребовал карандаш. Написал на коробке от папирос:

«Тяжелые шлаки. Лава».

Шефер закивал круглым очкастым шлемом. Осторожно передвигаясь по краю кольцевой площадки, они остановились перед приборами, висящими на монолитной стене шахты на стальных тросах и опускающимися по мере опускания всей системы «железного крота». Это были барометры, сейсмографы, компасы, маятники, записывающие величину ускорения силы тяжести на данной глубине, электромагнитные измерители.

Шефер указал на маятник, взял у Гарина коробку от папирос и написал на ней не спеша аккуратным немецким почерком:

«Ускорение силы тяжести поднялось на девять сотых со вчерашнего утра. На этой глубине ускорение должно было упасть до 0,98, вместо этого мы получаем увеличение ускорения на 1,07...»

«Магниты?» — написал Гарин.

Шефер ответил:

«Сегодня с утра магнитные приборы стоят на нуле. Мы опустили ниже магнитного поля».

Уперев руки в колени, Гарин долго глядел вниз, в суживающийся до едва видимой точки черный колодез, где ворчал, вгрызаясь все глубже в землю, «железный крот». Сегодня с утра шахта начала проходить сквозь Оливинный пояс.

115

— Ну, как, Иван, здоровышко?

Шельга погладил мальчика по голове. Иван сидел у него в маленьком прибрежном домике, у окна, глядел на океан. Домик был сложен из прибрежных камней, обмазан светложелтой глиной. За окном по снему океану шли волны, белея пеной, разбивались о рифы, о прибрежный песок уединенной бухточки, где жил Шельга.

Ивана привезли полумертвым на воздушном корабле. Шельга отходил его с большим трудом. Если бы не свой человек на острове, Иван навряд бы остался жить. Весь он был обморожен, застужен, и, ко всему, душа его

была угнетена: поверил людям, старался из последних сил, а что вышло?

— Мне теперь, товарищ Шельга, в Советскую Россию въезда нет, засудят.

— Брось, дурачок. Ты ни в чем не виноват.

Сидел ли Иван на берегу, на камешке, ловил ли крабов, или бродил по острову среди чудес, кипучей работы, суетливых чужих людей, — глаза его с тоской ищет-нет да и оборачивались на запад, где садился в океан пышный шар солнца, где еще дальше солища лежала советская родина.

— На дворе июль, — говорил он тихим голосом, — у нас в Ленинграде — утро. Товарищ Тарашкин чаю с ситником напился, пошел на работу. В клубе на Крестовке лодки конопатят, через две недели поднятие флага.

Когда мальчик поправился, Шельга начал осторожно объяснить ему положение вещей и увидел, так же как и Тарашкин в свое время, что Иван боек понимать с полуслова и настроен непримиримо, по-советски. Если бы только не скучил он по Ленинграду — золотой был бы мальчишка.

— Ну, Иван, — однажды весело сказала Шельга, — ну, Ванюшка, скоро отправлю тебя домой.

— Спасибо, Василий Витальевич.

— Только надо будет сначала одну штуку отвоздить.

— Готов.

— Ты лезть ловок?

— В Сибири, Василий Витальевич, на пятидесятиметровые кедры лазил за шишками, влезешь — земли оттуда не видно.

— Когда нужно будет, скажу тебе, что делать. Да зря не шатайся по острову. Возьми лучше удочку, лови морских ежей.

116

Гарин теперь уверенно двигался в своих работах по плану, найденному в записках и дневниках Манцева.

Черпаки прошли мощный слой магмы. На дне шахты слышался гул кипящего подземного океана. Стены шахты, замороженные в толщину на тридцать метров, образовывали несокрушимый цилиндр, — все же шахта получала такие вздрагивания и колебания, что пришлось бросить все силы на дальнейшее замораживание. Элеваторы выкидывали теперь на поверхность кристаллическое железо, никель и оливин.

Начались странные явления. В море, куда уносила по стальным лентам и понтонам поднятая на поверхность порода, появилось свечение. Оно усиливалось в продолжение нескольких суток. Наконец огромные массы воды, камней, песку вместе с частью понтонов взлетели на воздух. Взрыв настолько был силен, что ураганом снесло рабочие бараки и большая волна, хлынув на остров, едва не залила шахты.

Пришлось перегружать породу прямо на баржи и топить ее далеко в океане, где не

прекращались свечение и взрывы. Объяснялось это еще неизвестными явлениями атомного распада элемента М.

Не менее странное происходило и на дне шахты. Началось с того, что магнитные приборы, показывавшие еще недавно нулевые деления, внезапно обнаружили магнитное поле чудовищного напряжения. Стрелки поднялись до отказа. Со дна шахты стал исходить лиловатый дрожащий свет. Самый воздух как будто перерождался. Азот и кислород воздуха, бомбардируемые мриадами альфа-частиц, распадался на гелий и водород.

Часть свободного водорода сгорала в лучах гиперболюидов, — по шахте пролетали огненные языки, раздавались точно пистолетные выстрелы. На рабочих загорались одежда. Шахты потрясли такие-то приливы и отливы в океане магмы. Было замечено, что стальные черпаки и железные части покрываются землесто-красным налетом. В железных частях машин началось бурное распадение атомов. Многие из рабочих были обожжены невидимыми лучами. Все же с прежним упорством «железный крот» продолжал прогрызаться сквозз Оливиновый пояс.

Гарин почти не выходил из шахты. Только теперь он начал понимать все безумие своего предприятия. Никто не мог сказать, на какую глубину залегает слой кипящего подземного океана. Сколько еще километров придется проходить сквозз расплавленный оливин. Одно только было несомненно, — приборы указывали на присутствие в центре земли магнитного твердого ядра чрезвычайно низкой температуры.

Опасность была, что замороженный цилиндр шахты, более плотный, чем расплавленная среда вокруг него, оторвется силой земного тяготения и увлечется к центру. Действительно, в стенках шахты начали появляться опасные трещины, через них с шипением пробивались газы. Пришлось уменьшить вдвое диаметр шахты и ставить мощные вертикальные крепления.

Много времени заняла установка нового, вдвое меньшего диаметром, «железного крота». Утешительными были только известия с «Аризони». Ночью яхта, снова начавшая крейсировать под пиратским флагом, ворвалась в гавань Мельбуриа, зажгла склады копры, чтобы известить о своем прибытии, и потребовала пять миллионов фунтов. (Для острастки был сбит движением лота бульвар на берегу моря.) В несколько часов город опустел, деньги были уплачены баиками. При выходе из гавани «Аризона» была встречена английским стационаром, открывшим огонь. Яхта получила сквозную пробойную шестидюймовым снарядом выше ватерлинии и, в свою очередь, атаковала и искромсала военное судно. Боем командовала мадам Ламоль с верхушки башни гиперболюида.

Это сообщение развеселило Гарина. За последнее время на него нападали мрачные мысли. А вдруг Манцев ошибся в своих расчетах? Так же, как год тому назад в уединенном доме на Петроградской стороне, утомленный

мозг его нащупывал возможности спасения, если постигнет неудача с шахтой.

Двадцать пятого апреля, стоя внутри кровной системы на кольцевой площадке, Гарин наблюдал необычайное явление. Сверху, с воронки, собирающей газы, пошел ртутный дождь. Пришлось прекратить действие гиперболоидов. Ослабили замораживание на дне шахты. Черпаки прошли оливины и брали теперь чистую ртуть. Следующим номером, во семдесят первым, по таблице Менделеева, за ртутью следовал металл талий. Золото (по атомному весу — 197,2 и номеру — 79) лежало выше ртути по таблице.

То, что произошла катастрофа и золота не оказалось при прохождении сквозь слои металлов, расположенных по удельному весу, понимали только Гарин и инженер Шефер. Это была катастрофа! Проклятый Манцев ошибся!

Гарин опустил голову. Он ожидал чего угодно, но не такого жалкого конца... Шефер рассеянно протянул перед собой руку, ладонью вверх, ловя падающие из-под воронки капельки ртути. Вдруг он схватил Гарина за локоть и увлек к отвесной лестнице. Когда они взобрались наверх, сели в лифт и сняли резиновые шлемы, Шефер затонал тяжелыми башмаками. Костлявое, детски-простоватое лицо его светилось радостью.

— Это же золото! — крикнул он, хохоча. — Мы просто бараньи головы... Золото и ртуть кипят рядом. Что получается? Ртутное золото!. Глядите же! — Он разжал ладонь, на которой лежали жидкие дробинки. — В ртути золотистый оттенок. Здесь девяносто процентов червонного золота!

117

Золото, как нефть, само шло из земли. Работы по углублению шахты приостановились. «Железный крот» был разобран и вынут. Временные фермовые крепления шахты снимались. Вместо них опускали во всю глубину массивные стальные цилиндры, в толще которых пролегалла система охладительных труб.

Нужно было только регулировать температуру, чтобы получить выпараемое снизу раскаленными парами ртутное золото на любой высоте в шахте. Гарин вычислил, что после того, как стальные цилиндры будут опущены до самого дна, ртутное золото можно заставить подняться на всю высоту и черпать его прямо с поверхности земли.

От шахты на северо-восток спешно строился ртутопровод. В левом крыле замка, примыкающем к подножию башни большого гиперболоида, ставили печи и вмазывали фаянсовые тигли, где должно было выпариваться золото.

Гарин предполагал довести на первое время суточную продукцию золота до десяти тысяч пудов, то есть до ста миллионов долларов в сутки.

«Арizonе» был послан приказ вернуться на

остров. Мадам Ламоль ответила поздравлением и по радио объявила всем, всем, всем, что прекращает пиратские нападения в Тихом океане.

118

Незадолго до открытия Вашингтонской конференции в гавань Сан-Франциско вошли пять океанских кораблей. Они мирно подыали голландский флаг и ошвартовались у набережной среди тысячи таких же торговых судов в широком и дымном заливе, залитом летним солнцем.

Капитаны съезжали на берег. Все было в порядке. На кораблях сушились матросские подштанники. Мыли палубу. Некоторое изумление у таможенных чиновников вызвал груз на судах под голландским флагом. Но им объяснили, что литые, по пяти килограммов, бруски желтого металла не что иное, как золото, привезенное для продажи.

Чиновники посмеялись над такой забавной шуткой.

— Почем же вы продаете золото? Хе!

— По себестоимости, — ответили помощники капитанов. (На всех пяти кораблях происходил слово в слово один и тот же разговор.)

— А именью?

— По два с половиной доллара за килограмм.

— Недорого цените ваше золото.

— Продаем дешево, товару много, — ответили помощники капитанов, посасывая трубки.

Так чиновники и записали в журналах: «Груз — бруски желтого металла, под названием золото». Посмеялись и ушли. А смеяться совсем было нечему.

Через два дня в Сан-Франциско в утренних газетах, в отделе объявлений, на беложелтых афишах, расклеенных по рекламным столбам, и просто на тротуарах мелом появилось сообщение:

«Инженер Петр Гарин, считая войну за независимость Золотого острова оконченной и глубоко сожалея о жертвах, понесенных противником, с почтением предлагает жителям Соединенных Штатов, в виде начала мирных торговых сношений, пять кораблей, груженных червонным золотом. Пятикилограммовые бруски золота продаются по цене два с половиной доллара за килограмм. Желающие могут купить их в табачных, москательных, мелочных лавках, в газетных киосках, у чистильщиков сапог и так далее... Прошу убедиться в подлинности золота, имеющегося у меня в неограниченном количестве. С почтением. Гарин».

Разумеется, ни один человек не поверил этим дурацким рекламам. Большинство контрагентов припрятали золотые слитки. Все же город заговорил о Петре Гарине, пирате и легендарном негодяе, снова тревожащем спокойствие честных людей. Вечерние газеты потребовали личивания Пьера Гарри. В шестом часу вечера праздные толпы устремились в гавань и на летучих митингах выносили резолюцию — потопить гаринские пароходы и по-

весить команды на фонарных столбах. Полисмены едва сдерживали толпы.

В то же время портовые власти производили расследование. Все бумаги на пяти кораблях оказались в порядке, сами суда не подлежали секвестру, так как владельцем их была известная голландская транспортная компания. Все же власти требовали запрещения торговли брусками, возбуждающим население. Но ни один из чиновников не устоял, когда в карманы брюк ему опустили по два бруска. На зуб, на цвет, на вес — это было самое настоящее золото, хоть тресни. Вопрос о торговле оставили открытым, временно замяли.

В тридцать две редакции ежедневных газет какие-то неразговорчивые моряки втащили по мешку с загадочными брусками. Сказали только: «В подарок». Редакторы возмущались. В тридцати двух редакциях стоял страшный крик. Вызвали ювелиров. Предлагались кровавые меры против наглости Пьера Гарни. Но бруски неизвестно куда исчезли из редакций тридцати двух газет.

За ночь по городу были разбросаны золотые бруски прямо на тротуарах. К девяти часам в парикмахерских и табачных лавках вывесили объявление: «Здесь продается червонное золото по два с половиной доллара за кило».

Население дрогнуло.

Хуже всего было то, что никто не понимал, для чего продают золото по два с половиной доллара за килограмм. Но не купить — значило остаться в дураках. В городе начались давка и безобразие. Многолюдная толпа стояла в гавани перед кораблями и кричала: «Бруски, бруски, бруски!» Золото продавали прямо на сходящих. В этот день остановились трамваи и подземная дорога. В конторах и казенных учреждениях стоял хаос: чиновники, вместо того чтобы заниматься делами, бегали по табачным лавкам, прося продать брусочек. Склады и магазины не торговали, приказчики разбегались, воры и взломщики хозяйничали по городу.

Прошел слух, будто золото привезено для продажи в ограничении количестве и больше кораблей с брусками не будет.

На третий день во всех концах Америки началась золотая лихорадка. Тихоокеанские линии железных дорог повезли на запад взволнованных, недоумевающих, сомневающихся, изумленных искателей счастья. Поезда брались с бою. Была величайшая растерянность в этой воле человеческой глупости.

С опозданием, как всегда это бывает, из Вашингтона пришло правительственное распоряжение: «Заградить полнейшими войсками доступ к судам, груженным так называемым золотом, командиров и команды арестовать, суда опечатать». Приказ был исполнен.

Разъяренные толпы людей, прибывшие за счастьем с других концов страны, побросавшие дела, службу, чтобы заполнить раскаленные солнцем набережные Сан-Франциско, где все съестное было уничтожено, как сарайной, — одичавшие люди эти прорвали цепь

полнsmenов, дрались, как, бешеные, револьверами, ножами, зубами, побросали большое количество полнsmenов в заливы, установили команды гаринских пароходов и основательно вооруженную очередь за золотом.

Пришли еще три парохода с Золотого острова. Они стали выгружать связки брусков краями прямо на набережную, валили их в штабеля. В этом был какой-то нестерпимый ужас. Люди дрожали, глядя из очередей на сокровища, сверкающие прямо из мостовой.

В это время агенты Гарина окончили установку в больших городах уличных громкоговорителей. В субботний день, когда население городов, окончив службу и работу, наполнило улицы, раздался по всей Америке громкий, с варварским акцентом, но необычайно уверенный голос:

«Американы! С вами говорит инженер Гарни, тот, кто объявлен вие закона, кем пугают детей. Американы, я совершил много преступлений, но все они вели меня к одной цели: счастью человечества. Я присвоил клочок земли, ничтожный островок, чтобы на нем довести до конца грандиозное и небывалое предприятие. Я решил проникнуть в недра земли к драгоценным залегам золота. На глубине восьми километров шахта вошла в мощный слой княщего золота. Американы, каждый торгует тем, что у него есть. Я предлагаю вам свой товар — золото. Я наживаю на нем десять центов на доллар, при цене два с половиной доллара за килограмм. Это скромно. Но почему мне запрещают продавать мой товар? Где ваша свобода торговли? Ваше правительство попирает священные основы свободы и прогресса. Я готов возместить военные издержки. Я возвращаю государству, компаниям и частным людям все деньги, которые «Аризона» реквизировала на судах и баиках в порядке обычаев военного времени. Я прошу только одного — дайте мне свободу торговать золотом. Ваше правительство запрещает мне это, накладывает арест на мои корабли. Я отдаюсь под защиту всего населения Соединенных Штатов».

Громкоговорители были уничтожены полнsmenами в ту же ночь. Правительство обратилось к благоразумию населения:

«...Пусть верно то, о чем сообщил пресловутый бандит, выходец из Советской России, инженер Гарни. Но тем скорее нужно засыпать шахту на Золотом острове, уничтожить самую возможность иметь неисчерпаемые запасы золота. Что будет с эквивалентом труда, счастья, жизни, если золото начнут копать, как глину? Человечество неминуемо вернется к первобытным временам, к меновой торговле, к дикости и хаосу. Погибнет вся экономическая система, умрут промышленность и торговля. Людям незачем будет напрягать высшие силы своего духа. Умрут большие города. Зарастут травой железнодорожные пути. Погаснет свет в кинематографах и лука-парках. Человек снова кремневым копьём будет добывать себе пропитание. Инженер Гарни — величайший провокатор, слуга дьявола. Его задача — девальвировать доллар. Но этого он не добьется...»

Правительство нарисовало жалкую картину уничтожения золотого паритета. Но благо-разумных нашлось мало. Безумие охватило всю страну. По примеру Сан-Франциско в городах останавливалась жизнь. Поезда и миллионы автомобилей мчались на запад. Чем ближе к Тихому океану, тем дороже становились продукты питания. Их не на чем было подвозить. Голодные искатели счастья разбивали съестные лавки. Фунт ветчины поднялся до ста долларов. В Сан-Франциско люди умирали на улицах. От голода, жажды, палящего зноя сходили с ума.

На узловых станциях, на путях валялись трупы убитых при штурме поездов. По дорогам, проселкам, через горы, леса, равнины брели — обратно на восток — кучки счастливых, таща на спинах мешки с золотыми брусками. Отставших убивали местные жители и шайки бандитов.

Начиналась охота за золотоошамн, и на них нападали даже с аэропланов.

Правительство пошло, наконец, на крайние меры. Палата вотировала закон о всеобщей мобилизации возрастов от семнадцати до сорока пяти лет, уклоняющиеся подлежали военно-полевому суду. В Нью-Йорке в кварталах бедноты расстреляли несколько сот человек. На вокзалах появились вооруженные солдаты. Кое-кого хватили, стаскивали с площадок вагонов, стреляли в воздух и в людей. Но поезда отходили переполненными. Железные дороги, принадлежавшие частным компаниям, находили более выгодным не обращать внимания на распоряжение правительства.

В Сан-Франциско прибыли еще пять пароходов Гарина, и на открытом рейде, в виду всего залива, стала на якорь красавица «Аризона» — «гроза морей». Под защитой ее двух гиперболоидов корабли разгружали золото.

Вот при каких условиях наступил день открытия Вашингтонской конференции. Месяц тому назад Америка владела половиной всего золота на земном шаре. Теперь, что ни говори, золотой фонд Америки расценивался дешевле ровно в двести пятьдесят раз. С трудом, с чудовищными потерями, пролив много крови, это еще можно было как-нибудь пережить. Но вдруг сумасшедшему негодяю, Гарину, вздумается продавать золото по доллару за килограмм или по десяти центов. Старые сенаторы и члены палаты ходили с белыми от ужаса глазами по кулуарам. Промышленные и финансовые короли разводили руками:

«Это мировая катастрофа, — хуже, чем столкновение с кометой».

«Кто такой инженер Гарни? — спрашивали. — Что ему в сущности нужно? Разорить страну? Глупо. Непонятно... Чего он добивается? Хочет быть диктатором? Пожалуйста, если ты самый богатый человек на свете. В конце концов, нам и самим этот демократический строй надоел хуже маргарина... В стране безобразие, разбой, беспорядок, чепуха, — право, уж лучше пусть правит страной диктатор, вождь с волчьей хваткой».

Когда стало известно, что на заседании будет сам Гарин, публики в конференц-зале на-

бралось столько, что висели на колоннах, на окнах. Появился президиум. Сели. Молчали. Ждали. Наконец председатель открыл рот, и все, кто был в зале, повернулись к высокой белой с золотом двери. Она раскрылась. Вошел небольшого роста человек, необычайно бледный, с острой темной бородкой, с темными глазами, обведенными тенью. Он был в сером обыкновенном пиджаке, красный галстук — бабочкой, башмаки коричневые, и толстой подошве, в левой руке новые перчатки.

Он остановился, глубоко втянул воздух сквозь изюдры. Коротко кивнул головой и уже бойко пошел по ступенькам трибуны. Вытащился. Бородка его стала торчком. Отодвинул к краю графин с водой. (Во всей зале было слышно, как бульнула вода, — так было тихо.) Высоким голосом, с варварским произношением, он сказал:

— Джентльмены... Я — Гарин... Я принес миру золото...

Весь зал обрушился аплодисментами. Все, как один человек, поднялись и одной глоткой крикнули:

— Да здравствует мистер Гарин!.. Да здравствует диктатор!..

За окнами миллионная толпа редела, тощая в такт подошвам:

— Бруски!.. Бруски!.. Бруски!..

119

«Аризона» только что вернулась в гавань Золотого острова. Яисен докладывал мадам Ламоль о положении вещей на континенте. Зоя была еще в постели, среди кружевных подушек (малый утренний прием). Полутемную спальню наполнял острый запах цветов, идущий из сада. Над правой рукой ее работала маникюрша. В другой она держала зеркала и, разговаривая, недовольно поглядывала на себя.

— Но, мой друг, Гарин сходит с ума, — сказала она Яисеу, — он обесценивает золото... Он хочет быть диктатором нищих.

Яисен искося поглядывал на великолепие только что отделанной спальни. Ответил, держа на коленях фуражку:

— Гарин сказал мне при свидании, чтобы вы не тревожились, мадам Ламоль. Он ни на шаг не отступает от задуманной программы. Повалив золото, он выиграл сражение. На будущей неделе сенат объявит его диктатором. Тогда он поднимет цену золота.

— Каким образом? Мы понимаем.

— Издаст закон о запрещении ввоза и продажи золота. Через месяц оно поднимется до прежней цены. Продаю не так уж много. Больше было шума.

— А шахта?

— Шахта будет уничтожена.

Мадам Ламоль нахмурилась. Закурила:

— Ничего не понимаю.

— Необходимо, чтобы количество золота было ограничено, иначе оно потеряет запах человеческого пота. Разумеется, перед тем как уничтожить шахту, будет извлечен запас с таким расчетом, чтобы за Гариним было обес-

печено свыше пятидесяти процентов мирового количества золота. Таким образом, паритет если и упадет, то на несколько центов за доллар.

— Превосходно... но сколько же они ассигнуют на мой двор, на мой фантазин? Мне нужно ужасно много.

— Гарин просил вас составить смету. В порядке законодательства вам будет отпущено столько, сколько вы потребуете...

— Но разве я знаю, сколько мне нужно?.. Как это все глупо!.. Во-первых, на месте рабочего поселка, мастерских, складов будут построены театры, отели, цирки. Это будет город чудес... Мосты, как на старинных китайских рисунках, соединят остров с мелями и рифами. Там я построю купальни, павильоны для игр, гавани для яхт и воздушных кораблей. На юге острова будет огромное здание, видное за много миль: «Дом, где почует гений». Я ограблю все музеи Европы. Я соберу все, что было создано человечеством. Милый мой, у меня голова трещит от всех этих планов. Я и во сне вижу какие-то мраморные, лестницы, уходящие к облакам, праздники, карнавалы...

Янсен вытянулся на золоченом стульчике:

— Мадам Ламоль...

— Подождите, — нетерпеливо перебила она, — через три недели сюда приезжает мой двор. Весь этот сброд нужно кормить, развлекать и приводить в порядок. Я хочу пригласить из Европы двух-трех настоящих королей и дюжину принцев крови. Мы привезем папу из Рима на дирижабле. Я хочу быть поманной и коронованной по всем правилам, чтобы перестали сочинять обо мне удичные фокстроты...

— Мадам Ламоль, — сказал Янсен умоляюще, — я не видал вас целый месяц. Покуда вы еще свободны. Пойдемте в море. «Аризон» отделана заново. Мне хотелось бы снова стоять с вами на мостике под звездами.

Зоя взглянула на него, лицо ее стало нежным. Усмехаясь, протянула руку. Он прижался к ней губами и долго оставался склоненным.

— Не знаю, Янсен, не знаю, — проговорила она, касаясь другой рукой его затылка, — иногда мне начинает казаться, что счастье — только в погоне за счастьем... И еще — в воспоминаниях... Но это в минуты усталости... Когда-нибудь я вернусь к вам, Янсен... Я знаю, вы будете ждать меня? терпеливо. Вспомните... Средиземное море, лазурный день, когда я посвятила вас в командиры ордена «Божественной Зоны»... (Она засмеялась и сжала пальцами его затылок.) А если не вернусь, Янсен, то мечта и тоска по мне — разве это не счастье? Ах, друг мой, никто не знает, что Золотой остров — это сон, приснившийся мне однажды в Средиземном море, — я дремала на палубе и увидела выходящие из моря лестницы и дворцы, дворцы — один над другим — уступами, один другого прекраснее... И множество красных людей, монахов людей, монахов, понимаете. Нет, я не успокоюсь, пока не построю приснившийся мне город. Знаю, верный друг мой, вы предлагаете мне себя, капитанский мостик и морскую пустыню

взамен моего сумасшедшего бреда. Вы не знаете женщин. Янсен... Мы легкомысленны, мы расточительны... Я вышвырнула, как грязные перчатки, миллиарды Роллинга, потому что все равно они не спасли бы меня от старости, от увядания... Я побежала за нищим Гарином. У меня закружилась голова от сумасшедшей мечты. Но любила я его одну только ночь... С той ночи я не могу больше любить, как вы этого хотите. Милый, милый Янсен, что же мне делать с собой?.. Я должна лететь в эту головокружительную фантазию, пока не останутся сердце... (Он поднялся со стула, она вдруг ухватилась за его руку.) Я знаю — один человек на свете любит меня. Вы, вы, Янсен. Разве я могу поручиться, что вдруг не прибегу к вам, скажу: «Янсен, спасите меня от меня самой...»

120

В белом домике на берегу уединенной бухты Золотого острова всю ночь шли горячие споры. Шельга прочел наспех набросанное им воззвание:

«Трудящиеся всего мира! Вам известны размеры и последствия паники, охватившей Соединенные Штаты, когда в гавань Сан-Франциско вошли корабли Гарина, груженные золотом.

Капитализм зашатался: золото обесценивается, все валюты летят кувырком, капиталистам нечем платить своим наемникам — полиции, карательным войскам, провокаторам и продажным народным трибунам. Во весь рост поднялся призрак пролетарской революции.

Но инженер Гарин, нанесший такой удар капитализму, меньше всего хочет, чтобы последствием его авантюры была революция.

Гарин идет к власти. Гарин ломает на своем пути сопротивление капиталистов, еще недостаточно ясно понявших, что Гарин — новое орудие борьбы с пролетарской революцией.

Гарин очень скоро договорится с крупнейшими из капиталистов.

Они объявят его диктатором и вождем. Они присвоят себе половину мирового золота и тогда прикажут засыпать шахту на Золотом острове, чтобы количество золота было ограничено.

Он вместе с шайкой крупнейших капиталистов ограбит все человечество и людей превратит в рабов.

Трудящиеся всего мира! Час решительной борьбы настал. Об этом объявляет Революционный комитет Золотого острова. Он объявляет, что Золотой остров вместе с шахтой и всеми гиперболами переходит в распоряжение вставших всего мира. Ненасильственно запасы золота отныне в руках трудящихся.

Гарин со своей шайкой будет жестоко замищаться. Чем скорее мы перейдем в наступление, тем вернее наша победа.

Не все члены Революционного комитета одобрили это воззвание, — часть из них колебалась, испуганная смелостью: удается ли так быстро поднять рабочих? Удается ли достать

оружие? У капиталистов и флот, и могучие армии, и полиция, вооруженная боевыми газами и пулеметами... Не лучше ли выждать или уж в крайней мере начать со всеобщей забастовки?..

Шельга, сдерживая бешенство, говорил колеблющимся:

— Революция — это высшая стратегия. А стратегия — наука побеждать. Побеждает тот, кто берет инициативу в свои руки, кто смел. Спокойно взвешивать вы будете потом, когда после победы вздумаете писать для будущих поколений историю нашей победы... Поднять восстание нам удастся, если мы напряжем все силы. Оружие мы достанем в бою. Победа обеспечена потому, что победить хочет все трудящееся человечество, а мы — его передовой отряд. Так говорят большевики. А большевики не знают поражений.

При этих его словах рослый парень с голубыми глазами — шахтер, молчаливый во все время спора, вынул изо рта трубку.

— Баста! — сказал он густым голосом. — Довольно болтовни. За дело, ребята!..

121

Седой рослый камердинер, в ливрейном фраке и в чулках, беззвучно вошел в опочивальню, поставил чашку шоколаду и бисквиты на ночной столик и с тихим шелестом раздвинул шторы на окнах. Гарин раскрыл глаза:

— Папиросу..

От этой русской привычки — курить наташак — он не мог отделаться, хотя и знал, что американское высшее общество, интересующееся каждым его шагом, движением, словом, видит в курении наташак некоторый признак безразличности.

В ежедневных фельетонах вся американская пресса совершенно обелила прошлое Петра Гарина. Если ему в прошлом приходилось пить вино, то только по принуждению, а на самом деле он был враг алкоголя; отношения его к мадам Ламоль были чисто братские, основанные на духовном общении; оказалось даже, что любимым занятием его и мадам Ламоль в часы отдыха было чтение вслух любимых глав из Библии; некоторые его резкие поступки (история в Вилль Давре, взрыв химических заводов, потопление американской эскадры и др.) объяснялись один — роковой случайностью, другие — неосторожным обращением с гиперболоидом, во всяком случае, великий человек искренне и глубоко в них раскаивается и готовится вступить в лоно церкви, чтобы окончательно смыть с себя невольные грехи (между протестантской и католической церквями уже началась борьба за Петра Гарина), и, наконец, ему приписывали увлечение с детства, по крайней мере, десятилетиями спорта.

Выкурив толстую папиросу, Гарин покоился на шоколаде. Будь это в прежние времена, когда его считали негодяем и разбойником, он спросил бы содовой и коньяку, чтобы хорошенько вздернуть нервы, но пить диктатору

полумира с утра коньяк! Такая безразличность отшатнула бы всю солидную буржуазию, сплотившуюся, как наполеоновская гвардия, вокруг его трона.

Моршась, он хлебнул шоколаду. Камердинер, с торжественной грустью стоявший у дверей, спросил вполголоса.

— Господин диктатор разрешит войти личному секретарю?

Гарин лениво сел на кровати, натянул шелковую пижаму:

— Просите.

Вошел секретарь, достойно три раза — у дверей, посреди комнаты и близ кровати — поклонился диктатору. Пожелал доброго утра. Чуть-чуть покосился на стул.

— Садитесь, — сказал Гарин, зевнув так, что щелкнули зубы.

Личный секретарь сел. Это был одетый во все темное, средних лет костлявый мужчина с морщинистым лбом и провалившимися щеками. Веки его глаз были всегда полуопущены. Он считался самым элегантным человеком в Новом Свете и, как думал Петр Петрович, был приставлен к нему крупными финансистами в виде шпиона.

— Что нового? — спросил Гарин. — Как золотой курсы?

— Поднимается.

— Тутовато все-таки. А?

Секретарь меланхолично поднял веки:

— Да, вяло. Все еще вяло.

— Мерзавцы!

Гарин сунул босые ноги в парчовые туфли и зашагал по белому ковру опочивальни:

— Мерзавцы, сукины дети, ослы!

Неволью левая рука его полезла за спину, большим пальцем правой он зацепился за связки пижамовых штанов и так шагал с упавшей на лоб прядью волос. Видимо, и секретарю эта минута казалась исторической: он вытянулся на стуле, вытянул шею из крахмального воротника, — казалось, прислушивался к шагам истории.

— Мерзавцы! — последний раз повторил Гарин. — Медленность поднятия курса я принимаю как недоверие ко мне. Мне! Вы понимаете? Я издам декрет о запрещении вольной продажи золотых брусков под страхом смертной казни... Пишите.

Он остановился и, строго глядя на пыширозовый зад Авроры, летящей среди облаков и амуров на потолке, начал диктовать:

«От сего числа постановлением сената...»

Покончив с этим делом, он выкурив вторую папиросу. Бросил окурок в недопиту чашку шоколада. Спросил:

— Еще что нового? Покушений на мою жизнь не обнаружено?

Длинными пальцами с длинными отполированными ногтями секретарь взял из портфеля листочек, про себя прочел его, перевернул, опять перевернул:

— Вчера вечером и сегодня в половине седьмого утра полицией раскрыты два новых покушения на вас, сэр.

— Ага! Очень хорошо. Обнаружено в пе-

чати. Кто же это такие? Надеюсь, толпа сама расправилась с негодяями? Что?

— Вчера вечером в парке перед дворцом был обнаружен молодой человек, с виду рабочий, в карманах его найдены две железные гайки, каждая весом в пятьсот граммов. К сожалению, было уже поздно, парк малолюден, и только несколькими прохожими, узнавшими, что покушаются на жизнь обожаемого диктатора, удалось ударить несколько раз негодяя. Он задержан.

— Эти прохожие были все же частные лица или агенты?

У секретаря затрепетали веки, он чуть-чуть усмехнулся уголком рта — единственной во всей Северной Америке, неподражаемой улыбкой:

— Разумеется, сэр, это были частные лица, честные торговцы, преданные вам, сэр.

— Узнать имена торговцев, — продиктовал Гаррин, — в печати выразить им мою горячую признательность. Покушавшегося судить по всей строгости законов. После осуждения я его помню.

— Второе покушение произошло также в парке, — продолжал секретарь. — Была обнаружена дама, смотревшая на окна вашей опочивальни, сэр. При даме найден небольшой револьвер.

— Молоденькая?

— Пятнадцать трех лет. Девница.

— И что же толпа?

— Толпа ограничилась тем, что сорвала с нее шляпу, изломала зонтик и растоптала сумочку. Такой сравнительно слабый энтузиазм объясняется ранним часом утра и жалким видом самой дамы, немедленно упавшей в обморок при виде разъяренной толпы.

— Выдать старой вороне заграничный паспорт и немедленно вывезти за пределы Соединенных Штатов. В печати говорить глухо об этом инциденте. Что еще?

Без пяти девять Гаррин взял душ, после чего отдал себя в работу парикмахеру и его четирым помощникам. Он сел в особое, вроде зубо-врачебного, кресло, покрытое льняной простыней, перед тройным зеркалом. Одновременно лицо его было подвергнуто паровой ванне, над ногтями обеих рук заперхали пилочками, ножничками, замшевыми подушечками две блондинки, над ногтями ног — две искуснейшие мулатки. Волосы на голове освещены в нескольких туалетных водах и эссенциях, тронуты щипцами и причесаны так, что стало незаметно плешн. Бладобрей, получивший титул баронета за удивительное искусство, побрил Петра Петровича, надурил и надушил лицо и голову различными духами: шею — запахом роз, за ушами — шипром, виски — букетом Верне, около губ — веткой яблон (греб эпл), бородку — тончайшими духами «Сумерки».

После всех этих манипуляций диктатора можно было обернуть шелковой бумагой, положить в футляр и послать на выставку. Гаррин с трудом дотерпел до конца, он подвергался этим манипуляциям каждое утро, и в

газетах писали о его «четверти часа после ванны». Делать было нечего.

Затем он проследовал в гардеробную, где его ожидали два лакея и дашевный камердинер с носками, рубашками, башмаками и прочим. На сегодня он выбрал коричневый костюм с искоркой. Сволочи-репортеры писали, что одним из удивительнейших талантов диктатора было умение выбрать галстук. Приходилось подниматься и держать ухо востро. Гаррин выбрал галстук расцветки павлиньего пера. Ругаясь вполголоса по-русски, сам завязал его.

Следуя в столовую, отделанную в средневековом вкусе, Гаррин подумал:

«Так долго не выдержать, вот черт, навязал режим».

За завтраком (опять-таки ни капли алкоголя) диктатор должен был просматривать корреспонденцию. На севском подносе лежали сотни три писем. Жужа копченую поджаренную рыбу, безвкусную ветчину и овсяную кашу, варенную на воде без соли (утренняя пища спортсменов и нравственных людей), Гаррин брал наугад хрустящие конверты. Распечатывал грязной вилкой, мелком прочтывал:

«Мое сердце бьется, от волнения моя рука едва выводит эти строки... Что вы подумаете обо мне? Боже! Я вас люблю. Я полюбила вас с той минуты, когда увидела в газете (наименование) ваш портрет. Я молода. Я дочь достойных родителей. Я полна энтузиазма стать женой и матерью...»

Обычно прилагалась фотографическая карточка. Все это были любовные письма со всех концов Америки. От фотографий (за месяц их накопилось несколько десятков тысяч) этих мордашек, с пышными волосами, невинными глазами и глупыми носками становилось ужасно, смертельно скучно. Прodelать головокружительный путь от Крестовского острова до Вашингтона, от неопленной комнаты в уединенном доме на Петроградской, где Гаррин ходил из угла в угол, сжимая руку и разыскивая почти несуществующую лезучку спасения (бегство на «Бибигонде»), до золотого председательского кресла в сенате, куда он через двадцать минут должен ехать... Ужаснуть мир, овладеть подземным океаном золота, добиться власти мировой — все только затем, чтобы попасть в ловушку филлистерской скучнейшей жизни.

— Тыфу ты, черт!

Гаррин швырнул салфетку, забарабанил пальцами. Ничего не придумаешь. Добиваться нечего. Дошел до самого верха. Диктатор. Потребовать разве императорского титула? Тогда уж совсем замучают. Удрать? Куда? И зачем? К Зое? Ах, Зоя! С ней порвалось что-то самое главное, что возникло в сырую, теплую ночь в старенькой гостинице в Вилль Давре. Тогда, под шелест листьев за окном, среди мучительных ласк, зародилась вся фантастика гарринской авантюры. Тогда был восторг наступающей борьбы. Тогда легко было сказать, — брошу к твоим ногам мир... И вот Гаррин — победитель. Мир — у ног. Но Зоя — дале-

кая, чужая, мадам Ламоль, королева Золото-го острова. У кого-то другого кружится голова от запаха ее волос, от пристального взгляда ее холодных, мечтательных глаз. А он, Гарин, повелитель мира, кушает кашу без соли, рассматривает, зевая, глупые физиономии на карточках. Фантастический сон, приснившийся в Вилле Давре, отлетел от него... Издавая декреты, выламываясь под великого человека, будь приличным во всех отношениях... Вот черт!.. Хорошо бы потребовать коньяку...

Он обернулся к лакеям, стоящим, как чучела в паноптикуме, в отдалении у дверей. Сейчас же двое выступили вперед, один склонился вопросительно, другой проговорил беспольным голосом:

— Автомобиль господина диктатора подан.

В сенат диктатор вошел, нагло ступая каблуками. Сев в золоченое кресло, проговорил металлическим голосом формулу открытия заседания. Брови его были сдвинуты, лицо выражало энергию и решимость. Десятки аппаратов фотографировали и киносняли его в эту минуту. Сотни прекрасных женщин в лужах для публики отдался ему энтузиастическим взглядам.

Сенат имел честь поднести ему на сегодня титулы: лорда Нижне-Уэльского, герцога Неаполитанского, графа Шарлеруа, барона Мюльгаузен и императора Всероссийского. От Североамериканских Соединенных Штатов, где, к сожалению, как в стране демократической, титулов не полагалось, поднесл звание «Бизмен оф готт», что, в переводе на русский язык, значило: «Купчина божьей милостью».

Гарин благодарил. Он с удовольствием плюнул бы на эти жирные лысины и уважаемые плечи, сидящие перед ним амфитеатром в двухсветном зале. Но он понимал, что не плюнет, но сейчас встанет и поблагодарит.

«Подождите, сволочи, — думал он, стоя (бледный, маленький, с острой бородкой) перед аплодирующим ему амфитеатром, — поднесу я вам проект о чистоте расового отбора и первой тысячи...» Но не сам чувствовал, что опутан по рукам и ногам, и в звании лорда, герцога, графа, божьего купчины он ничего такого решительного не поднесет... А на банкет сейчас поедет из зала сената...

На улице автомобиль диктатора приветствовал криками. Но присмиреться — кричали все какие-то рослые ребята, похожие на переодетых полицейских, — Гарин раскланивался и помахивал рукой, заткнутой в лимонную перчатку. Эх, не родился он в России, не переживи он революции, наверное, переезд по городу среди ликующего народа, выражающего криками «гип, гип» и бросанием бутоньерок свои верноподданнейшие чувства, доставил бы ему живейшее удовольствие. Но Гарин был отравленным человеком. Он злился: «Дешевка, дешевка, заткните глотки, скоты, радоваться нечему». Он вылез из машины у подъезда городской думы, где десятки женских рук (до-

черей керосиновых, железнодорожных, консервных и прочих королей) осыпали его цветами.

Избегая по лестнице, он посылал воздушные поцелуйчики направо и налево. В зале грянула музыка в честь божьего купчины. Он сел, и сел все. Белоснежный стол в виде буквы «П» пестрел цветами, сверкал хрусталем. У каждого прибора лежало по одиннадцати серебряных ножей и одиннадцати вилок различных размеров (не считая ложек, ложечек, пинцетов для омаров и щипчиков для спагетти). Нужно было не ошибиться — каким ножом и вилкой что есть.

Гарин скрипнул зубами от злости: аристократы, подумаетесь, — из двухсот человек за столом три четверти торговали селедками на улице, а теперь иначе как при помощи одиннадцати вилок им непринично кушать! Но глаза были устремлены на диктатора, и он и на этот раз подчинился общественному давлению — держал себя за столом образцово.

После черепашкового супа начались речи. Гарин выслушивал их стоя, с бокалом шампанского. «Напысь!» — зыгзагом проносилось в голове. Напрасная попытка.

Двум своим соседкам, болтливым красавицам, он даже подтвердил, что действительно по вечерам читает Библию.

Между третьим, сладким, и кофе он ответил на речи:

«Господа, власть, которой вы меня облекли, я принимаю как перст божий, и священный долг моей совести повелевает употребить эту небывалую в истории власть на расширение наших рынков, на пышный расцвет нашей промышленности и торговли и на подавление безразличных попыток черни к ниспровержению существующего строя...» И так далее.

Речь произвела отрадное впечатление. Правда, по окончании ее диктатор прибавил, как бы про себя, три каких-то энергичных слова, но они были сказаны на непонятном, видимо русском, языке и прошли незамеченными. Затем Гарин поклонился на три стороны и вышел, сопровождаемый воем труб, грохотом литавр и радостными восклицаниями. Он поехал домой.

В вестибюле дворца швырнул на пол трость и шляпу (панника среди кинувшихся поднимать лакеев), глубоко засунул руки в карманы штанов и, зло задрав бородку, поднялся по пышному ковру. В кабинете его ожидал личный секретарь.

— В семь часов вечера в клубе «Пасифик» в честь господина диктатора состоится ужин, сопровождаемый симфоническим оркестром.

— Так, — сказал Гарин. (Опять прибавил три непонятных слова по-русски.) — Еще что?

— В одиннадцать часов сегодня же в белой зале отеля «Индиана» состоится бал в честь...

— Телефонуйте туда и туда, что я заболел, объявись в городской ратуше крабами.

— Осмелюсь выразить опасение, что хлопот будет больше от мнимой болезни: к вам немедленно придет весь город выражать соболезнование. Кроме того — газетные хроникеры. Они будут пытаться проникнуть даже через каминные трубы...

— Вы правы. Я еду. — Гарин позвонил. — Ваниу. Приготовить вечернее платье, регалии и орден. — Некоторое время он ходил, вернее — бегал по ковру. — Еще что?

— В приемной несколько дам ожидают аудиенции.

— Не принимаю.

— Они ждут с полудня.

— Не желаю. Отказать.

— С ними слишком трудно бороться. Осмелюсь заметить: это дамы высшего общества. Три знаменитых писательницы, две кинозвезды, одна путешественница в автомобиле с мировым стажем и одна известная благотворительница.

— Хорошо... Просите... Все равно какую-нибудь...

Гарин сел к столу (налево — радиоприемник, направо — телефоны, прямо — труба диктофона). Придвинул чистую четвертушку бумаги, обмакнул перо и вдруг задумался.

«Зоя, — начал писать он по-русски твердым, крупным почерком, — друг мой, только вы одна в состоянии понять, какого я сыграл дурака...»

— Тс-с-с, — послышалось у него за спиной.

Гарин резко всем телом повернулся в кресле. Секретарь уже ускользнул в боковую дверь, — посреди кабинета стояла дама в светло-зеленом. Она слабо вскрикнула, стискивая руки. На лице изобразилось именно то, что она стоит перед величайшим в истории человеком. Гарин секунду рассматривал ее. Пожал плечами.

— Раздавайте! — резко приказал он и повернулся в кресле, продолжая писать.

Без четверти восемь Гарин поспешно пошел к столу. Он был во фраке, со звездами, регалиями и лентой поверх жилета. Раздавались резкие сигналы радиоприемника, всегда настроенного на волну станции Золотого острова. Гарин надел наушники. Голос Зон, явственный, но неживой, точно с другой планеты, повторял по-русски:

— Гарин, мы погибли... Гарин, мы погибли... На острове восстание. Большой гиперболюид захвачен... Яansen со мной... Если удастся, — бежим на «Аризона».

Голос прервался. Гарин стоял у стола, не снимая наушников. Личный секретарь, в цилиндре и тростью Гариана, ждал у дверей. И вот приемник снова начал подавать сигналы. Но другой уже голос, мужской, резкий, загворил по-английски:

«Трудящиеся всего мира. Вам известны размеры и последствия паники, охватившей Соединенные Штаты...»

Дослушав до конца воззвание Шельга, Гарин снял наушники. Не спеша, с кривой ус-

мешкой закурил сигару. Из ящиков стола вынул пачку сто долларовых бумажек и никелированный аппарат в виде револьвера с толстым дулом: это было его последнее изобретение — карманный гиперболюид. Взмахом бровей поздравил личного секретаря:

— Распорядитесь немедленно приготовить дорожную машину.

У секретаря первый раз за все время поднялись веки, рыжие глаза колюче взглянули на Гариана:

— Но, господин диктатор...

— Молчать! Немедленно передать начальнику войск, губернатору города и гражданским властям, что с семи часов вводится военное положение. Единственная мера пресечения беспорядка в городе — расстрел.

Секретарь мгновенно исчез за дверью.

Гарин подошел к трюмному зеркалу. Он был в регалиях и звездах, бледный, похожий на восковую куклу из паноптикума. Он долго глядел на себя, и вдруг один глаз его сам собою насмешливо подмигнул... «Уноси ноги, Пьер Гарри, уноси ноги поскорее, — проговорил он самому себе шепотом.

122

События на Золотом острове начались к вечеру двадцать третьего июня. Весь день бушевал океан. Грозовые тучи ползли с юго-запада. Трещало небо от огненных зыгзагов. Водяная пыль перелетала бешеным туманом через весь остров.

В конце дня гроза ушла, молнии полыхали далеко за краем океана, но ветер с неослабеваемой силой клонил к земле деревья, гнул стрелы высоких фонарей, рвал проволоки, уносил бесформенными полотнищами крыши с барakov и выли и свистал по всему острову с такой сатанинской злобой, что все живое попряталось по домам. В гавани скрипели корабли на причалах, несколько барок было сорвано с якорных цепей и унесено в океан. Как поллавок, одна в небольшой гавани, против дворца прыгала на волнах «Аризона».

Население острова сильно уменьшилось за последнее время. Работы в шахте были приостановлены. Грандиозные постройки мадам Ламоль еще не начинались. Из шести тысяч рабочих осталось около пятисот. Остальные покинули остров, нагруженные золотом. Огупевшие бараки рабочего поселка, Луна-парк, публичные дома сносили, землю выравнивали под будущую стройку.

Гвардейцам окончательно нечего было делать на этом мирном клочке земли. Прошло то время, когда желто-белые, как сторожевые псы, торчали с винтовками на скалах, шагали вдоль проволоки, многозначительно пощелкивая затворами. Гвардейцы начали спиваться. Тосковали по большим городам, шикарным ресторанам, веселым женщинам. Просились в отпуск, грозили бунтом. Но было строгое распоряжение Гариана: ни отпусков, ни увольне-

ний. Гвардейские казармы были под постоянным прицелом ствола большого гиперболюнда.

В казармах шла отчаянная игра. Расплачивались именными записками, так как золото, лежавшее штабелями около казарм, надоело всем хуже горькой редьки. Играли на любовники, на оружие, на обкуренные трубки, на бутылки старого коньяку или — на «раздва по морде». К вечеру обычно вся казарма напивалась вдребезги. Генерал Субботин едва уже мог поддерживать не то что дисциплину, — какое там, — просто приличия.

— Господа офицеры, стыдно, — гремел ежевечерне голос генерала Субботина в офицерской столовой, — опустились, господа офицеры, на полу наблеваю-с, воздух как в бардаке-с. В калесах извольте шеголять, штаны проиригали-с. Удручен, что имею несчастье командовать бандой сволочей-с.

Никакие меры воздействия не помогали. Но никогда еще не было такого пьянства, как в день шторма двадцать третьего июня. Завывающий ветер вогиал гвардейцев в дикую тоску, наваял давание воспоминания, заняли старые раны. Водяная пыль была дождем в окно. Ураганным огнем ухала и ахала небесная артиллерия. Дрожали стены, звенели стаканы на столах. Гвардейцы за длинными столами, положив на них локти, подпирая удалые головы, нечесанные, немые, пели вражескую песню: «Эх, яблочко, куда котисся...» И песня эта, черт знает из какой далекой жизни завезенная на затерянный среди волы островок, казалась шепоткой родной соли. Мотались в слезах пьяные головы. Генерал Субботин охрип, воздействуя, — послал всех к чертям свиньячим, напился сам.

Разведка Ревкома (в лице Ивана Гусева) доместа о тяжком положении противника в казармах. В седьмом часу вечера Шельга с пятью рослыми шахтерами подошел к гауптвахте (перед казармами) и начал ругаться с двумя подвыпившими часовыми, стоявшими у винтовок в козлах. Увлеченные русскими оборотами речи, часовые утратили бдительность, внезапно были сбиты с ног, обезоружены и связаны. Шельга овладел сотней винтовок. Их сейчас же роздали рабочим, подходоившим от фонаря к фонарю, прячась за деревьями и кустами, ползя через лужайки.

Сто человек ворвались в казармы. Начался чудовищный переполох, гвардейцы встретили наступающих бутылками и табуретами, отступили, организовались и открыли револьверный огонь. На лестнице, в коридорах, в дортуарах шел бой. Трезвые и пьяные дрались врукопашную. Из разбитых окон вырывались дикие вопли. Нападавших было мало, — одии на пятерых, — но они молотили, как цепями, мозольными кулачниками изнеженных желто-белых. Подбегали подкрепления. Гвардейцы начали выкидываться из окошек. В нескольких местах вспыхнул пожар, казармы заволокло дымом.

Яисен бежал по пустынным неосвещенным комнатам дворца. С грохотом и шипеньем обрушивался прибор на веранду. Свистал ветер, потрясая оконные рамы. Яисен звал мадам Ламоль, прислушивался в ужасающей тревоге.

Он побежал вниз, на половину Гарина, летел сажеными прыжками по лестницам. Внизу слышны были выстрелы, отдельные крики. Он выглянул во внутренний сад. Пусто, ни души. На противоположной стороне, под аркой, затянутой плющом, снаружи ломились в ворота. Как можно было так крепко спать, что только пуля, разбившая оконное стекло, разбудила Яисена. Мадам Ламоль бежала? Быть может, убита?

Он отворил какую-то дверь наугад. Вошел. Четыре голубоватых шара и пятый, висящий под мозаичным потолком, освещали столы, уставленные приборами, мраморные доски с измерителями, лакированные ящички и шкафчики с катодными лампами, провода динамо, письменный стол, заваленный чертежами. Это был кабинет Гарина. На ковре валялся скомятый платочек. Яисен схватил его, — он пахнул духами мадам Ламоль. Тогда он вспомнил, что из кабинета есть подземный ход к лифту большого гиперболюнда и где-то здесь должна быть потайная дверь. Мадам Ламоль, конечно, при первых же выстрелах кинулась на башню — как было не догадаться!

Он оглядывался, ища эту дверцу. Но вот послышался звон разбиваемых стекол, топот ног, за стеной начали перекликаться торопливые голоса. Во дворец ворвались. Так что же медлит мадам Ламоль? Он подскокил к двустворчатой резной двери и закрыл ее на ключ. Вынул револьвер. Казалось, весь дворец наполнился шагами, голосами, криками.

— Яисен!

Перед ним стояла мадам Ламоль. Ее побледневшие губы зашевелились, но он не слышал, что она сказала. Он глядел на нее, тяжело дыша.

— Мы погибли, Яисен, мы погибли! — повторила она.

На ней было черное платье. Руки, узкие и стиснутые, прижаты к груди. Глаза взволнованы, как синяя буря. Мадам Ламоль сказала:

— Лифт большого гиперболюнда не действует, лифт поднят на самый верх. На башне кто-то сидит. Они забрались снаружи по перекладинам... Я уверена; что это — мальчишка Гусев...

Хрустнув пальцами, она глядела на резную дверь. Брови ее сдвигались. За дверью бешено протопали десятки ног. Раздался дикий вопль. Возня. Торопливые выстрелы. Мадам Ламоль стремительно села к столу, включила рубильник; мягко завывло динамо, лилово засветились грушевидные лампы. Застучал ключ, посылая сигналы.

— Гарин, мы погибли... Гарин, мы погиб-

ли... — заговорила она, нагнувшись над сеткой микрофона.

Через минуту резная дверь затрещала под ударами кулаков и ног.

— Отворите дверь! Отворяй!.. — раздался голоса.

Мадам Ламоль схватила Янсена за руку, потащила к стене и ногой нажала на заветок резного украшения у самого пола. Штофная панель между двух полуколонн неслышно упала в глубину. Мадам Ламоль и Янсен проскользнули через потайное отверстие в подземный ход. Панель встала на прежнее место.

После грозы особенно ярко мерцали и горели звезды над взволнованным океаном. Ветер валил с ног. Высоко взлетал ройбой. Грохотали камни. Сквозь шум океана слышны были выстрелы. Мадам Ламоль и Янсен бежали, прячась за кустами и скалами, к северной бухте, где всегда стоял моторный катерок. Направо черной стеной поднимался дворец, налево — волны, светящиеся гряды пены и — далеко — огоньки танцующей «Аризона». Позади решетчатым силуэтом, уходящим в небо, рисовалась башня большого гиперболюнда. На самом верху ее был свет.

— Смотрите, — откнинувшись на бегу и махнув рукой в сторону башни, крикнула мадам Ламоль, — там свет! Это смерть!

Она спустилась по крутому откосу к бухте, закрытой от волн. Здесь у лестницы, ведущей на веранду дворца, у небольших бонов, болтался катерок. Она прыгнула в него, перебежала на корму и трясущимися руками включила стартер.

— Скорее, скорее, Янсен!

Катерок был ошвартован на цепь. Засунув в кольцо ствол револьвера, Янсен ломал замок. Наверху, на веранде, со звоном распахнулись двери, появились вооруженные люди. Янсен бросил револьвер и захватил цепь у корня. Мускулы его затрещали, шея вздулась, лопнул крючок на вороте куртки. Внезапно застрелял включенный мотор. Люди на террасе побежали вниз по лестнице, размахивая оружием, крича: «Стой, стой!»

Последним усилием Янсен вырвал цепь, далеко отпихнул пыхтящий катер на волны и на четвереньках побежал вдоль борта к рулю.

Описав крутую дугу, катер полетел к узкому выходу из бухты. Вдогонку сверкнули выстрелы.

— Трап, чертн солёные! — зорал Янсен на катере, пляшущем под бортом «Аризона». — Где старший помощник? Спит! Пове- шу!

— Здесь, здесь, капитан. Есть, капитан.

— Руби канаты! Включай моторы! Полный газ! Туши огни!

— Есть, есть, капитан.

Мадам Ламоль первая поднялась по штурмовому трапу. Перегнувшись через борт, она увидела, что Янсен силится встать, и падает как-то на бок, и судорожно ловит брошенный

конец. Волна покрыла его вместе с катером, и снова вынырнуло его отлепывающееся лицо, искаженное гримасой боли.

— Янсен, что с вами?

— Я ранен.

Четыре матроса спрыгнули в катерок, подхватили Янсена, подняли на борт. На палубе он упал, держась за бок, потерял сознание. Его отнесли в каюту.

Полным ходом, разрезая волны, зарываясь в водные пропасти, «Аризона» уходила от острова. Командовал старший помощник. Мадам Ламоль стояла рядом с ним на мостике, вцепившись в перила. С нее лила вода, платье облепало ее. Она глядела, как разгорается зарево (горелн казармы) и черный дым, проверченный огненными спиралями, застилает остров. Но вот она, видимо, что-то заметла, схватила командира за рукав:

— Поверните на юго-запад...

— Здесь рифы, мадам.

— Молчать, не ваше дело!.. Проходите, именя остров на левом борту.

Она побежала к решетчатой башенке гиперболюнда. Пелена воды, летя от носа по палубе, покрыла мадам Ламоль, сбита с ног. Матрос подхватил ее, мокрую и взбесившуюся от злости. Она вырвалась, вскарабкалась на башенку.

На острове, высоко над дымом пожара, сверкала ослепительная звезда, — это работал большой гиперболюнд, нащупывая «Аризону».

Мадам Ламоль решила драться, все равно никаким ходом не уйти от луча, хватающего с башни на много миль. Луч сначала метался по звездам, по горизонту, описывая в несколько секунд круг в четыреста километров. Но теперь он упорно нащупывал западный сектор океана, бежал по гребням волн, и след его обозначался густыми клубами пара.

«Аризона» шла полным ходом в семи милях вдоль острова. Зарываясь до мачт в шипящую воду, взлетала скорлупкой на волну, и тогда с кормовой башенки мадам Ламоль била ответным лучом по острову. Уже запылали на нем кое-где деревянные постройки. Сноп искр взносился высоко, будто раздуваемые гигантскими мехами. Зарево бросало отблески на весь черный, взволнованный океан. И вот, когда «Аризона» поднялась на гребень с острова увидели силуэт яхты, и жгуче-белая игла заплескала вокруг нее, ударяя сверху вниз, зигзагами, и удары, совсем близко, сближаясь, падали то перед кормой, то перед носом.

Зоя казалась, что ослепительная звезда колет ей прямо в глаза, и она сама старалась уткнуться стволом аппарата в эту звезду на далекой башне. Бешено гудели винты «Аризона», корма обнажилась, и судно начало уже клониться носом, соскальзывая с волны. В это время луч, нащупав прицел, взвился, затрещал, точно примериваясь, и, не колеблясь, стал падать на профиль яхты. Зоя закрыла глаза. Должно быть, у всех, кто на борту был свидетелем этой дуэли, остановилось сердце.

Когда Зоя открыла глаза, перед ней была стена воды, пропасть, куда соскользнула «Аризона». «Это еще не смерть», — подумала Зоя. Сняла руки с аппарата, и руки ее без сил повисли.

Когда снова начался подъем на волну, стало понятно, почему миновала смерть. Огромные тучи дыма покрывали весь остров и башню, — должно быть, взорвались нефтяные цистерны. За дымовой завесой «Аризона» могла спокойно утонуть.

Зоя не знала, удалось ли ей сбить большой гиперболюид, или только за дымом не стало видно звезды. Но не все ли теперь равно... Она с трудом спустилась с башенки. Придерживаясь за снасти, пробралась в каюту, где за синими занавесками тяжело дышал Янсен. Повалилась в кресло, зажгла восковую свечку, закурила.

«Аризона» уходила на северо-запад. Ветер ослаб, но океан все еще был неспокоен. По многу раз в день яхта посылала условные сигналы, пытаясь связаться с Гариним, и в сотнях тысяч радиоприемников по всему свету раздавался голос Зои: «Что делать, куда идти? Мы на такой-то широте и долготе. Ждем приказаний».

Океанские пароходы, перехватывая эти радио, спешили уйти подальше от страшного места, где снова обнаружилась «Аризона» — «гроза морей».

124

Облака горящей нефти окутывали Золотой остров. После урагана наступил штиль, и черный дым поднимался к безоблачному небу, бросая на воды океана огромную тень в несколько километров.

Остров казался вымершим, и только в стороне шахты, как всегда, не переставая, поскрипывали черпаки элеваторов.

Затем в тишине раздалась музыка: торжественный медленный марш. Сквозь дымовую мглу можно было видеть сотни две людей: они шли, поднимая головы, их лица были суровы и решительны. Впереди четверо несли на плечах что-то завернутое в красное знамя. Они взобрались на скалу, где возвышалась решетчатая башня большого гиперболюида, и у подножия ее опустили длинный сверток.

Это было тело Ивана Гусева. Он погиб вчера во время боя с «Аризоной». Взорвавшись, как кошка, снаружи по решетчатым креплениям башни, он включил большой гиперболюид, нащупал «Аризону» среди огромных волн.

Огненный шиур с «Аризоны» плясал по острову, поджигая постройки, срезывая фонарные столбы, деревья. «Гадюка», — шептал Иван, поворачивая дуло аппарата, и так же, как во время письменного урока, когда Тарашкин учил его грамоте, помогал себе языком.

Он поймал «Аризону» на фокус и бил лучом по воде перед кормой и перед носом, сближая угол. Мешали облака дыма от загоревшихся цистерн. Вдруг луч с «Аризоны» превратился в ослепительную звезду, и она, сверкая, ужалала Ивана в глаза. Пронзенный насквозь лучом, он упал на козлук большого гиперболюида...

— Спи спокойно, Ванюша, ты умер как герой, — сказал Шельга. Он опустился перед телом Ивана, отогнул край знамени и поцеловал мальчика в лоб.

Трубы заиграли, и голоса двухсот человек зазвучали «Интернационал».

Немного времени спустя из клубов черного дыма вылетел двухмоторный мощный аэроплан. Забирая высоту, он повернул на запад...

125

— Все ваши распоряжения исполнены, господин диктатор...

Гарин запер выходную дверь на ключ, пошел к плоскому книжному шкафу и справа от него провел рукой.

Секретарь сказал с усмешкой:

— Кнопка потайной двери с левой стороны, господин диктатор...

Гарин быстро, странно взглянул на него. Нажал кнопку, книжный шкаф бесшумно отодвинулся, открывая узкий проход в потайные комнаты дворца.

— Прошу, — сказал Гарин, предлагая секретарю пройти туда первым. Секретарь поблелел, Гарин с ледяной вежливостью поднял лучевой револьвер в уровень его лба. — и, наконец, подчиняться, господин секретарь...

126

Дверь из капитанской каюты была открыта настежь. На койке лежал Янсен.

Яхта едва двигалась. В тишине было слышно, как разбивалась о борт волна.

Желание Янсена сбилось, — он снова был в океане, один с мадам Ламоль. Он знал, что умирает. Несколько дней боролся за жизнь, — сквозная пулевая рана в живот, — и, наконец, затих. Глядел на звезды через открытую дверь, откуда лился воздух вечности. Не было ни желаний, ни страха, только важность перехода в покой.

Снаружи, повившись тенью на звездах, вошла мадам Ламоль. Наклонилась над ним. Спросила шепотом, как он себя чувствует. Он ответил движением век, и она поняла, что он хотел ей сказать: «Я счастлив, ты со мной». Когда у него несколько раз, захватывая воздух, судорожно поднималась грудь, Зоя села около койки и не двигалась. Должно быть, печальные мысли бродили в ее голове.

— Друг мой, друг мой единственный, — проговорила она с тихим отчаянием, — вы

один на свете любили меня. Одному вам я была дорога. Вас не будет... Какой холод, какой холод...

Янсен не отвечал, только движением века будто подтвердил о наступающем холоде. Она видела, что нос его обострился, рот сложен в слабую улыбку. Еще недавно его лицо горело жаровым румянцем, теперь было как восковое. Она подождала еще много минут, потом губами дотронулась до его руки. Но он еще не умер. Медленно приоткрыл глаза, разлепил губы. Зое показалось, что он сказал: «Хорошо...»

Потом лицо его изменилось. Она отвернулась и осторожно задернула синие шторы.

127

Секретарь — самый элегантный человек в Соединенных Штатах — лежал ничком, вдавившись застывшими пальцами в ковер: он умер мгновенно, без крика. Гарин, покусывая дрожащие губы, медленно засовывал в карман пиджака лучевой револьвер. Затем подошел к низенькой стальной двери. Набрал на медном диске одному ему известную комбинацию букв, — дверь раскрылась. Он вошел в железобетонную комнату без окон.

Это был личный сейф диктатора. Но вместо золота или бумаг здесь находилось нечто гораздо более ценное для Гарина: привезенный из Европы и снятая тайно содержавшийся на Золотом острове, затем — здесь — в потайных комнатах дворца, третий двойник Гарина — русский эмигрант, барон Корф, продавший себя за огромные деньги.

Он сидел в мягком кожаном кресле, задрал ноги на золоченый столик, где стояли в вазах фрукты и сладости (пить ему не разрешалось). На полу валялись книжки — английские уголовные романы. От скуки барон Корф плевал косточками вишен в круглый экран телевизионного аппарата, стоявшего в трех метрах от его кресла.

— Наконец-то, — сказал он, лениво обернувшись к вошедшему Гарину. — Куда вы, черт вас возьми, провалились?... Слушайте, долго вы еще намерены меня мариновать в этом погребке? Ей-богу, я предпочитаю голодать в Париже...

Вместо ответа Гарин содрал с себя ленту, сбросил фрак с орденами и регалиями.

— Раздевайтесь.

— Зачем? — спросил барон Корф с некоторым любопытством.

— Давайте ваше платье.

— В чем дело?

— И — паспорт, все бумаги... Где ваша бритва?

Гарин подсел к туалетному столику. Не намывая щеки, морща от боли, быстро сбрil усы и бороду.

— Между прочим, рядом в комнате лежит человек. Запомните — это ваш личный секретарь. Когда его хватятся, можете сказать, что

услал его с секретным поручением... Понятно вам?

— В чем дело, я спрашиваю? — зорал барон Корф, хватая на лету гаринские брюки.

— Я пройду отсюда потайным ходом в парк, к моей машине. Вы запрятаете секретаря в камин и пройдите в мой кабинет. Немедленно вызовете по телефону Роллинга. Надеюсь, вы хорошо запомнили весь механизм моей диктатуры? Я, затем мой первый заместитель — начальник секретной полиции, затем мой второй заместитель — начальник отдела пропаганды, затем мой третий заместитель — начальник отдела провокаций. Затем тайный совет трехсот, во главе стоит Роллинг. Если вы еще не совсем превратились в идиота, вы должны были все это вызубрить наизубок... Снимайте же брюки, черт вас возьми!.. Роллингу по телефону скажите, что вы, то есть Пьер Гарин, становитесь во главе войск и полиции. Вам придется серьезно драться, милейший...

— Позвольте, а если Роллинг угадает по голосу, что это не вы, а я...

— А! В конце концов им наплевать... Был бы диктатор...

— Позвольте, позвольте, — значит, с этой минуты я превращаюсь в Петра Петровича Гарина?

— Желаю успеха. Наслаждайтесь полной властью. Все инструкции на письменном столе... Я — исчезаю...

Гарин, так же, как давеча в зеркало, подмигнул своему двойнику и скрылся за дверью.

128

Едва только Гарин — один в закрытой машине — помчался через центральные улицы города, исчезло всякое сомнение: он вовремя унес ноги. Рабочие районы и предместья гудели сотысячными толпами... Кое-где уже плескались полотнища революционных знамен. Поперек улиц торопливо нагромождались баррикады из опрокинутых автобусов, мебели, выкидываемой в окошки, дверей, фонарных столбов, чугунных решеток.

Опытным глазом Гарин видел, что рабочие хорошо вооружены. На грузовиках, продвигавшихся сквозь толпы, развозили пулеметы, гранаты, винтовки... Несомненно, это была работа Шельги...

Несколько часов тому назад Гарин со всей уверенностью бросил бы войска на восставших. Но сейчас он лишь нервно нажимал педаль машины, несущейся среди проклятий и криков: «Долой диктатора! Долой совет трехсот!»

Гиперболонд был в руках Шельги. Об этом знали, об этом кричали восставшие. Шельга разыгрывает революцию, как дирижер — героическую симфонию.

Громкоговорители, установленные по приказу Гарина еще во время продажи золота, теперь работали против него — раз-

носил на весь мир вест о поголовном восстании.

Двойник Гарина, против всех ожиданий Петра Петровича, начал действовать решительно и даже не без успеха. Его отборные войска штурмовали баррикады. Полиция с аэропланов сбрасывала газовые бомбы. Конница рубила палашами людей на перекрестках. Особые бригады взламывали дверные замки, врываются в жилища рабочих, уничтожая все живое.

Но восставшие держались упорно. В других городах, в крупных фабричных центрах, они решительно переходили в наступление. К середине дня вся страна пылала восстанием...

Гарин выжимал из машины всю скорость ее шестнадцати цилиндров. Ураганом проносился по улице провинциальных городков, сбивал свиней, собак, давил кур. Иной прохожий не успевал выпучить глаза, как запыленная, черная огромная машина диктатора, уменьшаясь и ревя, скрывалась за поворотом...

Он останавливался только на несколько минут, чтобы набрать бензина, налить воды в радиатор... Мчался всю ночь.

Наутро власть диктатора еще не была свергнута. Столица пылала, зажженная термитными бомбами, на улицах валялось до пятидесяти тысяч трупов. «Вот тебе и барон!» — усмехнулся Гарин, когда на остановке громкоговоритель прохрипел эти вестии...

В пять часов следующего дня его машину обстреляли...

В семь часов, пролетая по какому-то городку, он видел революционные флаги и поющих людей...

Он мчался всю вторую ночь — на запад, к Тихому океану. На рассвете, наливая бензин, услышал, наконец, из черного горла громкоговорителя хорошо знакомый голос Шельги:

— Победа, победа... Товарищи, в моих руках — страшное орудие революции — гипер-болоид...

Скрипнув зубами, не дослушав, Гарин помчался дальше. В десять часов утра он увидел первый плакат сбоку шоссе; на фанерном щите огромными буквами стояло:

«Товарищи... Диктатор взят живым... Но диктатор оказался двойником Гарина, подставным лицом. Петр Гарин скрылся. Он бежит на запад... Товарищи, проявите бдительность, задержите машину диктатора... (Следовали приметы.) Гарин не должен уйти от революционного суда...»

В середине дня Гарин обнаружил позади себя мотоцикл. Он не слышал выстрелов, но вдесяти сантиметрах от его головы в стекле машины появилась пулевая дырка с трещинками. Затылку стало холодно. Он выжал весь газ, какой могла дать машина, метнулся за холм, свернул к лесистым горам. Через час вылетел в ущелье. Мотор начал сдавать и заглох. Гарин выскочил, свернул руль, пустил

машину под откос и, с трудом разминяя ноги, стал взбираться по крутизне к основному бору.

Сверху он видел, как промчались по шоссе три мотоцикла. Задний остановился. Вооруженный, по пояс голый человек соскочил с него и нагнулся над пропастью, где валялась разбитая машина диктатора.

В лесу Петр Петрович глял с себя все кроме штанов и нательной фуфайки, надрезал кожу на башмаках и пешком начал пробираться к ближайшей станции железной дороги.

На четвертый день он добрался до уединенной приморской мызы близ Лос-Анжелоса, где в ангаре висел, всегда наготове, его дирижабль.

129

Утренняя заря взошла на безоблачное небо. Розовым паром дымился океан. Гарин, перегнувшись в окно gondoly дирижабля, с трудом в бинокль разыскал глубоко внизу узенькую скорлупу яхты. Она дремала на зеркальной воде, просвечивающей сквозь легкий мгlistый покров.

Дирижабль начал опускаться. Он весь сверкал в лучах солнца. С яхты его заметили, подняли флаг. Когда gondola коснулась воды, от яхты отделилась шлюпка. На руле сидела Зоя. Гарин едва узнал ее — так осунулось ее лицо. Он прыгнул в шлюпку, с улыбочкой, как ни в чем не бывало, сел рядом с Зоей, потрепал ее по руке:

— Рад тебя видеть. Не грусти, крошка. Совралось — наплевать. Заварим новую кашу... Ну, чего ты повесила нос?..

Зоя, нахмурившись, отвернулась, чтобы не видеть его лица.

— Я только что похоронила Яниса. Я устала. Сейчас мне все — все равно.

Из-за края горизонта поднялось солнце, — огромный шар выкатился над синей пустыней, и туман растаял, как призракный.

Протянулась солнечная дорога, переливаясь маслянистыми бликами, и черным силуэтом на ней рисовались три наклонных мачты и решетчатые башенки «Аризона».

— Ванну, завтрак и — спать, — сказал Гарин.

130

«Аризона» повернула к Золотому острову. Гарин решил нанести удар в самое сердце восставших — овладеть большим гипер-болоидом и шахтой.

На яхте были срублены мачты, оба гипер-болоида на носу и корме замаскированы досками и парусиной, — для того чтобы изменить профиль судна и подойти незамеченными к Золотому острову.

Гарин был уверен в себе, решителен, весел, — к нему снова вернулось хорошее настроение.

Утром следующего дня помощник капитана, взывший команду на судне после смерти Янсена, с тревогой указал на пернстые облака. Они быстро поднимались из-за восточного края океана, покрывали небо на огромной, десятикилометровой высоте. Надвигался шторм, быть может ураган — тайфун.

Гарни, занятый своими соображениями, поспал капитана к черту.

— Ну, тайфун — ерунда собачья. Прибавьте ходу...

Капитан угрюмо глядел с мостика на быстро заволакивающееся небо. Приказал задрать люки, крепить на палубе шлюпки и все, что могло быть снесено.

Океан мрачнел. Порывами налетал ветер, угрожающим свистом предупреждал моряков о близкой беде. На место вестников урагана — высоких пернстых облаков — поползли клубящиеся низкие тучи. Ветер все грознее волновал океан, пробегал беспокойной рябью по огромным волнам.

И вот с востока начала налезать черная, как овчина, низкая туча, со свинцовой глубиной. Порывы ветра стали яростными. Волны перекачивались через борт. И уже не рябью мялись горбы серо-холодных волн, — ветер срывал с них целые пелены, застилал туманом водяной пыли...

Капитан сказал Зое и Гарни:

— Идите вниз. Через четверть часа мы будем в центре тайфуна. Моторы нас не спасут.

Ураган обрушился на «Арзону» со всей яростью одиннадцати баллов. Яхта, зарываясь, валясь с борта на борт так, что днище обнажалось до кнля, уже не слушаясь ни руля, ни винтов, неслась по кругам суживающейся спирали к центру тайфуна, или «окну», как его называют моряки.

«Окно», диаметром иногда до пяти километров, — центр вращения тайфуна; ветры силою двенадцати баллов несутся со всех направлений кругом «окна», уравновешивая свои силы на его периферии.

Туда, в такое «окно», уносились круговоротом жалкая скорлупка — «Арзона».

Черные тучи касались палубы. Стало темно, как ночью. Бока яхты трещали. Люди, чтобы не разбиться, цеплялись за что попало. Капитан приказал привязать себя к перилам мостика.

«Арзону» подняло на гребень водяной горы, положило на борт и швырнуло в пучину. И вдруг — ослепительное солнце, мгновенное безветрие и зелено-прозрачные, сверкающие, как из жидкого стекла, волны — десятиэтажные громады, сталкивающиеся с оглушительным плеском, будто сам царь морской, Нептун, взбесясь, шлепал в ладоши...

Это и было «окно», самое опасное место тайфуна. Здесь токи воздуха устремляются отвесно вверх, унося водяные пары на высоту десяти километров, и там раскидывают их пленками пернстых облаков — верхних предвестников тайфуна...

С борта «Арзоны» было снесено волнами все: шлюпки, обе решетчатые башенки гиперболоидов, труба и капитанский мостик вместе с капитаном...

«Окно», окруженное тьмой и крутящимися ураганами, несло по океану, улекая на толчее чудовищные волны «Арзону».

Моторы перегорели, руль был сорван.

— Я больше не могу, — простонала Зоя.

— Когда-нибудь это должно кончиться...

О черт! — хрипло ответил Гарни.

Оба они были избиты, истерзаны ударами о стены и о мебель. У Гарни рассечен лоб, Зоя лежала на полу каюты, цепляясь за ножку привинченной койки. На полу вместе с людьми катались чемоданы, книги, вывалившиеся из шкафа, диванные подушки, пробковые пояса, апельсины, осколки посуды.

— Гарни, я не могу, выбрось меня в море...

От страшного толчка Зоя оторвалась от койки, поклатилась. Гарни кувыркком перелетел через нее, ударился о дверь...

Раздался треск, раздрающий хруст. Грохот падающей воды. Человеческий вопль. Каяута распалась. Мощный поток воды подхватил двух людей, швырнул их в кипящую зелено-холодную пучину...

Когда Гарни открыл глаза, в десяти сантиметрах от его носа маленький рачок-отшельник, залезший до половины в перламутровую раковину, таращил глаза, изумленно шевеля усами. Гарни с усилием понял: «Да, я жив...» Но еще долго не в силах был приподняться. Он лежал на боку, на песке. Правая рука была повреждена. Морщась от боли, он все же подобрал ноги, сел.

Невдалеке, нагнувшись тонкий ствол, стояла пальма, свежий ветер трепал ее листья... Гарни поднялся, пошатываясь, пошел. Вокруг, куда бы он ни посмотрел, бежали и, добежав до низкого берега, с шумом разбивались зелено-синие, залитые солнцем волны... Несколькими десятками пальм простирало по ветру широкие, как веера, листья. На песке там и сям валялись осколки дерева, ящики, какие-то тряпки, канаты... Это было все, что осталось от «Арзоны», разбившейся вместе со всем экипажем о рифы кораллового острова.

Гарни, прихрамывая, пошел в глубину острова, туда, где более возвышенные места заросли низким кустарником и ярко-зеленой травой. Там лежала Зоя на спине, раскинув руки. Гарни присел над ней, боясь прикоснуться к ее телу, чтобы не ощутить холода смерти. Но Зоя была жива, — веки ее задрожали, заперкшие губы разлепились.

На коралловом острове находилось озеро дождевой воды, горьковатой, но годной для питья. На отменях — раковины, мелкие ракушки, полпы, креветки — все, что некогда служило пищей первобытному человеку. Листья пальм могли служить

одеждой и прикрывать от полудневого солнца.

Два голых человека, выброшенные на голую землю, могли кое-как жить... И они начали жить на этом острове, затерянном в пустыне Тихого океана. Не было даже надежды, что мимо пройдет корабль и, заметив их, возьмет на борт.

Гарин собирал раковины или рубашкой ловил рыбу в пресном озерце. Зоя нашла в одном из выброшенных ящиков с «Архива» пятьдесят экземпляров книги роскошного издания проектов дворцов и увеселительных павильонов на Золотом острове. Там же были законы и устав придворного этикета мадам Ламоль — повелительницы мира...

Целыми днями в тени шалаша из пальмовых листьев Зоя перелистывала эту книгу, созданную ее неистовой фантазией. Оставшиеся сорок девять экземпляров, переплетенных в золото и сафьян, Гарин употребил в виде изгороди для защиты от ветра.

Гарин и Зоя не разговаривали. Зачем? О чем? Они всю жизнь были одиночками, и вот получили, наконец, полное, совершенное одиночество.

Они сбились в счете дней, перестали их считать. Когда проносились грозы над островом, озерце наполнялось свежей дождевой водой. Тянулось месяца, когда с безоблачного неба яростно жгло солнце. Тогда им приходилось пить тухлую воду...

Должно быть, и по нынешний день Гарин и Зоя собирают моллюсков и устриц на этом острове. Наевшись, Зоя садится перелистывать книгу с дивными проектами дворцов, где среди мраморных колоннад и цветов возвышается ее прекрасная статуя из мрамора, — Гарин, уткнувшись носом в песок и прикрывшись истлевшим пиджачком, похрапывает, должно быть тоже переживая во сне разные занимательные истории.

.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА	3
ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИНА . .	5

Толстой А. Н.

T52 Гиперболоид инженера Гарина: Роман. — М.:
Худож. лит., 1983. 108 с.

Научно-фантастический роман А. Н. Толстого (1883–1945)
«Гиперболоид инженера Гарина» — произведение остросо-
циальное, разоблачающее капиталистическую действитель-
ность. А. Н. Толстой в Автобиографии писал о романе, что в
нем «угадывается будущий фашизм».

Алексей Николаевич
Толстой

ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА

Редактор И. Парина
Художественный редактор В. Серебряков
Технический редактор И. Жаворонкова
Корректоры Л. Казарьян, Ю. Левина

ИБ № 3924

Сдано в набор 06.07.83. Подписано в печать 02.08.83
Формат 80×84¹/₂. Вумага тип. № 3. Гарнитура «Литературная».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,06. Усл. ир.-отт. 13,53. Уч.-изд.
л. 14,73. Тираж 2 000 000. 1-й завод (1—500 000). Изд.
№ 1-1520. Заказ 2333. Цена 1 р. 20 н.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Художественная литература». 107862, ГСП, Москва, В-78,
Ново-Басманная, 19

Типография изд-ва «Московская правда», ул. 1905 г., 7.

В 1982 ГОДУ
В СЕРИИ «КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННОСТИ»
ВЫШЛИ В СВЕТ:

- С. Аксаков. Семейная хроника. Детские годы Багрова-внука
Н. Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород
А. Пушкин. Драматические произведения. Проза
М. Салтыков-Шедрин. История одного города. Сказки
А. Толстой. Драматическая трилогия. Стихотворения
Л. Толстой. Анна Каренина
А. Чехов. Пьесы
М. Горький. Мать
В. Кожевников. Полюшко-поле. Повести и рассказы
Л. Сейфуллина. Повести и рассказы
Т. Готье. Капитан Фракасс
Т. Драйзер. Джени Герхардт
Г. Манн. Верноподданный
Г. де Мопассан. Новеллы
М. Сервантес. Назидательные новеллы
Стендаль. Пармская обитель
У. Шекспир. Отелло. Ромео и Джульетта

«ПОЭТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

- Е. Баратынский. Стихотворения и поэмы
С. Есенин. Стихотворения и поэмы
А. Кольцов. Стихотворения
А. Прокофьев. Стихотворения и поэмы
А. Пушкин. Поэмы

В 1983 ГОДУ
В СЕРИИ «КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННОСТИ»
ВЫХОДЯТ В СВЕТ:

- Н. Гоголь.* Повести. Ревизор
И. Гончаров. Обыкновенная история
Ф. Достоевский. Преступление и наказание
Н. Лесков. Очарованный странник. Повести и рассказы
А. Островский. Пьесы
Л. Толстой. Смерть Ивана Ильича. Рассказы
А. Чехов. Дом с мезонином. Рассказы
М. Горький. Рассказы
А. Платонов. Повести и рассказы
М. Шолохов. Рассказы
Ш. де Костер. Легенда об Уленшпигеле
Г. Уэллс. Машинна времени. Война миров. Рассказы

«ПОЭТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

- А. Блок.* Стихотворения и поэмы
И. Крылов. Басни
А. Пушкин. Стихотворения
Слово о полку Игореве
Н. Хикмет. Стихотворения и поэмы



